



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### **Правила использования**

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.  
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.  
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.  
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.  
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

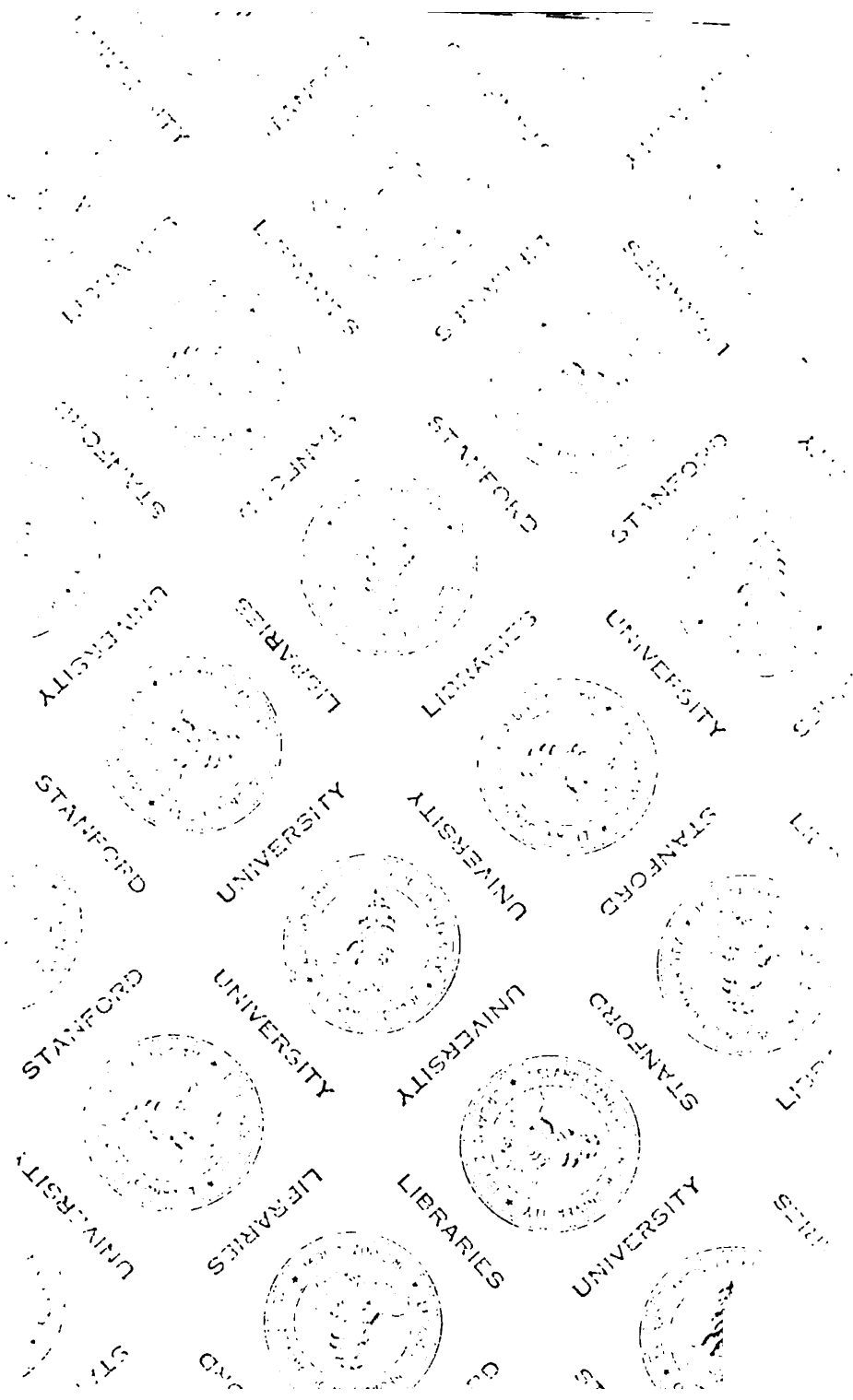
### **О программе Поиск книг Google**

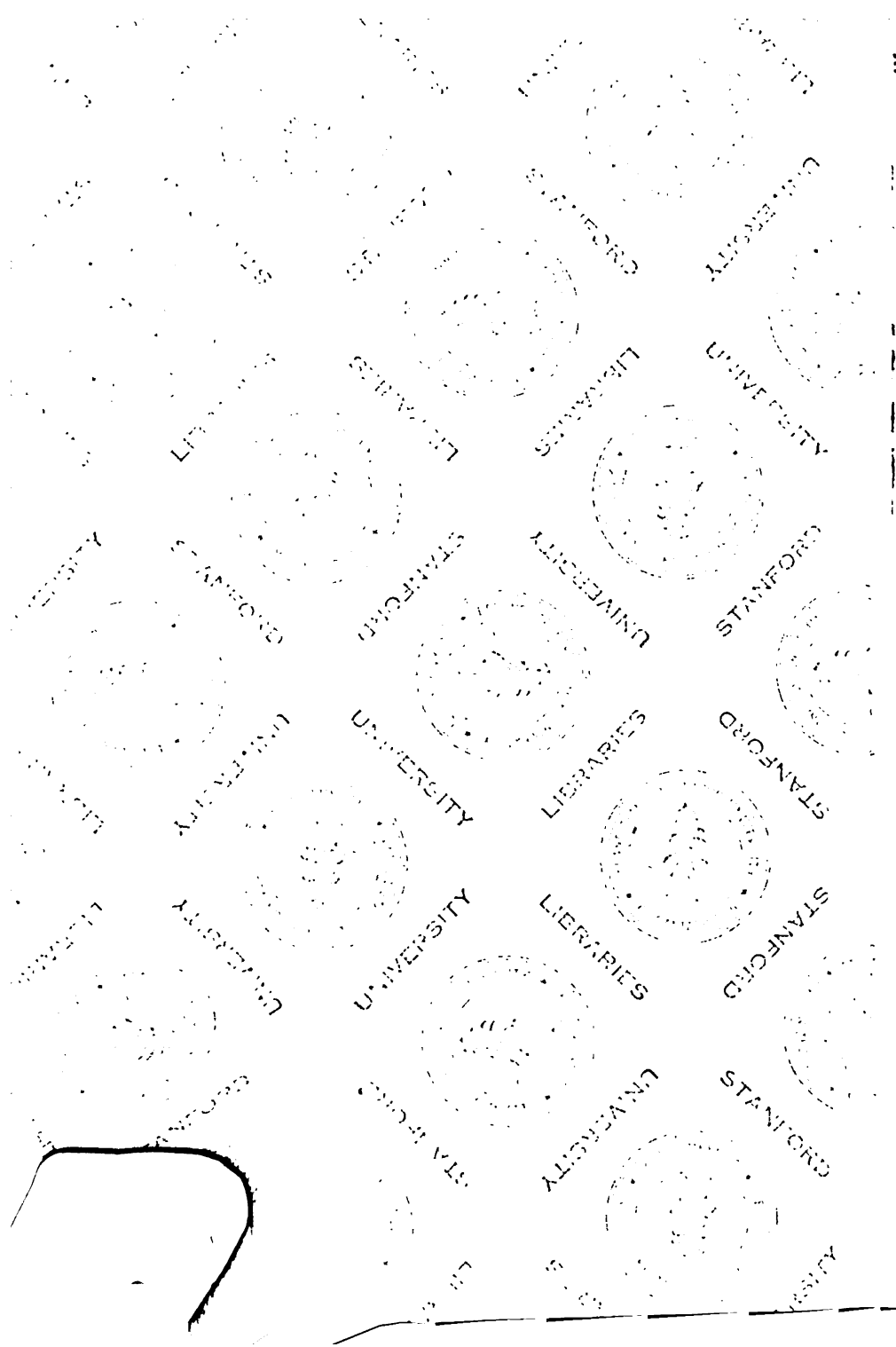
Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

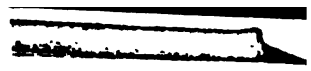














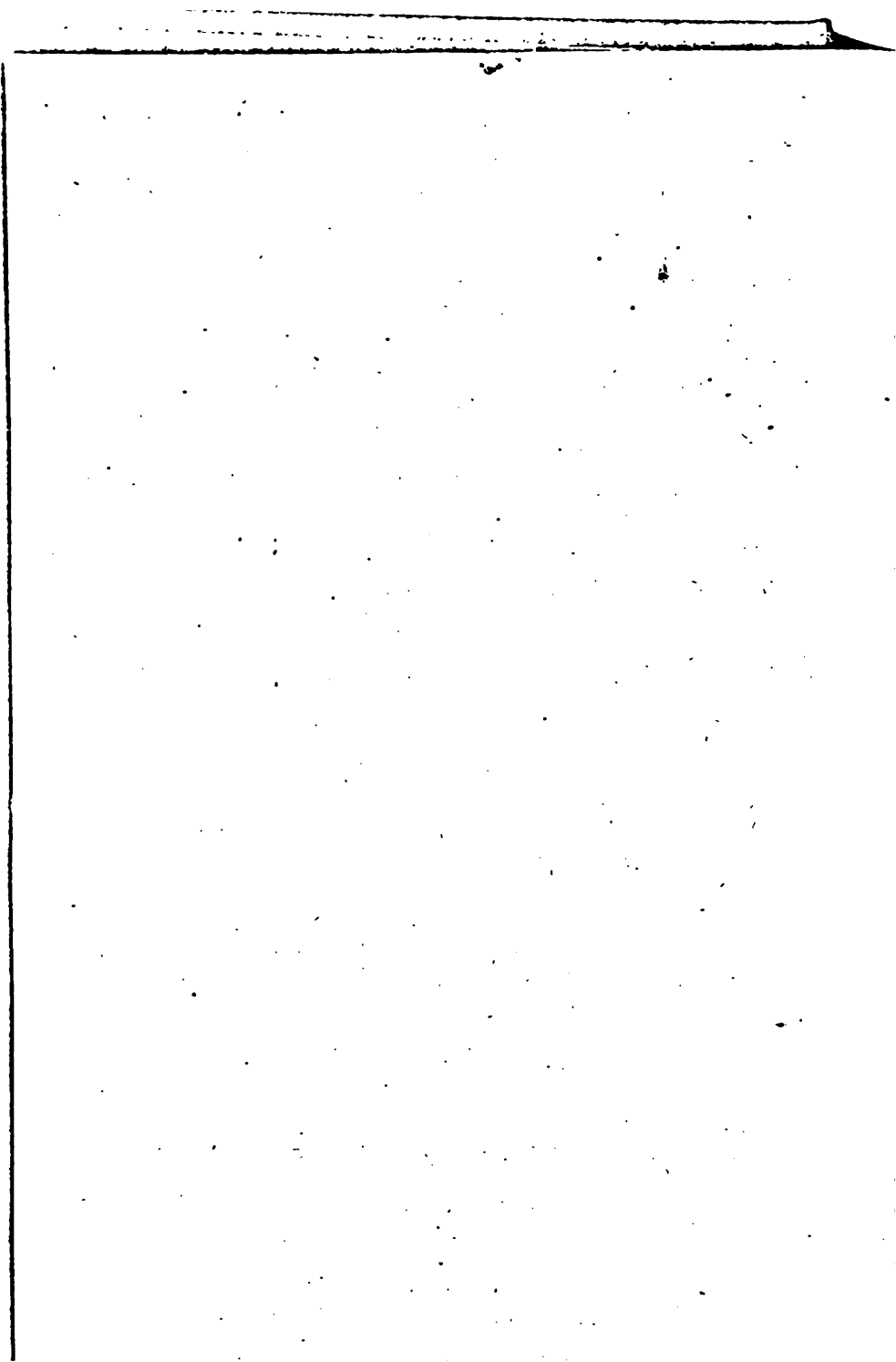


PG3467

I7

1904a

v.1



*Ushkevich, S. S. 18.12.1904*

Издание товарищества „ЗНАНИЕ“ (СПБ., Невскій, 92).

**Семенъ Юшкевичъ.**

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

# РАЗСКАЗЫ.

## СОДЕРЖАНІЕ:

Распадъ.	} Убіица.
Невинные.	} Кабатчикъ Гейманъ.
Портной.	} Ита Гайне.

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ.

Седьмая тысяча.

Цѣна 1 рубль.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

1904.

159

*JPK*



Въ товариществѣ „ЗНАНІЕ“ поступили въ продажу:

1. Эсхиль. СКОВАННЫЙ ПРОМЕТЕЙ. . . . .
2. Софокль. ЭДИПЪ-ЦАРЬ . . . . .
3. Софокль. ЭДИПЪ ВЪ КОЛОНѢ . . . . .
4. Софокль. АНТИГОНА . . . . .
5. Эврипидъ. МЕДЕЯ . . . . .
6. Эврипидъ. ИПОЛИТЪ . . . . .

*Примѣчаніе.* Въ шесть трагедій переведены съ греческаго Д. С. Мережковскимъ. Въ стихахъ. При каждой—портретъ автора.

7. Платонъ. ПИРЪ . . . . .

Философская поэма. *Иллюстраціи:* снимки съ бюстовъ Платона, Сократа, Аристофана, Алкивиада; картины пира по древне-греческимъ вазамъ; снимки со статуй и рельефовъ; снимокъ съ картины „Пиръ“ Фейербаха

8. Байронъ. МАНФРЕДЪ . . . . .
9. Шелли. ОСВОБОЖДЕННЫЙ ПРОМЕТЕЙ . . . . .
10. Шелли. ЧЕНЧИ . . . . .
11. Лонгфелло. ПѢСНЬ О ГАЙАВАТЪ . . . . . 2

Переводъ П. А. Бунина. Въ стихахъ. *Роскошно-иллюстрированное изданіе:* около 400 рисунковъ въ текстъ; портретъ Лонгфелло и 22 большихъ рисунка на отдѣльныхъ таблицахъ.

12. Лонгфелло. ПѢСНЬ О ГАЙАВАТЪ . . . . .

*Дешевое изданіе:* тотъ-же переводъ, тѣ-же 400 рис. въ текстъ, 22 таблицы и портретъ Лонгфелло; только бумага и форматъ другіе.

13. Красинскій. ИРИДИОНЪ . . . . .
14. Бьёрнсонъ ПЕРЧАТКА . . . . .
15. Гауптманъ. РОЗА БЕРНДЪ . . . . .
16. Золя. УГЛЕКОПЫ . . . . . 1

Выписывающіе изъ склада товарищества «ЗНАНІЕ» за переплату не платятъ. Просятъ обращаться исключительно по с. Контора т-ва «ЗНАНІЕ». Спб., Невскій, 92.

2  
Изданіе товарищества „ЗНАНІЕ“ (Спб., Невскій, 92).

*B. N. Wacht  
Kwoneje  
August 16.0*

**Семенъ Юшкевичъ.**

*Pushkevich, S.S.*

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

# РАЗСКАЗЫ.

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ.

Цѣна 1 рубль.

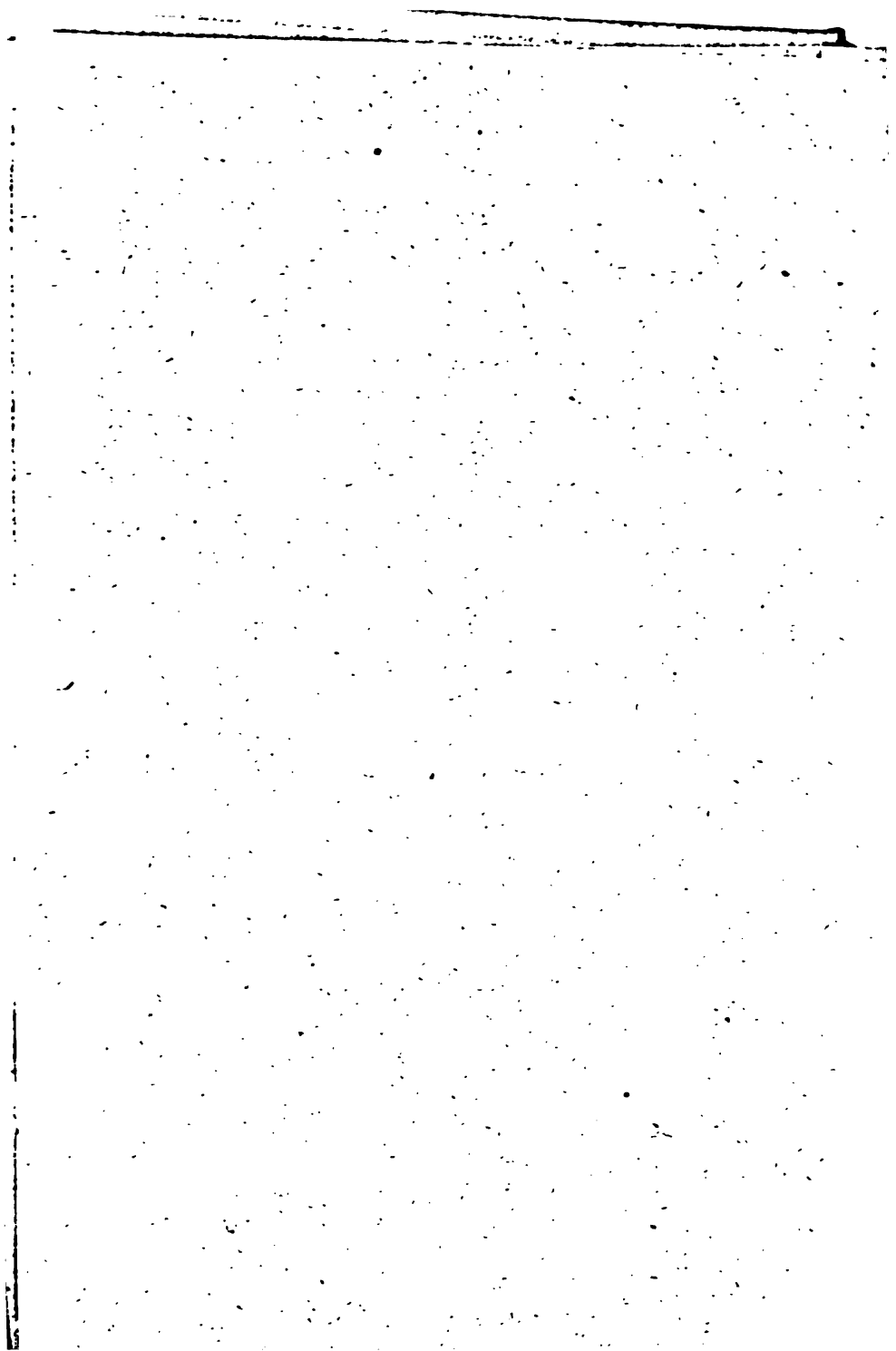
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Монтвида. Ковная ул., д. 3—5.  
1904.

1+k  
Ia70  
904  
v1-2

## Содержаніе.

	СТР.
Распадъ . . . . .	1
Невинные . . . . .	125
Портной . . . . .	142
Убийца . . . . .	186
Кабатчикъ Гейманъ . . . . .	196
Ита Гайне . . . . .	237



## РАСПАДЪ.

(1895—1897).

### I.

...День начинался.

Семья Розеновых сидѣла въ столовой за утреннимъ чаемъ, какъ вдругъ изъ сосѣдней комнаты раздался молодой, грубоватый голосъ:

— Ну, не плачь, Павка, не хотѣлъ же я тебя обидѣть.

Старикъ Розеновъ повернулся на стулѣ и нахмурилъ брови. Жена замѣтила его недовольный взглядъ, но не хотѣла съ утра заводить исторіи. Она встала и пошла къ Павкѣ, чтобы унять его. Старикъ успѣлъ ей бросить вдогонку:

— Смотри, Соня, не бей его, онъ со сна только.

— Пожалуйста, не беспокойся, Исаакъ, я его люблю такъ же, какъ и ты,—пробормотала она и, махнувъ рукой, вышла.

Исаакъ Розеновъ опять погрузился въ свои думы. Чай его давно простылъ, но онъ и не думалъ его пить. Сидѣвшій рядомъ и наблюдавшій за нимъ старшій сынъ Яковъ напомнилъ старику о чаѣ.

— Ахъ, да,—спохватился Розеновъ,—я и забылъ.

Онъ разсѣянно улыбнулся и потянулся за стаканомъ. Руки у него дрожали, когда онъ подносилъ стакаецъ ко рту; Яковъ замѣтилъ и это, и у него сжалось сердце.

— Старѣетъ,—подумалъ онъ, и вдругъ испугался.

Предъ нимъ промелькнулъ образъ мертвaго отца, лежащаго на соломѣ на полу, покрытаго чернымъ, и такъ это ясно и отчетливо обрисовалось, что онъ вздрогнулъ.

— Холодный чай,—разсѣянно произнесъ старикъ.

Яковъ вздохнулъ. Мимолетное впечатлѣніе быстро затянулось, но осадокъ въ сердцѣ остался скверный, пехорошій. И изъ-за этой мысли о неумолимой необходимости умереть, умереть гдѣ-нибудь и когда-нибудь, еще яснѣе выступила во всеоружіи и всесилии его давнишняя теорія жить для наслажденія, жить такъ, чтобы никакой моментъ даромъ не пропалъ, чтобы не жалко было, когда руки начнутъ дрожать, какъ у отца, когда придется умирать. Мысли его переменялись. Ему вдругъ показалось, что всѣ заботы послѣднихъ дней исчезнутъ, что звѣзда, въ которую онъ вѣрилъ, не оставитъ его, что не успѣха быть не можетъ...

А отецъ, выпивъ залпомъ холодный чай и даже не сознавая того, что выпилъ, опять сидѣлъ углубленный въ свои думы, сгорбленный и жалкій, вытянувъ худую шею и какъ бы прицѣлившись во что-то глазомъ. Онъ не замѣтилъ, какъ ушелъ Лева, его третій сынъ, какъ подалъ для поцѣлуя руку Мотъ, не зналъ, не видѣлъ не замѣчалъ, а только продолжалъ думать о томъ, какую добавочную ссуду выдастъ кредитный банкъ подъ его, ужъ разъ заложенный въ томъ же банкѣ, домъ... Онъ мысленно высчитывалъ стоимость каждаго камня и бралъ минимумъ его цѣнности, клалъ самую умѣренную цѣну на сажень жилыхъ помѣщеній, ту же умѣренность переносилъ на стоимость сажени земли, подводилъ итоги, высчитывалъ первый заемъ—словомъ, продѣлывалъ всю операцію оцѣнки до мелочи знакомаго дома, и сумма выходила именно та самая, которая ему была такъ нужна теперь. И онъ думалъ, думалъ вновь, считалъ и чѣмъ больше убѣждался въ вѣрности своихъ расчетовъ, тѣмъ страстнѣе пересчитывалъ, провѣрялъ, еще понижалъ доведенную до минимума цѣну.

ность своего дома, чтобы больше было вѣроятности и безошибочности.

Розенова вернулась въ столовую, держа на рукахъ пухлаго мальчугана: это и былъ Павка. Глаза его еще носили слѣды слезъ. Его посадили за столъ и дали чаю. Поминутно раздавались крики его топенькаго, пронзительнаго голоса:—„Мама, налей, мама, подай“.

Нестерпѣливые, живые звуки ребенка, однако, не оживили настроенія: каждый продолжалъ думать о своемъ.

Яковъ теперь кипѣлъ и злился отъ досады: у него было дѣло къ отцу, но не представлялось удобнымъ заговорить съ нимъ, когда онъ казался такимъ озабоченнымъ. Къ тому же и у матери было скверное настроеніе, и оно не предвѣщало ничего хорошаго. Въ это время вошелъ Давидъ, второй сынъ Розенова, и поздоровавшись, попросилъ себѣ чаю.

— Поздно ты заснулъ вчера,—обратился онъ къ Якову, чтобы что-нибудь сказать,—Лева, кажется, вечеромъ выходилъ съ... Михайловымъ, правда, мама?

На лицѣ его мелькнула улыбка и быстро пропала. Онъ сосредоточенно сталъ пить, вдругъ проникнувшись угрюмымъ настроеніемъ окружающихъ.

Яковъ при вопросѣ Давида сразу успокоился и прямо перешелъ на свое. Спокойствіе его было то же волненіе, что и прежде, но муки онъ уже не чувствовалъ.

— До утра не спать,—хмуро отвѣтилъ онъ,—все о своемъ думалъ, о томъ же.

Онъ пожалъ плечами и замолчалъ. Потомъ опять прорвался словами: „много надумаешь“,—и опять замолчалъ. Его бросило въ лихорадку отъ колебанія, и вдругъ неудержимо полилось все то, что онъ тайлъ про себя и не хотѣлъ высказать.

— Да, много надумаешь,—возвысилъ онъ голосъ,—когда одинъ, какъ перстъ, и чуть что не чужой въ



Старьки встрепнулись.

— Чужой, чужой,—уже кричалъ онъ,—хлѣбомъ не укоряете, въ руки не смотрите, сколько взялъ?

Онъ усмѣхнулся, испугавшись наступившаго молчапія, и вдругъ понесся, не зная какъ удержаться.

— Развѣ такъ возможно жить, развѣ хватить силъ выдержать подобное положеніе? Вы вѣдь мнѣ дышать не даете, и я задыхаюсь съ вами, слышите, задыхаюсь. И все это вы такъ тихо, сладко: Яшенька, знаешь, сегодня мясо вздорожало; Яшенька, сегодня уголь въ цѣнѣ поднялся; отца бы пожалѣть. Точно я одинъ обѣдаю домъ. Но лучше бы просто выгнали меня, чѣмъ такъ терзать. Не можете содержать меня и отлично. Разстанемся, но только не мучьте, не мучьте меня.

Онъ передохнулъ и заговорилъ спокойнѣе, но все еще возбужденный.

— Виповать ли я въ томъ, что дѣла ваши пошли такъ дурно, принималъ ли я въ этомъ участіе? Кажется, нѣтъ. Вамъ нужна моя помощь, я готовъ вамъ оказать ее, всегда, во всякую минуту готовъ. Но какъ, какъ—покажите мнѣ это? Будь я ремесленникомъ, я бы давно, вѣроятно, уже былъ опорой семьи. Но вамъ хотѣлось ученаго имѣть, доктора, какъ же я могу вамъ помочь? Развѣ вы не знали, что ученіе стоить денегъ и денегъ, и требуетъ десятки лѣтъ, пока перестанешь сидѣть на чужихъ плечахъ? Чего же вы хотите отъ меня? О какой помощи тутъ можно говорить? Но ужасъ даже и не въ этомъ, а въ другомъ. Вдумайтесь только въ мое положеніе. Вы съ большими усиліями довели меня до университета, и теперь, когда ваша помощь мнѣ такъ нужна, бросаете? Спрашиваю васъ, что мнѣ остается дѣлать? Повѣситъ—ничего другого. Куда и за что я гожусь съ своимъ аттестатомъ зрѣлости. Что я представляю теперь, имѣя этотъ злосчастный аттестатъ? Музыкантъ безъ инструмента и только. Вѣдь послѣдній приказникъ, ремесленникъ, рабочій, счастливѣе меня;

а я безсиліѣ малаго ребенка и шага безъ васъ ступить не умѣю.

Яковъ вдругъ остановился, оглушенный криками, которыхъ онъ сразу не разбиралъ въ своемъ возбужденіи. Кричали и отецъ, и мать, стараясь перебить другъ друга, больше обращаясь къ Давиду, чѣмъ къ Якову, и въ ихъ голосахъ слышалась та же увѣренность въ своей правотѣ и то же беспощадное упорство въ непониманіи упрековъ Якова.

— Слышишь, слышишь,—кричалъ отецъ, толкая Давида въ плечо, точно тотъ отказывался слушать,—какъ онъ кричитъ на меня? Вотъ сынъ, кость отъ кости моей. До чего я дожилъ на старости лѣтъ. Я ему ремесла не далъ. Приказчикъ—у того ремесло, приказчикъ въ почетѣ, а на доктора и смотрѣть не хотятъ!..

— Совѣмъ я не кричалъ и не то говорилъ,—попробовать перебить Яковъ.

— Молчи, молчи,—замахалъ на него руками старикъ.—Тебѣ уже 23 года, а ты не умѣешь оцѣнить, что отъ простаго ремесла я себя уберегъ, потому что хотѣлъ приготовить тебѣ жизнь богатую, легкую и почетную. Не знаешь ты развѣ, что значить быть евреемъ, прѣстѣмъ евреемъ — ремесленникомъ? Знаешь, хорошо знаешь. О чемъ же ты говоришь? Чего же ты кричишь и упрекаешь? И на кого ты кричишь? На отца? На отца, который всю жизнь отдалъ, чтобы вамъ было легко и хорошо, чтобы вамъ не нужно было такъ трудиться и терпѣть, какъ онъ терпѣлъ? До чего мы съ тобой дожили, Соня?

— Но отчего вы не даете мнѣ доучиться, почему вы теперь лишили меня своей помощи?—опять заволовался Яковъ.

— Но какъ учатся другіе?—вмѣшалась наконецъ въ разговоръ мать.—Другіе какъ учатся? У нихъ тоже нѣтъ средствъ. Лучшіе костюмы ты требовалъ, лучшія рубахи, лучшіе галстуки. И у кого? У этого несчаст-

паго отца, у бѣдной семьи, у людей, у которыхъ только одни долги. Разбойникъ сжалился бы надъ нашей мукой, а ты ничего знать не хотѣлъ, ты требовалъ. Ты развѣ былъ сыномъ? Ты былъ солдатомъ и требовалъ, и мучилъ, какъ требуетъ солдатъ, а не образованный человѣкъ. Ты кричалъ... какъ сумасшедшій, когда находилъ пятнышко на рубахѣ и не хотѣлъ знать, что вымыть рубаху мнѣ стоитъ 15 коп., а эти 15 копеекъ отецъ долженъ брать подъ вексель. Ты и все это проклятое ученіе разорило насъ, и у тебя еще дерзость кричать на отца. Пожалѣлъ ты его хоть разъ, что онъ въ продыравленныхъ башмакахъ ходитъ? А если бы не вы, то ему даже изъ золота башмаки можно было носить? Пожалѣлъ, скажи, подумалъ ли когда-нибудь? Не пожалѣлъ, потому что только себя любишь. А хорошій сынъ бы не требовалъ: онъ бы отъ всего отказался, чтобы помочь отцу. Вотъ другіе бѣдные, что дѣлаютъ? Уроки даютъ, родныхъ кормятъ, а отъ тебя что? Другой давно бы скопилъ себѣ денегъ на ученіе, когда у отца ихъ нѣтъ, а ты подумалъ объ этомъ? Почему же? Потому что ты никого не жалѣешь, потому что тебѣ легко жить на чужихъ плечахъ. Что ты мнѣ рассказываешь — лобочій, ремесленникъ? Будто ты не смогъ бы заработать лучше рабочаго, если бы только захотѣлъ. Еще и безъ насъ довольно дураковъ на свѣтѣ, которые учатъ своихъ дѣтей.

— О, вы уже разошлись, — съ ненавистью вырвалось у Якова.

— Ну, и разошлась. Не нравится тебѣ? Вотъ Лейбензонъ, твой же товарищъ, бѣднякъ, и маленькій онъ, и косоглазый, смотрѣть на него тошно, а влюбилъ въ себя богатую дѣвушку. Какимъ важнымъ онъ теперь сталъ. Навѣрно у отца-портняжки денегъ не попросить на ученіе, а ты просишь. Почему ты уроковъ не хотѣлъ давать, отчего въ тебя не влюбилась богатая дѣвушка? Въ тебя бы вѣдь всякая влюбилась, если бы ты захотѣлъ.

— Оставьте уже меня, оставьте, — со злостью крикнулъ Яковъ. — Ты понимаешь, — обратился онъ вдругъ къ Давиду, — кого они мнѣ въ примѣръ ставятъ? Лейбензонъ! — Помнишь Лейбензона, идиотика этого?

— Конечно, ты умный, ты не Лейбензонъ: дуракъ ты работать. Ты лучше заставишь старика отца на себя работать. Если же Лейбензонъ у отца своего денегъ не просилъ и влюбилъ въ себя богатую дѣвушку, то, конечно, онъ дуракъ. Это понятно; конечно, онъ дуракъ. А почему ты каждый мѣсяцъ требовалъ 10 рублей для какихъ-то расходовъ? Лейбензонъ тоже требовалъ? Десять рублей на расходы, десять рублей. Въдѣ если бы ты этихъ денегъ не бралъ у меня, у насъ теперь меньше однимъ векселемъ было бы на головѣ, и мы бы по утрамъ лишніе полчаса спали спокойно.

— Мама, да оставьте уже, — также громко произнесъ Давидъ, — вотъ и Павка расплакался отъ этого крика. Не понимаю, какъ вамъ не стыдно укорять Яшу такими глупостями. Ей-Богу, мама, у ангела бы терпѣніе лопнуло.

— У ангела, у ангела, — желчно передразнила мать, схвативъ Павку на руки, который положилъ голову на ее плечо, — а я что — ангелъ? Посмотри-ка на отца, посмотри-ка на его лицо, на его глаза, на его тѣло. А нѣтъ у него высосалъ кровь? Япа. Его ученіе уже намъ тысячъ 6—7 стоитъ, у другихъ и тысячи оно не стоитъ, а если бы эти деньги были теперь у насъ, мы бы не сдѣлались нищими. Въдѣ все что у насъ — чужое. Вотъ этотъ чай, который ты такъ спокойно пьешь, думаешь, мой? Не обманывай себя, — не мой, все это на чужія деньги. И сахаръ не мой. Ничего, ничего здѣсь нѣтъ нашего. Всѣ вы отличились: и отецъ съ биржей, теперь онъ еще хочетъ строить, и ты — очень нужно было тебѣ, 20-лѣтнему мальчику, влюбиться въ эту нищенку. Совѣмъ, какъ Лейбензонъ, ты сдѣлалъ!

— Мама, — вдругъ раскричался Давидъ, — перестаньте такъ говорить о Лизѣ, я вамъ запрещаю это.

— Скажите, еще что ты скажешь? Онъ мнѣ запрещаетъ о ней говорить. Можетъ быть, ты бы захотѣлъ, чтобы я сняла шляпу передъ этой...

— Это невыносимо,—вскочилъ Давидъ,—можно ли такъ топтать человѣка, не зная его?

— Она всегда такъ,—подхватилъ Яковъ, немного успокоившись,—безъ оскорбленій разговоръ для нея невозможенъ.

— И тебя я не забыла,—все еще волнуясь отвѣтила Розенова.—И ты, и отецъ, и онъ, и Лева, всѣ вы устроили такъ, что я на старости лѣтъ должна ожидать, что вотъ-вотъ продадутъ наше имущество.—Она вдругъ расплакалась.—Хоть бы маленькихъ пожалѣлъ. Биржа ему пужна была, строить теперь хочетъ. Развѣ я не просила его, не плакала предъ нимъ: не играй, Исаакъ, не надо намъ другого богатства; у насъ вѣдь довольно своего? Въ каретѣ онъ хотѣлъ развѣзжать, старый безумецъ; „мы съ тобой еще въ каретѣ будемъ ѣздить, Соня“, кричалъ онъ мнѣ. Хорошая карета. Не поѣдешь,—набросилась она вдругъ на мужа,—вотъ только постройку начни и съ сумой пойдешь.

— Это просто чортъ какой-то,—задыхаясь отъ гнѣва и едва дыша, пробормоталъ старикъ.—Что ты на меня набросилась? Постройка уже тебѣ мѣшаетъ? Еще ни разу, за эти 25 лѣтъ, я не могъ начать дѣла безъ того, чтобы ты не пророчила несчастья. Вотъ ты уже и теперь пророчишь. Воронъ несчастный. Мало тебѣ того, что и теперь есть?

— А можетъ развѣ изъ зла выйти добро?—подхватила Соня.—Кого ты хочешь увѣрить въ этомъ? Что ты имъ рассказываешь, что я пророчу? Ты развѣ не потерялъ на хлѣбѣ, когда ты одинъ разъ попробовалъ имъ торговать? Ты былъ умнымъ, когда тебѣ везло, но когда человѣку везетъ, тогда даже и Павка будетъ умнымъ. Палку поставь, и предъ ней шляпу будутъ снимать. Но когда тебѣ перестало везти—ты не хотѣлъ понять,

что умнымъ уже нельзя быть. Тебѣ только нужно было удержать то, что ты имѣлъ въ рукахъ, а ты хлѣбомъ началъ торговать. И что же вышло изъ этого? То, что я предвидѣла. Три года нужно было потомъ работать, чтобы вернуть убытки. Но и это не научило тебя! Вдругъ ты биржу захотѣлъ. Хорошая биржа. Работай, работай, старый дурень, умрешь нищимъ.

— Идемъ, Давидъ, ты опоздаешь на службу. Она уже не отстанетъ.

— Иду, иду,—отвѣтилъ Давидъ, и взялся за шляпу.

— Какъ же будетъ,—попробовалъ еще разъ Яковъ, обращаясь къ отцу:—согласитесь ли вы наконецъ отправить меня за границу? Чрезъ 5--6 лѣтъ я верну вамъ все...

— Не теперь, не теперь,—разстроенно отвѣтилъ старикъ,—дай мнѣ почувствовать отъ нея. Можетъ быть и соглашусь. Ну, что же, положи и этотъ камень на мои плечи. Все равно тяжело,—съ жалкой улыбкой добавилъ онъ,—но я дотяну, жилами уже дотяну, а вынесу тебя.

— Ахъ, папа,—растрогался вдругъ Яковъ, злоба его внезапно ушла, и нашло какое-то умиленіе,—простите, простите мнѣ прежнія слова. Я всегда вѣрилъ, что вы лучше всѣхъ насъ, и если я говорилъ зло, то совѣмъ не изъ-за васъ, а изъ-за мамы. Живого мѣста она въ сердцѣ не оставляетъ.

Старикъ вздохнулъ, и Яковъ вздохнулъ, вздохнулъ и Давидъ, и каждый изъ нихъ подумалъ о своихъ сокровеннѣйшихъ дѣлахъ и мечтахъ, до которыхъ Розенова находила всегда способъ добраться. И вздохъ этотъ вышелъ изъ ихъ груди единодушный, одновременный, больной какой-то.

— Да, мучаетъ она,—тихо произнесъ Давидъ;—только не злая она, а отъ ума все у нея. Всѣхъ насъ умнѣе,—прибавилъ онъ, обращаясь къ матери.

— Ну вотъ ужъ и умнѣе,—отозвалась Розенова, обрадованная словами Давида.—Развѣ не ясно, какъ день,

что одинъ умъ хорошъ, а два лучше. Для этого даже не пужно быть умнымъ. Каждый изъ васъ дѣйствуетъ одинъ, не посовѣтовавшись съ другимъ, каждый изъ васъ прячетъ свои мысли, свои желанія, а изъ этого не можетъ выйти добра. Вспомните, совѣтовались ли вы, когда собирались сдѣлать что-нибудь? Хотѣли ли вы слушать кого-нибудь? И что же, много добра вышло изъ вашихъ дѣлъ? Если бы Исаакъ слушался меня, развѣ мы бы обѣднѣли? Или Яковъ бы кончилъ гимназію безъ медали? Вотъ его не принимаютъ въ университетъ, а если бы онъ получилъ медаль, намъ бы не пужно было отправлять его за границу. Яковъ вѣдь зналъ это. А вѣдь одна только поѣздка, только, чтобы тропуться, нужно 200 рублей; гдѣ же мы ихъ возьмемъ? Опять Исаакъ подпишетъ вексель, опять ростовщики, опять проценты. Развѣ, чтобы понять это, умъ нуженъ? Нѣтъ, оставьте умъ въ покоѣ. Узналъ Яша, что нужна медаль, что же за бѣда? Тутъ онъ и долженъ былъ показать себя; помоги отцу, не клади на него камней,—работай, учись, цѣлые дни учись, забудь бѣлые рубашки и красивые галстуки, все забудь. Но нѣтъ, гдѣ же, у него вѣдь свой умъ есть. О, этотъ врагъ нашъ—свой умъ. Если бы мы побольше любили другъ друга, побольше жалѣли, тогда бы навѣрное все наше несчастье не случилось.

— Да идемъ же наконецъ,—нетерпѣливо произнесъ отецъ, обращаясь къ Давиду,—опоздаешь на службу и выговоръ получишь.

— Да, да, папа, идемъ.

Но тутъ случилось нѣчто неожиданное и повергнувшее всѣхъ въ волненіе. Яковъ все время, пока говорила мать, стоялъ противъ нея, опустивъ глаза въ землю. Когда старикъ прервалъ жену, Яковъ подошелъ къ матери, пригнулся къ ея рукѣ и молча прижался къ ней губами. Это было совсѣмъ не въ характерѣ Якова. Что его заставило преклониться предъ матерью? Радость ли,

что съ согласіемъ отца положеніе его опредѣлилось, то ли, что онъ созналъ правоту матери, тронула ли его перспектива бѣдствующей ради него семьи отъ большого до малаго? Этого онъ никому не сказалъ. Но въ самомъ себѣ онъ ощутилъ вдругъ страстное желаніе употребить всѣ свои силы, чтобы въ этой семьѣ, которую онъ всѣ-таки любилъ, было опять такъ же весело и радостно, какъ, ему помнится, было въ дни его дѣтства.

На его поцѣлуй мать отвѣтила тѣмъ же, и онъ почувствовалъ, какъ что-то горячее обожгло его лобъ. Это плакала мать. Старикъ Розеновъ отвернулся, глотая слезы.

— Да идемъ же наконецъ, Давидъ,—нетвердымъ голосомъ произнесъ онъ, выходя изъ комнаты.

— Иду, иду уже,—отвѣтилъ тотъ и подошелъ проститься съ матерью.

## II.

Давидъ поравнялся съ отцомъ и медленно продолжалъ съ нимъ путь. Улица въ этомъ мѣстѣ шла въ гору, и шаги обоихъ постепенно замедлились. Отецъ съ своей характерной походкой, столь знакомой Давиду, шелъ слегка приподнявъ свои узкія плечи, понуривъ голову и какъ-то безсильно размахивая руками. Вся фигура старика, съ понуренной головой и вздорно метавшимися руками, сзади казалась какой-то ужасно жалкой и угрюмой каррикатурой. Что-то тяжелое, до боли грустное полоснуло Давида, когда онъ посмотрѣлъ на отца, какъ посторонній, чужой человѣкъ, но привычка видѣть отца всегда такимъ, всегда, каждое утро, каждый день, изъ года въ годъ взяла свое. Онъ о чемъ-то подумалъ, улыбнулся и рѣшительными шагами нагналъ отца. Настроеніе его окончательно измѣнилось, и онъ весь отдался своимъ личнымъ интересамъ.

А старику теперь дышалось легко и хорошо. Непріятный осадокъ, оставшійся послѣ перебранки съ женой,



медленно расходился. Масса свѣжаго воздуха и свѣта, шумъ улицы, встрѣчныя лица дѣйствовали благотворно на его измученную душу. Мысли у него были неопредѣленныя, обрывчатые, не скорбныя. Теперь ему думалось о томъ, какъ хорошо было бы снова пачать жизнь, но съ его опытомъ, который ему стоилъ такихъ трудовъ. Конечно, на червяка всегда найдется рыба, но все-таки... Вѣроятно же всего, что онъ бы на биржѣ не пробовалъ искать счастья, вѣроятно, онъ и хлѣбомъ не рискнулъ бы торговать. Могло, конечно, случиться что-нибудь другое, но все-таки не биржа, не хлѣбъ... И дѣтей, быть можетъ, онъ не такъ воспиталъ бы, совсѣмъ не такъ. Яковъ его сегодня обидѣлъ, а дай онъ ему такое воспитаніе, какъ онъ теперь понимаетъ, Яковъ не обидѣлъ бы. И черезъ сто лѣтъ не обидѣлъ бы. А теперь онъ будетъ отца обижать всякій разъ, когда они сойдутся. И страшны ему не самыя обиды,—къ нимъ онъ скоро привыкнетъ, а страшно то, что Яковъ его не понимаетъ, а онъ Якова отлично понимаетъ. Яковъ съ отцомъ имѣетъ о чемъ поговорить, а отецъ съ нимъ не имѣетъ; не пойметъ, не захочетъ понять.

Послѣдняя мысль вызвала судорогу на лицѣ Розе-нова. Ему вдругъ представилась вся его жизнь борьбы со всѣми, съ обстоятельствами, съ людьми, въ семьѣ, борьбы безъ опоры, борьбы безъ помощника; ему представилось его позорное паденіе въ этой борьбѣ и быстро наступившая старость...

Кому и для чего онъ нуженъ? Нуженъ онъ взрослымъ, большимъ людямъ, безжалостно требующимъ у старика труда. Но развѣ старостью онъ отмолится у кого-нибудь отъ борьбы? Развѣ его старость вызоветъ, можетъ вызвать у этихъ взрослыхъ людей мысль о подачѣ помощи ему, старикку? Какъ же Яковъ откажется отъ заграничья? А Давидъ отъ Лизы откажется? А Лева отъ своего откажется? Если бы онъ не согласился на заграницу, то Яковъ развѣ повѣрилъ бы ему, что онъ

отказываетъ не изъ равнодушія, а потому, что очень уже трудно въ его годы такъ много работать, что головы уже не хватаетъ для пріисканія средствъ, что пора бы уже и дѣтямъ когда-нибудь поработать на старика. Нѣтъ, не понялъ бы, не захотѣлъ бы понять!..

Голова Исаака еще болѣе наклонилась, еще болѣе жалкой показалась его фигура. Ни масса свѣта и воздуха, ни шумъ улицы, ни встрѣчныя лица уже не трогали старика; онъ чувствовалъ только одно—свое одиночество.

Давидъ все время шелъ молча подлѣ отца. Наконецъ, онъ спросилъ:

— Вы къ оцѣнщику?

Розеповъ, вдругъ оторванный отъ своихъ мыслей, отвѣтилъ не сразу. Они шли уже по ровной улицѣ, ускоривъ шаги. Знакомыхъ стало попадаться все больше; нѣкоторые изъ нихъ иногда останавливали Розепова, чтобы перекинуться словомъ. Въ теченіе четверти часа Давидъ подвигался медленно впередъ, чтобы не потерять отца. Отвѣтомъ на свой вопросъ онъ не интересовался, у него были свои мысли и заботы, но зналъ, что обрадуетъ этимъ старика. И, дѣйствительно, какъ только отецъ догналъ Давида, то сейчасъ отвѣтилъ, что идетъ къ оцѣнщику. Настроеніе его за эти нѣсколько минутъ разговора съ знакомыми успѣло перемениться, онъ узналъ важную новость. Городъ разрѣшилъ провѣсти линію конно-желѣзной дороги по улицѣ, въ которой находился его домъ, а потому цѣна его должна была значительно подняться. Старикъ сіялъ отъ восторга. Наконецъ-то Богъ помогъ. Давидъ не понималъ ясно сущности дѣла, но радость отца передалась и ему. Если дѣла у отца пойдутъ лучше, счастье его ближе. Отецъ навѣрно согласится на его женитьбу и будетъ помогать, пока они устроятся. Давиду вдругъ ужасно захотѣлось оставить отца, сбѣгать къ Лизѣ и передать ей радость вѣсть. Онъ живо представилъ себѣ удивленное

лицо Лизы и большіе глаза, которые она сдѣлаетъ, увидавъ его рано утромъ у себя; онъ никогда не бывалъ у нея по утрамъ.

А отецъ, опьянѣвъ отъ радости, не переставалъ все время, пока Давидъ думалъ о своемъ, рассказывать о своихъ планахъ и надеждахъ:

— Первое—это то, что мысль о перезалогѣ дома уже окончательно выиграна. Сама земля подъ его домомъ поднимается до 70, 75 рублей за сажень, уже не говоря о томъ, что построено на этой землѣ. Онъ потребуетъ въ банкѣ даже больше восьми тысячъ, тысячъ 12—14; и дадутъ, навѣрное дадутъ. Теперь этотъ домъ—золото, каждый кусокъ земли—кусокъ золота; только напрасно Соня ругала этотъ драгоценный домъ. Она кричала, что домъ этотъ разореніе, что домъ этотъ проклятый, что онъ проглотитъ наши послѣднія крохи. Вотъ и проглотитъ, вотъ и проклятый. Видишь, видишь. Что я говорилъ, а, что я говорилъ? Помнишь? Я говорилъ: Соня, Соня, нашъ домъ—наше спасеніе, нашъ домъ—наша радость, наше утѣшеніе и опора въ старости. Помнишь, Давидочка? Ну кто былъ правъ, скажи мнѣ, кто былъ правъ? И теперь ты еще увидишь, что изъ этого выйдетъ.

Тутъ онъ заговорилъ шопотомъ, внимательно оглядываясь, не подслушиваетъ ли кто.

— Видишь ли, Давидочка, самое ужасное, что насъ пугало и давило, это не банковскій долгъ; онъ самъ себя выплачиваетъ.—Давидъ не понималъ и не зналъ какъ это банковскій долгъ самъ себя выплачиваетъ, но не спрашивалъ, чтобы не удлинять разговора, который ему не былъ интересенъ,—а вторая закладная и мелкіе долги, которые я надѣлалъ въ разное время, такъ какъ нужно же было намъ жить. Ты понимаешь это какъ? А вотъ какъ. Домъ дохода не приносилъ большого, и я все тянулъ изъ нашей торговли желѣзомъ, а когда мой кредитъ припалъ, ты понимаешь... Поло-

жимъ, я потерялъ деньги, взятыя подъ закладную, но почему же домъ проклятый, чѣмъ онъ виновать, какъ кричить Соня?

Онъ еще тише и какъ бы стыдяся заговорилъ:

— Конечно, домъ не виновать, а виновать я: за чѣмъ я игралъ на биржѣ, почему я покупалъ хлѣбъ. Фаерманъ и Лейзерманъ дѣйствительно выиграли на биржѣ, эти выиграли, но это еще не значило, что и я долженъ былъ выиграть. И я, конечно, не выигралъ; но виноваты они, а не домъ. Отчего они выиграли, отчего они мнѣ совѣтовали, отчего я, дуракъ, ихъ послушалъ? Ты только дома это не говори, а то она меня загрызетъ. Это я тебѣ только рассказываю, понимаешь.

Давидъ съ усиленіемъ и съ чувствомъ стыда мотнулъ головою.

— Такъ ты понимаешь,—продолжалъ старикъ,—наше мученіе—это маленькіе долги, которые уже сдѣлались большими—тысячъ около семи,—а за эти деньги, они взяты всѣ подъ векселя, я переплатилъ все: душу, кровь, здоровье, ты понимаешь? Но что вышло изъ того, что я платилъ? Ничего. Вексель—не банковскій долгъ, даже не закладная; банковскій долгъ самъ себя выплачиваетъ, а вексель стоитъ, какъ гора, и ты не сдвинешь ее, пока не заплатишь... Но гдѣ же мнѣ было взять? Яковъ стоитъ, Лева стоитъ, ты стоишь, дѣти стоятъ, жить намъ нужно, и я писалъ векселя. Векселя я писалъ, а дружескаго совѣта никто мнѣ не подалъ, никто мнѣ не разъяснилъ, что можно перезаложить домъ, что это дешевле обходится. Такъ вотъ у меня былъ такой планъ: перезаложу домъ, заплачу по векселямъ, а проценты за вторую закладную почти вдвое, или втрое меньше, мнѣ уже легко будетъ выплачивать, такъ что въ два три года я опять старый Розеновъ, я опять на ногахъ, всѣ мы обеспечены, и ваше ученіе, и моя старость, и Сонечка. А потомъ я передумалъ. Ну что же, думалъ « что изъ того, что процентовъ нужно вдвое меньше

платить? Ни теплѣ, ни холоднѣе. Я вѣдь все-таки плачу, а не зарабатываю. Если я подписывалъ векселя, чтобы платить большіе проценты, то я опять буду подписывать векселя, чтобы платить маленькіе, такъ какъ ни большихъ, ни малыхъ денегъ у меня нѣтъ и въ концѣ концовъ векселя меня съѣдятъ. Понимаешь? Такъ вотъ. Такъ вотъ надо было выдумать средство, чтобы уменьшить проценты и не подписывать больше векселей, чтобы платить проценты, но не изъ кармана, а зарабатывать ихъ. Торговля желѣзомъ больше того, что она давала, дать не могла. Оставался домъ. Что я могъ дѣлать съ нашимъ домомъ, когда я въ этомъ не былъ опытенъ? Ну, у меня, знаешь, все же есть кое-какіе пріятели, хотя не даѣтъ Богъ пріятелей никому, ибо кто меня подвелъ подъ хлѣбъ и подъ биржу? Однако, какъ же живетъ человѣкъ? Такъ вотъ эти пріятели начали мнѣ совѣтовать перестроить фасадъ моего дома такъ, чтобы тамъ можно было нѣсколько лавокъ открыть, ну, хоть бакалейную, табачную, или другую какую. Черезъ 2—3 года эти лавки вернутъ мнѣ расходы по постройкѣ, а потомъ эти лавки будутъ платить уже проценты, понимаешь? Это удивительный планъ. Не понимаю, почему Соня кричитъ и ругается. Она никакъ это понять не можетъ. Но, Богъ съ ней. Теперь слушай, что мнѣ только что пришло въ голову. Смотри, какъ я за всѣхъ васъ думаю. Когда я услышалъ, что дома должны подняться въ цѣнѣ,—это вѣдь не шутка конно-желѣзная дорога,—у меня сердце чуть не выпрыгнуло отъ радости. Въ банкѣ я возьму теперь деньги гораздо большія, тысячъ 12, ну 10, а на эти деньги можно у насъ въ домѣ гостиницу выстроить вмѣсто лавокъ. Ты знаешь, что такое гостиница? Это чистое золото. Кто хочетъ пожить въ ней день—рубль или 75 копеекъ: чисто и хорошо и безъ хлопотъ. Уплатишь за права, немножко полиціи, приставу, надзирателю, городовому тамъ, и въ два года мы богачи. Я брошу торговать желѣзомъ, и

мы переѣдемъ жить въ нашъ домъ. Или тебѣ не нравится гостинница, такъ баню. Ты понимаешь, что такое баня? Ахъ, если бы ты это золотое дѣло понималъ. Но Богъ съ нимъ, Богъ съ нимъ, все это было сначала, когда я услыхалъ, что дома въ цѣнѣ поднимутся, а теперь у меня совершенно новый и хорошій планъ, такая мысль, что ты у меня руку поцѣлуешь; только подойди ближе ко мнѣ, чтобы никто не услыхалъ, а то не дай Богъ, не дай Богъ.

Давидъ молча повиновался, со страхомъ вглядываясь въ воспаленные глаза отца, со страхомъ вслушиваясь въ тихіе, сдавленные, точно изъ-подъ петли, звуки.

Онъ уже забылъ о службѣ, о Лизѣ; онъ думалъ только о страданіяхъ отца и о его судьбѣ, и странная жалость охватила его.

Охватило такое чувство муки и состраданія, что онъ бы съ радостью взялъ у отца его тяжелую ношу, взвалилъ бы на свои плечи, понесъ ее, а отцу отдалъ бы свои молодые поги, свое здоровье, всѣ добрыя надежды, которымъ было такъ тѣсно въ его груди.

— Какъ ужасна была мать, какъ ужасенъ былъ Яша, — думалъ онъ, — и ни капли состраданія къ нему. Ничего, ничего они не понимаютъ въ немъ.

— Такъ слушай же, слушай, — Давидъ съ трудомъ различалъ слова. — Однажды у насъ было уже такъ круто, что я хотѣлъ поджечь нашъ домъ, ты понимаешь?

Онъ конвульсивно сжалъ руку Давида, который тихо задрожалъ.

— А изъ васъ никто этого не зналъ, никто, я никому не хотѣлъ сказать. Ахъ, какъ я мучился. Одинъ Богъ только знаетъ: И все для кого? Для себя развѣ? Для васъ, для васъ; вы вѣдь мои дѣти; вы хоть и взрослые, но вы не можете работать. Развѣ Яковъ не былъ правъ сегодня, когда говорилъ, что завидуетъ рабочему? Въ самомъ дѣлѣ, вдругъ у насъ отнимаютъ домъ. Что вы будете дѣлать? Я вѣдь сейчасъ же на

себя пелю падѣль бы. А Соничка не можетъ работать, не можетъ пойти въ служанки. А стыдъ, а враги, что сказали бы. Ну, а Павка, а Борисъ, а Мотя, а Лева, а Яковъ, а ты? Что же вамъ ворами нужно было бы сдѣлаться? У меня кости перевернулись бы въ землѣ. Но что же я могъ сдѣлать? Плати, плати, или домъ поидеть съ торговъ. А денегъ уже негдѣ было достать. Ахъ, я повѣситься хотѣлъ. Потомъ вдругъ эта мысль: поджечь да поджечь—тутъ все спасеніе. Все спасеніе, все—понимаешь? И банкъ уплочень, и векселя, и новый домъ построить можно безъ копейки долга, ахъ, у меня голова готова была лопнуть. Каждую ночь я, какъ воръ, приходилъ въ нашъ домъ, нарочно ночью, чтобы меня никто не видѣлъ, чтобы уликъ не было. Прихожу я въ домъ, все верчусь я, верчусь, вынюхиваю, высматриваю, а голова у меня, какъ въ огонь положена. Да или нѣтъ? Да или нѣтъ? Понимаешь ты мои мысли тогда? То мы всѣ счастливы, богаты, и я не умру, и Соничка въ служанки не поидеть, и вы не воры, а то каторга, Сибирь, позоръ себѣ, женѣ, дѣтямъ... Понимаешь ты, что ставилось на карту тогда? Ну, вотъ хожу я, крадусь, боюсь, все Бога прошу: помоги, помоги, Господи. Разъ, одинъ разъ помоги, пронеси искушеніе, или, если уже надо это сдѣлать, то пусть, чтобы счастливо. Дѣти мои милыя, за что имъ страдать? Если покараешь, то меня хоть одного, въ адъ пойду съ улыбкой, помоги...

Розеновъ вдругъ остановился, прерванный сыномъ. Давидъ былъ близокъ къ обмороку. Онъ хотѣлъ кричать, протестовать, но слова замирали на его устахъ. Онъ почувствовалъ, какъ похолодѣли его ноги; потомъ этотъ холодъ поднялся выше, къ животу, къ сердцу, перешелъ въ плечи, въ руки, и его вдругъ затрясло съ такой силой, что не будь съ нимъ отца, онъ упалъ бы.

— Боже мой, Боже мой, что съ тобой, Давидъ, Давидочка?

Давидъ не отвѣчалъ, онъ забылъ объ отвѣгѣ. Онъ машинально шелъ за отцомъ, который велъ его за руку, какъ маленькаго ребенка, и такъ же, какъ это было въ дѣтствѣ, онъ слышалъ тотъ же старинный, знакомый голосъ, который звалъ тихо, нѣжно, какъ зоветъ мать:

— Давидочка, Давидочка, отчего ты дрожишь? Тебѣ холодно? Ну, посмотри же на меня, посмотри, посмотри.

Давидъ машинально поворачивалъ голову, смотрѣлъ на отца, не видѣлъ его и все слѣдилъ за своей мыслью, которая разрасталась все шире и шире и освѣщала многое, чего онъ раньше не видѣлъ и не понималъ.

— Давидочка,—слышалось ему въ промежуткахъ,— ну что же съ тобой? Скажи же, скажи, голубчикъ мой, мальчикъ мой.

Розеновъ дрожалъ и волновался, бѣгалъ вокругъ Давида и заглядывалъ ему въ глаза.

— Глупенькій, глупенькій, ну что же я сказалъ тебѣ? Я вѣдь для васъ, всю жизнь для васъ. Что мнѣ и Сопечкѣ нужно? Ничего. Только для васъ, понимаешь? Да вѣдь я и не сдѣлалъ, глупенькій ты. Видишь, Богъ помогъ, помогъ же Онъ намъ тогда, помогъ и теперь; мы спасемся, вотъ увидишь.

Они завернули въ малолюдную улицу. Давидъ сжималъ руку отца, тщетно стараясь понять, что тотъ говорилъ, и тупо глядѣлъ на его измученное лицо.

### III.

Въ тотъ же самый вечеръ Давидъ, освободившись отъ службы, прежде чѣмъ отправиться домой, пошелъ провѣдать Лизу. Весь день послѣ разговора съ отцомъ, онъ чувствовалъ себя больнымъ, разбитымъ и находился въ какомъ-то особенно тревожномъ состояннн, близкомъ къ изступленію. И чтобы найти покой отъ этой докучливой мукы, несмотря на горячее нетерпѣніе очутиться дома подлѣ отца, онъ волеи-неволеи,



словно исполняя чье-то приказаніе, отправился къ Лизѣ.

У Лизы, когда онъ стоялъ уже у дверей ея комнаты, ему вдругъ показалось, что у нея его ждетъ несчастье. Онъ попытался посмѣяться надъ собою, но вдругъ замѣтилъ, что съ трудомъ переводить дыханіе. Какое-то неясное волненіе на мигъ завладѣло имъ, но скоро разсѣялось. Онъ приложилъ руку къ сердцу, испуганный, но не взволнованный. Далеко отъ него уходила фигура отца, точь-въ-точь, какъ утромъ, и такую же странной, чужой она показалась ему сзади и теперь. Онъ перевелъ духъ и толкнулъ дверь. Лиза стояла у окна и глядѣла на улицу. Линіи ея фигуры были безжизненны. Только несчастье могло ихъ такъ смять и согнуть. Онъ побѣжалъ къ ней, вѣвъ себя отъ тревоги, не имѣя мужества ее окликнуть.

Лиза, услышавъ позади себя знакомые шаги, медленно повернула голову и съ воспаленнымъ взглядомъ посмотрѣла на него. Давиду вдругъ показалось, что онъ уже все знаетъ. У него промелькнула мысль, что и его мать тоже заранѣе все предугадываетъ, но сейчасъ же забылъ объ этомъ. Желаніе сосредоточиться или разсѣяться на мгновеніе совершенно поглотило его, но и оно прошло.

А Лиза давно стояла подлѣ него и нѣсколько разъ уже повторила, точно это ея чрезвычайно нравилось:

— Сегодня я почувствовала нашего ребенка, сегодня я почувствовала нашего ребенка.

Давидъ сѣлъ на стулъ съ такимъ жестомъ, словно о подобномъ пустякѣ не стоило и говорить. Нѣсколько разъ онъ упорно порывался спросить у Лизы, какой сегодня день, и все безпомощно поднимать руки.

Лиза же, скрестивъ руки на груди, ходила по комнатѣ. О чемъ она думала? Она думала о своемъ несчастьи. Она думала о вчерашнемъ днѣ, когда мать заставила ее признаться, когда отецъ ее ругалъ, какъ

уличную дѣвушку. Нѣсколько минутъ прошли въ тѣломъ молчаніи.

— Знаешь, Лиза, — вдругъ раздался голосъ Давида, — напрасно я весь день считалъ жизнь отца полупреступной. Компромиссъ еще не составляетъ подлости, и сама жизнь въ большинствѣ случаевъ не болѣе, какъ компромиссъ.

Онъ замолчалъ, съ удивленіемъ поглядѣлъ вокругъ себя, точно его разбудилъ собственныи голосъ.

— Да, да, Давидъ, — разсѣянно отвѣтила дѣвушка, — мнѣ стыдно было сейчасъ же признаться тебѣ. Это дѣло женщины, а не мужчины, Давидъ.

Она повторила въ тысячный разъ ту фразу, которую говорила себѣ въ теченіе мѣсяцевъ.

Но ихъ разговоръ помѣшали. Въ сосѣдней комнатѣ раздались шаги. Лиза вздрогнула и сдѣлала знакъ Давиду. На порогѣ показалась мать Лизы. Постоявъ съ минуту неподвижно, она съ укоромъ покачала головой и направилась къ Давиду.

— Что же вы это сдѣлали, Давидъ, — прямо приступила она, — могла ли я ожидать? Я васъ считала такимъ хорошимъ, хорошимъ Давидомъ. Я вѣдь васъ, какъ сына, любила, да, какъ сына, Давидъ, вы на нее не смотрите, она дѣвочка, ей 17 лѣтъ; вы на меня посмотрите. Развѣ такъ любятъ другъ друга? Вы се замутили, а о себѣ я даже и говорить не хочу. Что намъ теперь дѣлать? Надъ нами стѣны будутъ смѣяться. Такой стыдъ, такой стыдъ, а я васъ еще нашимъ ангеломъ называла.

Лиза затрепетала и сдѣлала умоляющій знакъ.

— Что ты мнѣ знаки дѣлаешь, — разсердилась мать, — развѣ онъ самъ не знаетъ, что надѣлалъ. Я вѣдь думала, что ему жизнь довѣрить можно. Такой добрый, хорошии Давидъ. Нельзя ему правду выслушать.

— Но вѣдь онъ уже все знаетъ, — тихо произнесла Лиза, — посмотрите только на него.

— Еще бы онъ не знать. Что ты, смѣешься падо мной? Кто же сдѣлалъ, какъ не онъ? А помнишь, какъ мы радовались вдвоемъ, когда ты мнѣ рассказала, что онъ тебя любитъ? Ну, думала я тогда, теперь ужъ намъ некого бояться. Такой красивый, добрый, хороший. Ахъ, мнѣ казалось, что я гору отъ радости подпичу. Кто мнѣ не завидовалъ? Я сама себѣ завидовала. Развѣ я одну ночь спокойно спала отъ радости? Ну, думала я себѣ, теперь ты, Роза, можешь спокойно умереть, спокойно ты можешь уже умереть. Лиза будетъ въ хорошихъ рукахъ. Хорошо это, хорошо?

— Да, да, вы правы,—пробормоталъ Давидъ,—вы... совершенно правы.

Онъ попытался было бодро посмотреть на нее, но вдругъ растерялся. Какая-то знакомая тѣнь появилась въ углу и ему показалось, что она уставилась на него.

— Вы вѣдь были короной въ моемъ домѣ, Давидъ, развѣ вы не знали этого? Мнѣ завидовали, я вамъ говорю. Кто только не приходилъ, первое слово было о васъ. „Скажите, пожалуйста, будьте такъ добры, кто этотъ красивый молодой человѣкъ? Я еще такого лица не видала. Посмотрите-ка, какъ онъ сидитъ, какъ говорить“. А потомъ на ухо: „Это, извините, женихъ?“ Ты понимаешь, Лиза, что я тогда про себя думала. У меня дѣлалось три сердца вмѣсто одного. Я вѣдь чуть не молилась на него. Такой хороший, преданный, добрый. И все это пропало, вдругъ все пропало.

— Мама, не мучьте Давида,—волновалась Лиза,—онъ женится на мнѣ. Правда, ты женишься, Давидъ? пу, скажи ей скорѣе, и она сейчасъ забудетъ все: она такъ насъ любитъ.

Давидъ поднялъ глаза и задрожалъ. Передъ нимъ стояла его мать и молчаливо грозилла пальцемъ. Какія-то тѣни окружили ее и будто дрожали въ воздухѣ. Огонь въ лампѣ неласково горѣлъ и лѣниво посылалъ

блѣдные лучи, убивавшіе краску на лицѣ Лизы и ея матери, иногда скрывая ихъ совершенно отъ Давида.

Давидъ провѣтъ рукой по лбу.

— Конечно, Лизочка, конечно, женюсь, завтра же женюсь, — машинально отвѣтилъ онъ и подумалъ, что сходить съ ума.

Онъ услышалъ, какъ его мать всплеснула руками, а потомъ раздался ея голосъ:

— Какъ, какъ, — ломала она пальцы, — завтра ты обвиняешься? О, камень, лучше камень я родила бы, чѣмъ тебя. Для чего же я всю жизнь мучилась? Для этого, только для этого? Ты развѣ не пожалѣешь насъ? Посмотри, сколько еще дѣтей нужно прокормить, вырастить, а ты насъ теперь бросаешь. Но вѣдь это твои братья, твои же это братья, Давидъ. Вѣдь это твоя кровь, твое тѣло, а ты ихъ бросаешь. Посмотри на нихъ, какіе они худые, голодные, посмотри только, сколько ихъ.

Тѣни, окружавшія его мать и колебавшіяся въ воздухѣ, опустились ниже, и Давидъ могъ различить ихъ лица. Павка, Борисъ, Мотя стояли подлѣ матери, худые, истощенные, и видно было, какъ они прижимались другъ къ другу. За ними начинались опять въ томъ же порядкѣ Павка, Борисъ, Мотя, такіе же истощенные, худые, и дальше вновь Павка, Борисъ и Мотя безъ конца...

— Какъ я мечтала, — продолжала Роза, — о свадьбѣ Лизочки. Въ этомъ была вся моя жизнь. Лежишь себѣ почью и думаешь. О чемъ думаетъ мать? О чемъ думаетъ счастливая мать? О свадьбѣ. Вѣдь я видѣла весь городъ на нашей свадьбѣ. Этотъ большой, красивый заѣтъ, что я видѣла, эти важные лакеи въ бѣлыхъ перчаткахъ, эти гости, эти кушанья... У воротъ стоитъ красивая карета, мы вѣдь еще никогда въ каретѣ не ѣдили, Лиза. А это бѣлое платье къ вѣнцу... О, Давидъ, что вы только сдѣлали!

— Неужели васъ нельзя упросить, мама, видите какой Давидъ блѣдный.

— Ничего, дорогая, это ничего, — пробормотала Давидъ, стараясь разслышать, что говорила его мать.

— Развѣ ты отца не пожалѣешь, меня не пожалѣешь, — продолжала Розенова. — Посмотри на меня, какая я худая, замученная. А для кого я мучилась всю жизнь? Для себя ли? Для васъ, для семьи. Развѣ богатство мнѣ нужно? Для чего же бы я жила, если бы не для семьи? Но нужно вѣдь все-таки стариковъ пожалѣть, много ли у васъ еще силъ осталось? Нельзя же все класть на двоихъ старыхъ измученныхъ людей. Если ты женишься, то вѣдь придется кормить и тебя, и жену твою, и ребенка. Развѣ отецъ перенесетъ это? Все, все на одну шею, на одинъ горбъ.

— Хоть бы меня пожалѣли, — доносился голосъ Розы. — Вы вѣдь знали моего Гедалія? И это вы, такой добрый, хорошій...

— Мама, что съ Давидочкой, посмотрите-ка на него. Это вы его своими разговорами замучили. Давидочка, что съ тобой, пу отвѣчай же мнѣ!

Она уже вскочила и тревожно наклонилась къ нему.

— Ничего, Лизочка, не обращай на меня вниманія, — тихо произнесъ онъ; — я немного усталъ, кажется.

— Давидъ, — раздавался голосъ Сони, — посмотри мнѣ въ глаза, вѣдь еще не поздно, одумайся, одинъ разъ послушай мать свою. И развѣ дурное хочу? Я хочу, чтобы мои дѣти были счастливы, чтобы они не мучались въ жизни, какъ я съ Исаакомъ, чтобы мы подлѣ нихъ радовались. Развѣ это скверно? Вѣдь это хорошо, правда, хорошо? И я всю жизнь отдала на то, чтобы моимъ дѣтямъ было хорошо. Яшенька родился, я стала жить для него. Ночей не спала, дня не знала, болѣла съ нимъ, радовалась съ нимъ. Яшенька подросъ — ты родился; опять не спала, дней не знала; да, да, Давидочка, то же самое было, потомъ ты подросъ — Лева ро-

дился и опять почесть не спала; дня не знала; Лева подросъ, Мотя родился, а потомъ Борисъ, а потомъ и Павка. Яшенька учиться началъ, новыя хлопоты и заботы, потомъ ты началъ учиться, а послѣ Лева, и вся жизнь моя прошла въ тревогахъ и волненіяхъ; тутъ же и начались счастливыя дѣла Исаака, хлѣбъ, биржа, постройки. О, Боже мой, развѣ я что-нибудь хорошее видѣла въ жизни? Пользовалась ли я нашимъ богатствомъ, когда оно еще было у насъ, имѣла ли я отъ него удовольствіе? И для кого? для кого? Для семьи, для дѣтей. Ну пусть я хлопочу, страдаю, мечтаю я, но за то послѣ уже я отдохну, подлѣ дѣтей отдохну. Развѣ это не хорошо было, Давидъ, скажи? Нѣтъ, нѣтъ, не отворачивайся отъ меня. Ну подумай, подумай только, что ты хочешь сдѣлать? Развѣ ты можешь прокормить семью? Значить, ты хочешь, чтобы отецъ повый камень взялъ на шею?

— Ахъ, не говорите со мной такъ,—съ горечью оборвать ее Давидъ,—развѣ вы не видите, что раздражаете мою душу? И зачѣмъ вы о этомъ заговорили, объ этомъ я утромъ думалъ, откуда вы это знаете... да васъ здѣсь и нѣтъ, мама, нѣтъ, нѣтъ, я вамъ говорю, что нѣтъ, это я съ ума схожу.

— Что ты говоришь, Давидочка,—испуганно кричала Лиза,—съ кѣмъ ты говоришь, здѣсь вѣдь никого нѣтъ, и мама вышла. Теперь мы одни, и я такъ счастлива. И уже все забыла, все. А если бы зналъ, какъ я измучилась за эти 5 мѣсяцевъ тайны. Посмотри же на меня, видишь какое у меня счастливое лицо.

Она обняла его, шепча на ухо: „мой дорогой, мой дорогой“.

— Здѣсь, Давидъ,—продолжала Соня надорваннымъ голосомъ,—вотъ и дѣти, ты уже и матери не вѣришь. А моя душа, развѣ въ моей душѣ лучше? Раны тамъ, Давидъ, ни одного живого мѣста нѣтъ. Яковъ—рана, ты—рана, Лева—рана, отецъ—рана, все, все — раны.

Такъ ты хоть пожалѣй меня, Давидочка, вѣдь мой мозгъ и такъ отъ заботы высохъ. Меня не пожалѣешь, отца пожалѣй, отца не пожалѣешь, дѣтей пожалѣй, кого-нибудь пожалѣй, хоть кого-нибудь.

Она взяла его за голову и его глаза встрѣтили это дорогое состарившееся лицо такимъ просящимъ, покорнымъ.

— Васъ нѣтъ, нѣтъ васъ,—упорно повторялъ Давидъ, отодвигаясь.— Ну, скажите, какъ вы могли пройти сюда, вы вѣдь даже не знали, гдѣ Лиза живетъ. Бредъ, бредъ я вамъ говорю, я еще утромъ предчувствовать, что со мной что-нибудь случится. Теперь у меня жаръ: мнѣ въ жару все кажется. Какъ у меня голова трещить, вы совсѣмъ не жалѣете меня, мама...

— Но не могу же я иначе.—вдругъ вырвалось у него,—какъ же я могу? Развѣ вы не слышали, что тутъ случилось?..

Онъ помолчалъ, тоскливо нища глазами Лизу.

— Но я и безъ того,—сдѣлалъ онъ вдругъ движеніе, чтобы вскочить въ экстазъ,—и безъ того я уже думалъ, что не хорошо дѣтямъ, взрослымъ дѣтямъ быть вамъ въ тягость. Вѣдь уже пора, да, мама, пора, чтобы мы, взрослые, пришли вамъ на помощь, чтобы мы, взрослые, подставили свои плечи и высвободили ваши. Я сегодня цѣлый день объ этомъ думалъ.

— Дорогой мой,—шептала Лиза, прижавшись къ нему,—какъ я люблю тебя. Мнѣ все казалось, что счастья никогда не наступитъ, что я умру и всегда думала о двухъ могилахъ: моей и моего ребенка. И ты часто посѣщалъ насъ. Но теперь...

— А если бы Лиза была вашей дочерью,—истерически закричалъ Давидъ,—а я не вашъ сынъ. И она была бы беременна. И у меня была бы такая мать, какъ вы. И она бы меня умоляла бросить Лизу, вашу дочь? А, мама? Какъ бы я долженъ былъ поступить? Нѣтъ,

нѣтъ, скажите, не отворачивайтесь. Нѣтъ у меня выхода, вы видите, что нѣтъ его.

Ему показалось, что онъ вскочилъ съ мѣста.

— ... Я такъ счастлива,—продолжала Лиза тѣмъ же сладкимъ, таинственнымъ шопотомъ.—Ты умный, ты добрый, но ты мой, уже мой, навсегда.

— Одна болѣзнь насъ сѣла,—послышался Давиду какой-то другой, жестокой голосъ Сони,—связи нѣтъ и не было между нами. Волками вы были въ семьѣ, волками вы и покидаете ее. Яковъ еще не оторвался, но онъ оторвется; его душа не наша, онъ волкъ. На тебя была вся моя надежда, но и тебя сѣла та же наша болѣзнь, не было бы Лизы, нашлось бы что-нибудь другое, чтобы оторвать тебя отъ насъ: ты волкъ. Лева съ дѣтства былъ намъ чуждъ. Отецъ, мать, семья, ничего этого не существовало для него и чужимъ онъ выросъ среди насъ: онъ—волкъ. Всѣ, всѣ вы волки и только напрасны были наши труды.

— Нѣтъ, нѣтъ,—горячо вскричалъ Давидъ,—не мы—вы, вы волки. Развѣ мы требуемъ чего-нибудь отъ васъ? Мы просимъ, только просимъ; требуете вы. Вы требуете подчиненія своимъ взглядамъ, своимъ желаніямъ. Вы не признаете у насъ своей жизни, вы требуете, чтобы у насъ ея не было. Если въ семьѣ есть тягота, забота, горе, то и всѣ мы должны тащить на себѣ эту тяготу, заботу, горе, точно кругомъ жизни нѣтъ. Все, все для семьи, и ничего себѣ. Вы требуете всего меня, всего Якова, всего Леву; вы, вы волки и жестоки вы, какъ они. Развѣ вы не понимаете, что оставить Лизу теперь—преступленіе. Но что вамъ за дѣло до нея, до остального міра. Въ семью, въ семью? Сегодня откажись отъ одной дорогой мечты, завтра отъ другой, ибо семейныхъ бичъ свиститъ надъ головой. Стань подлецомъ, негодяемъ, но не нѣмнымъ семьѣ.

Онъ вдругъ замѣтилъ, какъ тѣнь матери стала растываться и испуганно замолкъ.



— Гдѣ же она, гдѣ она?—прошепталъ онъ, обращаясь къ Лизѣ.

— А помнишь, Давидочка,—говорила Лиза,—какъ мы мучились, когда думали о будущемъ. И вдругъ все такъ легко разрѣшилось. Теперь я еще болѣе довольна, что не сразу открылась тебѣ. Это пугаетъ мужичинъ. Давидочка.

— Пугаетъ, Лиза, все пугаетъ,—пробормоталъ Давидъ.

И вдругъ ему показалось, что у него вырвали сердце, со всѣмъ, что въ немъ было хорошаго, чистаго, со всѣмъ, что онъ считалъ въ себѣ человѣческимъ. Но ласковыя, родныя слова, торжественныя и всепрощающія уже неслись изъ всѣхъ угловъ, погружая его въ дремоту, умиротворяя больную совѣсть. Какой-то сказочный свѣтъ, безмятежный и прозрачный, какъ глаза Лизы, мягко дрожали въ воздухѣ и будили въ немъ едва памятные восторги, сладкіе, какъ поцѣлуи.

— Лиза, Лиза,—прошепталъ онъ, и положивъ голову на ея колѣни, усталый, больной, онъ забылся, не смѣя раскрыть ей своей души.

А Лиза по своему истолковала его жестъ. Она молча обняла его и долго гладила рукой по волосамъ.

#### IV.

Когда Давидъ вернулся домой, все уже было кончено. Вѣнчаніе его съ Лизой было назначено чрезъ 2 недѣли, и послѣдніе дни ему оставалось провести среди родныхъ, чтобы не возбудить въ нихъ подозрѣній. Въ столовой было свѣтло, но матери не было въ комнатѣ. Давидъ робко, точно уже чужой, снялъ пальто, потирая руки, сдѣлалъ нѣсколько шаговъ по комнатѣ. На полу, по обыкновенію, сидѣли Борисъ и Павка и возились съ картонной лошадкой, подаренной дядей.

Лейзеромъ. Павка держалъ въ лѣвой рукѣ кнутикъ и изъ всѣхъ силъ стегалъ, стараясь попасть въ безхвостую лошадку. Борисъ, ползая на колѣняхъ, тащилъ веревочку, къ которой лошадка была привязана, и каждый разъ оглядывался, чтобы удостовѣриться, погоняетъ ли Павка. Давидъ даже не взглянулъ на дѣтей. Чѣмъ-то холоднымъ, чужимъ повѣяло на него отъ этой картины, отъ этого угла, въ которомъ каждая мелочь напоминала ему что-нибудь изъ прошлаго и вызывала досадныя, по ужасно дорогія воспоминанія о времени, когда у него не было ни заботъ, ни горя, ни тяжелыхъ вопросовъ. Инстинктивно, какъ отдергиваютъ руку отъ укола, онъ вышелъ изъ столовой и направился въ свою комнату. Тамъ было темно, мрачно, и онъ чувствовалъ, что не въ силахъ оставаться одинъ. Тогда онъ перешелъ въ спальню матери, увѣренный, что найдетъ ее тамъ. Въ спальнѣ тоже было темно. Давидъ въ нерѣшительности сдѣлалъ нѣсколько шаговъ, вытянувъ впередъ руки и не зная, на что ему рѣшиться. Изъ противоположнаго угла донесся вздохъ, который на мгновенье разсѣялъ его тоску. Онъ узналъ мать и, осторожно ступая, добрался до нея. Розенова отдернула руку, къ которой нечаянно прикоснулся Давидъ, и быстро заговорила:

— Наконецъ-то ты пришелъ. У меня въ комнатѣ куча дѣтей, а я никогда не имѣю, съ кѣмъ душу отвести. Съ Исаакомъ ни о чемъ нельзя говорить. Ему скажешь одно слово, и онъ убѣгаетъ изъ дому. Лева ничего не хочетъ знать, онъ тоже убѣгаетъ. Развѣ моя голова все это выдержитъ. Когда находишь на меня тоска, я готова бѣгать по улицамъ. Я не понимаю, что дѣлаю? Вотъ я теперь стою и говорю со стѣной. Я просто съ ума сойду.

Давидъ усялся на кровати, чувствуя звонъ въ ушахъ, противъ воли побѣжденный, подавленный. Мать сѣла подлѣ него и быстро начала опорожнять переполнен-

ную душу. Странно звучалъ ся лихорадочный шопоть въ темнотѣ.

— Сказать, чтобы хоть отчего-нибудь можно было ожидать пріятное, хоть отъ чего-нибудь. Одишь имѣеть такую надежду, другой другую; у насъ же ничего, ничего. На кого мы можемъ падѣяться? На Исаака, на Яшу, на Леву, на тебя? Если только подумать, отъ чего все взялось, то просто съ ума можно сойти. Сколько, сколько разъ я просила, плакала передъ Исаакомъ: сдѣлай вотъ такъ, или сдѣлай иначе, не залетай планами къ Богу, имѣешь свой хорошій кусокъ хлѣба, имѣешь семью, будь доволенъ. Зачѣмъ намъ биржа, хлѣбъ? Какъ обстѣну горохъ. Теперь онъ стронть хочетъ.

— Тысячу разъ одно и то же, — оборвалъ ее Давидъ. — Что у васъ за страсть вспоминать все. Вы просто замучить можете вашими разговорами. Вѣдь все это уже прошло. Словами ничего не вернешь.

— Вспоминать. Я хотѣла бы видѣть такое холодное сердце, которое молчало бы... Какъ можно молчать? Можетъ быть это одно еще, что остается, а если бы я молчала, тогда бы уже камня на камнѣ у насъ не осталось. Всѣ вы кричите: молчите, не говорите, все равно уже поздно... Но я вѣдь кричала, молила, говорила, когда еще не поздно было, почему же меня не послушали? Якова не принимаютъ въ университетъ, — молчите, поздно. Исаакъ промоталъ два состоянія — молчите, поздно. Лева уже въ VIII классѣ и нарочно не хочетъ ни копейки заработать, потому что въ классѣ будто бы есть еще бѣднѣе его, въ то время, какъ другіе, начиная съ третьяго класса, зарабатываютъ — молчите, поздно. Поздно, поздно, поздно одно это слово я слышу. Но я вѣдь все предвидѣла раньше. Я среди васъ, какъ сумасшедшая. Живи съ людьми, которые дѣлаютъ все навыворотъ.

Давидъ не хотѣлъ мѣшать матери говорить. Онъ понималъ ее жажду высказать все, что ее мучило, а онъ

былъ единственнымъ человѣкомъ въ семьѣ, который соглашался слушать еѣ.

— Когда я совѣтовала Исааку,—продолжала Соня,—вступить въ компанію съ Аронзономъ, развѣ онъ хотѣлъ объ этомъ слушать? Онъ затыкалъ уши и убѣгалъ отъ меня, какъ отъ сумасшедшей. „Какъ, кричалъ онъ, я сдѣлаюсь компаньономъ этого мошенника? Никто не доживетъ до этого“. Слышишь, Давидъ, никто не доживетъ до этого. И мы таки не дожили. Еще бы? Подумай-ка, какое это было бы несчастье! Что такое? Ну, тотъ когда-то сидѣлъ въ острогѣ за подлогъ. Это отпадало было, что тотъ когда-то сидѣлъ. Будто это помѣшало ему потомъ сдѣлаться богатымъ. Но Исааку было все равно. Конечно, онъ бы запачкалъ отцовскую корону, если бы сталъ его компаньономъ.

— Конечно, отецъ былъ правъ,—вставилъ Давидъ.

— Ты тоже это говоришь. Почему онъ былъ правъ? Отецъ твой Ротшильдъ? Не умный, нищій и ничего больше. Для кого онъ это долженъ былъ сдѣлать? Для себя развѣ? Для семьи, а для семьи не существуетъ жертвъ. Все хорошо для нея. Я просила, умоляла его, плакала, зубы себѣ выломала отъ горя, ничего не помогло. „Я, Розеновъ, сдѣлаюсь его компаньономъ, я? Я и мошенникъ? И безъ него поднимемся. Подожди, Соня, подожди“. Ну, онъ и дождался. Аронзонъ теперь богатъ, Аронзонъ теперь развѣзжаетъ въ каретѣ, и весь городъ считаетъ великимъ одолженіемъ, если онъ кому-нибудь два пальца подастъ, а Исаакъ ходитъ въ изодранныхъ башмакахъ, и никто его знать не хочетъ, такъ какъ нищій оборванецъ никому не нуженъ. Пусть-ка тотъ теперь ему руку подастъ? Я хотѣла бы это увидѣть. Онъ Исаака на порогъ свой не пуститъ. Но ты думаешь, что Исаакъ меня не поконтитъ? Э, это старый камень, онъ уже отжилъ свой вѣкъ. Отъ него уже нечего ждать. Что для меня хуже всего, такъ это то, что вы всѣ въ него пошли. Какъ а капля воды. Всѣ вы легкомысленные, не думаете

о завтрашнемъ днѣ и любите только себя, свои удовольствія. Оттого вы и кричите, что я пророчу несчастіе. Но, Боже мой, развѣ я виновата, что все предвижу, что предо мной кто-то какъ будто раскрываетъ будущее?

Давидъ вздрогнулъ и невольно отвернулся. Ему вдругъ почувствовалось, что она догадается, по его дыханію догадается, по его голосу. И онъ это такъ ясно созналъ, что въ слѣдующую минуту ужъ не сомнѣвался, что она объ этомъ ему сегодня же скажетъ. И онъ съ глухимъ страхомъ приготовился отрицать, чего бы это ни стоило ему.

— Но чѣмъ же это кончится, чѣмъ все это кончится,—продолжала Соня, послѣ нѣкотораго молчанія. — Ну, хорошо, мы съѣдимъ и послѣднее, что осталось въ домѣ, а дальше? Изъ Якова ничего не выйдетъ, я не вижу, чтобы изъ него что-нибудь вышло. Если человѣкъ любить только одѣваться и смотрѣться въ зеркало, то онъ уже не человѣкъ. Такого всю жизнь нужно кормить. Не мы будемъ, такъ другой дуракъ найдетъ, но самъ онъ ни на что не годится. Настоящій сынъ поѣхалъ ли бы въ нашемъ положеніи учиться? Не можетъ онъ работать вмѣсто отца? Ну, положимъ, пусть будетъ по-твоему, онъ будетъ зарабатывать потомъ. Но что намъ изъ его заработковъ, изъ его ученія, если мы, можетъ быть, не доживемъ до того? А пока тяни изъ себя послѣднія жилы, подписывай векселя, покупай ему платье, рубахи, шляпы. А Павкъ я башмачковъ не могу купить. Отецъ готовъ, онъ всегда готовъ изъ себя жилы тянуть для васъ, но какъ бы поступилъ настоящій отецъ? Развѣ это любовь? Любовь, если дѣлаютъ ребенку своему добро, а не говорятъ: я изъ себя вытяну жилы. Гдѣ Исаакъ возьметъ денегъ, чтобы высылать? Будто Яша этого не знаетъ? Если бы онъ былъ папъ, настоящій папъ, онъ бы въ контору пошелъ. Сначала бы ему дали 50 рублей, потомъ больше, потомъ больше. Но ему лучше, чтобы на него работали.

— Какой у васъ мучительный характеръ, — не вытерпѣлъ Давидъ. — Все вы видите въ черномъ свѣтѣ. Не понимаю, какъ папа могъ васъ перенести. Я бы съ ума сошелъ или повѣсилъ. Не сердитесь, мама, по это такъ ужасно, такъ ужасно слушать, какъ вы говорите. Я увѣренъ, что отъ Якова вы перейдете ко мнѣ, а потомъ къ Левѣ. Вы вѣдь не остановитесь. А не лучше ли, чтобы вы успокоились, отдохнули. Перестаньте думать объ этихъ вещахъ. Думайте лучше о чемъ-нибудь веселомъ. Вотъ Яковъ поѣдетъ учиться, можетъ быть онъ тамъ для себя работу найдетъ, и вамъ не нужно будетъ высылать ему. Потомъ онъ сдѣлается докторомъ. Вѣдь все хорошее у васъ еще впереди.

— Что ты мнѣ рассказываешь, Давидъ, ты думаешь, что я ребенокъ, которому нужна игрушка. Никогда Яковъ ничего не заработаетъ. Это не такой человѣкъ, я тебѣ говорю. И отъ тебя тоже ждать нечего...

— Вотъ видите, — перебилъ ее съ досадой Давидъ, — я вамъ говорилъ, что вы перейдете ко мнѣ, а потомъ будетъ и Лева. Какой у васъ ужасный характеръ. Ну, остановитесь, я васъ прошу.

— Это тебя колетъ? Дай мнѣ говорить, я этого не перепесу; ты вѣдь совсѣмъ пропащій. Не сегодня, завтра ты женишься. Сиди, сиди, ты уже хочешь убѣжать, какъ они. Я съ ума сойду, сиди, сиди.

— Такъ не говорите, — не будете говорить, — вдругъ шопотомъ заговорилъ Давидъ, сверкая глазами въ темнотѣ, — не будете, не будете?

— Сиди, сиди, вѣдь моему горю конца нѣтъ, — ну сиди же, — истерично крикнула она, — я вѣдь уже не говорю о тебѣ. И чѣмъ я могу помочь. Я могу говорить, еще разъ сказать, поплакать. Развѣ это семья? Когда вы были маленькими еще была семья, а теперь...

— Ну, довольно же ради Бога, мама, — перебилъ ее Давидъ.

— Ахъ, оставь меня, развѣ есть для разговора что-

нибудь лучшее? Вы кричите, что я злая, что я вамъ жить не даю, по не даѣ Богъ, не даѣ Богъ имѣть вамъ мое сердце. Чего бы я другого хотѣла, если бы каждый изъ васъ зарабатывалъ? Я была бы царицей. Я бы съ тобой говорила о чемъ бы ты захотѣлъ. Я развѣ богатства хочу? Я уже перестала хотѣть богатства. Когда-то я не могла спать безъ перины, не могла обойтись утромъ безъ стакава кофе. А теперь я сплю на желѣзной кровати и на старомъ матрацѣ, отъ котораго у меня всю ночь кости болятъ, а утромъ я часто даже чаю не пью, и это меня не трогаетъ. Сначала я плакала, мучилась, а теперь я объ этихъ вещахъ и думать забыла; только бы хлѣбъ свой былъ, только бы долговъ не было на головѣ. О, Боже мой, наступитъ ли та минута, когда я не буду вскакивать въ пять часовъ утра, чтобы въ страхѣ и мученьяхъ думать, какъ я тому заплачу, какъ другому заплачу. Ты думаешь, что я сплю по ночамъ, или Исаакъ спитъ? Вы спите, а мы ворочаемся со старикомъ, все ворочаемся, вздыхаемъ. Плохо Исаакъ, плохо Соня, завтра тому нужно платить, завтра срокъ еще одного векселя. Гдѣ мы возьмемъ, у кого еще пскать денегъ? Не этотъ вексель придушить, такъ другой. Придутъ, опишутъ, куда мы поидемъ, старые люди? Кто намъ руку подастъ? О, Давидъ, о дѣти, если бы вы наше сердце знали.

Давидъ невольно поддавался смыслу жалобъ, поне-много окунаясь въ тяжелую атмосферу будничныхъ заботъ. И отъ этого его горе стало какъ будто дальше, какъ будто превратилось въ ничтожную песчинку этого бездоннаго моря тяготы. И домашній омутъ со всѣми его противорѣчiями, со всею его безпощадной жестокостью, со всею его безвыходностью, какъ простая, но никогда не разрѣшимая задача, предсталъ предъ нимъ, быть можетъ, въ первый разъ въ жизни, такъ ясно, въ своей нагой, примитивной формѣ.

— Эта мода на ученье совсѣмъ погубила на

продолжала Соня. — Подумать только, сколько тысяч мы переплатили за это проклятое ученье. Всю жизнь Исаакъ работалъ на учителей. То въ гимназію нужно платить, то репетитора нужно взять, то мундиръ нужно купить, то книги, и опять книги, и опять репетитору. Намъ ли, среднимъ людямъ, нужно было учить дѣтей? Я понимаю еще, когда течетъ черезъ губы, когда это дѣлаютъ богатые. Средній человѣкъ, не богатый человѣкъ долженъ работать и работать. Вѣдь 10—12 лѣтніе мальчики работаютъ и поддерживаютъ цѣлую семью? Покажи мнѣ большій грѣхъ, чѣмъ тотъ, когда молодой требуетъ, чтобы на него работалъ старшій. Отецъ кради, воруй, бери гдѣ хочешь, только дай. Возьми Леву. Вотъ онъ сидитъ теперь въ своей комнатѣ со своими товарищами, такими же мальчиками, какъ и онъ. Думаешь, что имъ приходитъ мысль, что старикъ бьется ради нихъ, что уже силы кончаются у стариковъ, что нужно и имъ помочь? Вотъ подойди, послушай. Ты услышишь: мужикъ, рабочій, рабочій, мужикъ и ничего больше. Это ихъ дѣло. Съ ними я уже совсѣмъ сумасшедшая. Въ прошломъ году былъ не рабочій, а была Палестина. Слыхалъ ли ты такую глупость? Евреямъ скверно жить въ Россіи, а потому ихъ нужно въ Палестину перевести. Еще только тамъ евреевъ не хватало? Если имъ тутъ скверно, тамъ имъ въ Палестинѣ станетъ лучше? Положимъ, мы надѣмся, что черезъ годъ мы будемъ въ Іерусалимѣ. Но вѣдь это только сказка, и ее рассказываютъ въ праздникъ. Наша Палестина тамъ, гдѣ намъ хорошо. И у всѣхъ людей тамъ Палестина, гдѣ имъ хорошо. Но къ чему я говорю это? Тутъ отецъ и мать бьются ради дѣтей, ради семьи, а эти мальчики жалѣютъ всѣхъ евреевъ, и не хотятъ жалѣть своихъ отцовъ и матерей. Это развѣ люди, это выродки какіе-то! Теперь они выдумали: рабочій и мужикъ; и хоть ты возьми и убей ихъ, чтобы они о другомъ заговорили. Знаешь, что я тебѣ скажу? Левы я



больше всего боюсь. Мое сердце что-то предчувствуетъ, что-то нехорошее предчувствуетъ оно. Я еще ни разу не видѣла, чтобы онъ задумался о насъ, чтобы онъ чѣмъ-нибудь показалъ свою любовь къ намъ. Отецъ, мать, семья, ничто для него не существуетъ. Всегда онъ съ своими книжками, со своими товарищами. Теперь же онъ еще подружился съ этимъ студентомъ, Михайловымъ, и я думаю, что онъ совсѣмъ пропадетъ. Хорошая, счастливая жизнь!... Собакъ, которую изъ теплой комнаты выбрасываютъ на морозъ, и той въ тысячу разъ лучше, чѣмъ мнѣ. Сначала, когда вы были маленькіе, все еще было хорошо, и я могла на все надѣяться. Вы были мои, не чужими. А это ученіе совершенно погубило насъ. Яковъ уѣзжаетъ, но это все равно, онъ и такъ уже не нашъ. Ты не сегодня, завтра женишься и ты тоже не нашъ. А Лева никогда не былъ нашимъ. Пропала, пропала наша семья.

Давидъ сидѣлъ убитый съ широко раскрытыми глазами отъ этого вѣщаго, пророческаго голоса.

„Сейчасъ о волкахъ заговорить“, съ тоской подумалъ онъ. И, зажмуривъ глаза, какъ ребенокъ, который прячется отъ опасности, онъ отвернулся, страшно, внимательно прислушиваясь.

Въ сосѣдней комнатѣ слышались шаги. Давидъ облегченно вздохнулъ.

— Это, вѣроятно, отецъ, — произнесла Рознова. — Пойдемъ и послушаемъ, что слышно новаго.

И она съ Давидомъ вышла въ столовую.

## V.

Слухъ о проведеніи новой линіи конно-желѣзной дороги еще держался среди домовладѣльцевъ той части города, гдѣ находился домъ Рознова, и потому въ семьѣ этого послѣдняго держалось оживленіе, и не пропадало бодрое настроеніе. И это, за послѣдніе годы

небывалое, бодрое настроеніе отражалось и на всей жизни, на всѣхъ мелочахъ, на всемъ, что предпринимали, дѣлали и говорили. Какъ-то и студентъ Михайловъ, еще вчера наводившій неопредѣленный страхъ своимъ присутствіемъ въ домѣ, и самъ Лева, со всѣмъ, что было въ немъ непонятнаго для матери, уже не казались такими страшными; и поѣздка Якова со всѣми этими векселями, которые пужно было начать подписывать, не представлялась уже такимъ ярмомъ, да и само то, что приходилось еще долго выносить на плечахъ всю подрастающую молодежь, и это потеряло свою угрожающую силу. Будущее казалось такимъ обаятельнымъ, что все представлялось легкимъ, нетруднымъ и пріятнымъ. Эту передышку, какъ бы данную судьбой для того, чтобы набраться свѣжихъ силъ для борьбы, эту короткую минуту ясной и прекрасной перспективы стать снова на ноги не омрачали никакія сомнѣнія. Даже Розенова, всегда тревожная и чувшая въ воздухѣ несчастье тогда, когда о немъ еще никто не думалъ, даже ея инстинктъ какъ-то притупился, и она, какъ и всѣ въ семьѣ, на мигъ ожила, повеселѣла и отдалась вліянію обаятельной мечты.

Первый ударъ, разрушившій эту иллюзію счастья, былъ нанесенъ Давидомъ.

Въ назначенный день онъ обвинчался съ Лизой, и въ тотъ же вечеръ, чтобы не вызвать у родныхъ напрасныхъ безпокойствъ, онъ далъ знать домою о своей женитьбѣ. Вся семья была въ сборѣ, когда человѣкъ принесть домою это извѣстіе.

— Что, что?—вскричалъ Розеновъ.

Онъ схватился за сердце и тихо началъ спускаться со стула, на которомъ сидѣлъ, бессмысленно блуждая зрачками, и какъ-то безпомощно подергивая всѣми мускулами лица.

— Съ нимъ ударъ!—не своимъ голосомъ крикнулъ

Яковъ, бросаюсь къ отцу. — Помогите, Боже мой, онъ умираетъ!

Онъ схватилъ дрожащей рукою стаканъ съ горячимъ чаемъ и, не замѣчая, что вода обжигаетъ пальцы, брызнулъ ею въ лицо отцу. Розенова, онѣмѣвшая отъ ужаса, стояла уже подлѣ мужа и растирала ему почему-то шею, тяжело дыша, чувствуя, какъ у нея отдѣляется голова отъ тѣла.

А Яковъ все брызгалъ да брызгалъ, держа отца въ своихъ объятіяхъ, нашептывая, точно тотъ могъ понимать, нѣжныя слова утѣшенія и цѣловалъ его мокрое морщинистое лицо.

Лева, сидѣвшій тутъ же, дрожалъ всѣмъ тѣломъ и не трогался съ мѣста. Лицо юноши искривилось отъ напряженія, а по глазамъ видно было, что какая-то мысль беспокоила его. Думалъ ли онъ о томъ, кто правъ: отецъ или Давидъ, спрашивалъ ли онъ себя, почему его сердце сжимается отъ боли при видѣ страданій отца, тогда какъ онъ давно покончилъ съ вопросомъ о кровной связи, искалъ ли онъ причину начавшагося разложенія въ собственной семьѣ, или, наоборотъ, на примѣрѣ своей семьи еще болѣе убѣждался въ неизбежномъ распадѣ существующихъ семейныхъ отношеній?

И пока онъ думалъ объ этомъ, Розеновъ поднялся со стула и произнесъ:

— Проклинаю его.

Что-то точно задрезжалось въ комнатѣ, откликнулось въ углахъ и безсильно оборвалось. Старикъ сѣлъ, положилъ руки крестообразно на груди и какъ бы застылъ. Лева незамѣтно выскользнулъ изъ комнаты, въ которой на минуту стало подозрительно тихо. Вдругъ сильныя рыданія огласили воздухъ, и мать упала на руки Якова, крича:

— О, отчего я не задушила его въ дѣтствѣ, вѣдь я

тогда уже видѣла, что изъ него выйдетъ. Несчастливая жизнь моя!

Старикъ поморщился: ему теперь такъ хотѣлось покоя. Но нѣтъ, нѣтъ покоя; его судьба—быть всегда на сторожѣ, быть всегда готовымъ встрѣтить ударъ, откуда бы онъ ни шелъ. Какое существованіе, какая участь! Всю жизнь работать для дѣтей, надѣяться, что когда-нибудь, спустя много лѣтъ, онъ отдохнетъ подлѣ нихъ,—и вотъ теперь отвѣтъ на мечту. Какой позоръ быть слѣпымъ и не понимать души своего сына? Виновень ли онъ въ его женитьбѣ, должно ли оно было такъ случиться? Какая же сила дѣйствовала тутъ, создавшая это вѣчное противорѣчіе между интересами семьи и дѣтей? Это была погоня за хлѣбомъ, страшная сила, отрывающая отцовъ отъ дѣтей, разлагающая общіе интересы; погоня за хлѣбомъ—Божья кара, каторжная цѣнь, раздавившая уже его совѣсть и теперь добравшаяся до его надеждъ. Съ утра до ночи онъ видѣлъ передъ собой угрозу, протянутыя руки хищниковъ, ждавшихъ перваго фальшиваго шага, чтобы пожрать его; онъ видѣлъ тѣ же, не хищническія, но и не менѣе страшныя руки семьи, которая неумолимо требовала своего. Могъ ли онъ думать о чемъ-нибудь иномъ, какъ о спасеніи, о какомъ-нибудь благополучіи, о какомъ-нибудь покоѣ? Онъ только могъ работать, пока держались силы, и вѣрить, что дѣти цѣнятъ, понимаютъ, жалѣютъ его,—что каждый изъ молодыхъ песетъ свой камень для общаго счастья. Могъ ли онъ знать, что этотъ камень долженъ будетъ разбить фундаментъ, который онъ упорно возводилъ всю жизнь? Винить ли ихъ за это? Развѣ дѣти были воспитаны хоть какъ-нибудь? Кто позаботился? онъ, мать? Проклятый хлѣбъ, проклятая нужда! она не давала ни минуты отдыха, не давала задуматься надъ тѣмъ, какъ жить, въ какую сторону направить шаги. Вотъ, вотъ кто ихъ настоящій врагъ, и объ этомъ никто не думалъ... Винить ли дѣтей,

Давида? Внипть! внипть! Развѣ человѣкъ не всегда человѣкъ? Вѣдь уже давно настала пора, когда дѣти должны были сами видѣть и понимать, что дѣлаетъ отецъ, ради чего онъ живетъ, что такое его надежды, что такое его работа? Пора, давно пора было. И они видѣли, и они понимали, и все-таки...

— Ты, ты виноватъ,—какъ бы въ отвѣтъ кричала Соня надъ его головой,—всегда и вездѣ ты. Я это говорила, предупреждала, предвидѣла. Я кричала, молила, намекала, но меня считали сумасшедшей. Ты вѣдь меня упрекалъ, что я тебѣ жить не даю. Ну, и живи теперь.

— Уйди, уйди,—взмолился Розеповъ,—у меня разорвется сердце?

— Уйти. Куда? Ты хотѣлъ покоя, безумецъ, ты хотѣлъ отъ дѣтей дожидаться радости. Ты залеталъ въ облака съ своими планами и не хотѣлъ видѣть, что у тебя подъ носомъ дѣлается. Училъ ли ты чему-нибудь своихъ дѣтей, далъ ли ты имъ хоть какое-нибудь наставленіе? Теперь ты собираешь то, что посѣялъ.

— Это ты говоришь,—вскочилъ Розеповъ,—ты меня упрекаешь въ томъ, что я работалъ и только работалъ. И ты уже съ ними, и ты уже меня не понимаешь? Но кто, какъ не ты, ежедневно протягивала руки за деньгами, кто требовалъ хлѣба и много хлѣба? Развѣ не у меня ежедневно высыхалъ мозгъ, развѣ не я, какъ помѣшанный, бѣгалъ съ утра до ночи, и кровь вмѣсто пота выступала на моемъ тѣлѣ отъ страха и усталости. Какъ могъ я думать о такихъ пустякахъ, какъ наставленія?

— Вы совершенно правы, папа,—вмѣшался Яковъ,—но въ концѣ концовъ ничего ужаснаго нѣтъ въ поступкѣ Давида. Не все ли равно, когда онъ женился...

— Молчи, молчи, молчи, сумасшедшій,—раскричалась Розепова,—хороши наши надежды и на тебя. Кто женился? Мужнина? Сумѣетъ ли онъ прокормить

семью? И какъ онъ смѣлъ безъ нашего вѣдома? Это сынъ? Для того мы работали на него? Развѣ онъ не зналъ, что можетъ этимъ убить отца? А завтра онъ придетъ съ женой и ребенкомъ сидѣть на нашей шеѣ?

— Я не говорю, что это хорошо, но это не такъ ужасно, какъ вы себѣ представляете. Правда, ему будетъ трудно на первыхъ порахъ, но онъ не первый, и вы тоже не съ тысячъ начали. У васъ была маленькая лавочка, папа, когда вы женились, и если бы въ послѣдніе годы вамъ везло, вы владѣли бы десятками тысячъ.

— Это когда-то можно было съ лавочекъ начинать, — отвѣтила мать, но Розеновъ прервалъ ее.

— Э,—съ досадою выговорилъ онъ,—ничего ты еще не понимаешь, Яша. Ну, пусть онъ женился, пусть она бѣдная...

— Какъ бѣдная,—ты уже съ ними! — вмѣшалась Соня.

— Не мѣшай мнѣ хоть разъ въ жизни,—остановилъ ее Розеновъ.—Пусть, говорю, она бѣдная, все бываетъ въ жизни. Но скажи, какъ не открыться отцу, я не скажу тебѣ или матери,—по мнѣ, мнѣ. Онъ вѣдь мой сынъ, для него я работалъ такъ же, какъ и для всѣхъ, какъ же это я не заслужилъ у него хоть капельки довѣрія? Вотъ что ужасно, вотъ, вотъ. Или я въ самомъ дѣлѣ звѣрь? Развѣ я не понималъ бы своего сына? Ахъ, если бы, если бы онъ такъ сдѣлалъ! Вѣдь я бы гору поднялъ, чтобы моему сыну помочь. Какъ бы я не помогъ своему сыну, своей крови? Подумай, Яковъ, подумай только, что онъ сдѣлалъ.

Розеновъ дрожалъ отъ волненія и заискивающе смотрѣлъ Якову въ глаза, боясь, что тотъ и здѣсь можетъ его не понять.

— Не говорите такъ, — отвѣтилъ Яковъ, отвернувшись, — вы раздражаете душу, и если бы Давидъ васъ теперь слышалъ, онъ бы рвалъ на себѣ волосы отъ отчаянія. Но не вините, не вините и его. Кто не дѣлаетъ

ошибокъ? И, наконецъ, можетъ быть, папа, онъ не могъ иначе.

— Не говори этого, Яша, я боюсь этихъ словъ!..

Но мать перебила его:

— Какъ не могъ? Развѣ есть что-нибудь выше отца и матери? Пусть у меня будутъ причины бросить свою семью. Хотѣла бы я видѣть эти причины... Все это слова, одни слова. Себя любить — вотъ причина. Подумаешь, что только одна эта дѣвушка была на свѣтѣ. Будто онъ не могъ сто другихъ найти и получше, и побогаче, если бы захотѣлъ. Не вѣрь имъ, Исаакъ, никому не вѣрь; они враги наши..

— Вы уже опять начали,—съ гнѣвомъ перебилъ ее Яковъ.

— Правда колетъ? Правда всегда колетъ, это я хорошо знаю. Всѣ, всѣ вы чужіе, и копейки я не дамъ за вашу любовь. Послушалъ бы меня Исаакъ и выгналъ бы васъ всѣхъ. Это бы еще спасло насъ. А то вы раньше всѣ соки высосете, а потомъ бросите. Давидъ ради той подлой дѣвушки, Лева ради Михайлова или другого кого-нибудь, ты ради самого себя.

Яковъ зажалъ уши руками вначалѣ, но потомъ не выдержалъ и выбѣжалъ изъ комнаты, съ сердцемъ хлопнувъ дверью. Старикъ остался один. Долгимъ многозначительнымъ взглядомъ они переглянулись и, движимые охватившимъ ихъ страхомъ, подѣли другъ къ другу. Опустѣвшія души крѣпко рвались соединиться, сростись, чтобы не было такъ ужасно. Только ихъ интересы, ихъ заботы, ихъ радости были едины, единовременны, общи. Дѣти?—гадкій сонъ, неприятное воспоминаніе. Съ именемъ дѣтей былъ связанъ стыдъ за упованія, надежды.

— Одни, одни,—прошепталъ Розеновъ.

## VI.

Время шло, и жизнь у Розеновыхъ медленно входила въ обычную колею. О Давидѣ стали забывать, такъ какъ на очереди стояла уже забота объ отъѣздѣ Якова. Мать, забывъ на время о нуждахъ и хлопотахъ текущей жизни, отдала всѣ силы, чтобы приготовиться къ близившейся минутѣ. По цѣлымъ днямъ она только то и дѣлала, что починяла, подрѣзывала, бѣгала по лавкамъ, совѣтовалась, гдѣ могла. Домашній порядокъ куда-то исчезъ, уступивъ напору новыхъ, важнѣйшихъ заботъ, такъ что дѣти теперь ходили безъ присмотра. Розеновъ не находилъ во-время обѣда на столѣ; Лева по цѣлымъ днямъ пропадалъ гдѣ-то и никому въ голову не приходило беспокоиться на этотъ счетъ и устраивать сцену; даже страхъ о какихъ-то поданныхъ ко взысканію векселяхъ не нарушалъ хода работы и опредѣленно установившихся мыслей и чаяній о грядущемъ днѣ, о великомъ будущемъ доктора Розенова, о славѣ, о поддержкѣ. Не было той жертвы, которая казалась бы трудной всегда разсчетливой матери. По почамъ старики совѣтовались, разсуждали и никакая, глупѣйшая фантазія не казалась имъ невозможной, когда они говорили о будущемъ Якова. Спорили и совѣтовались объ улицѣ, въ которой поселится докторъ Розеновъ. Произнося „докторъ Розеновъ“, они дрожали и задыхались отъ счастья, прижимались другъ къ другу, пламеня отъ гордости, чувствуя въ эти минуты, что ничто, ничто уже имъ не страшно, ни векселя, ни семейныя неурядицы, ни женитьба Давида, ни необходимость ждать годы до осуществленія мечты. Они спорили о количествѣ комнатъ, которыя долженъ будетъ занимать докторъ Розеновъ, придется ли выписать мебель изъ Вѣны. Потомъ говорили о томъ, гдѣ они, старики, будутъ жить. Соня непремѣнно хотѣла поселиться съ Яко-



вомъ, но Исаакъ твердо стоялъ за то, чтобы жить на сторонѣ и не портить карьеры сына.

— Ты понимаешь, какъ это выйдетъ плохо, если меня тамъ кто-нибудь увидитъ. Ты знаешь, что значать пациенты? Просто голову ломить отъ такихъ людей. Нѣтъ, мы себѣ лучше въ сторонѣ гдѣ-нибудь, лучше ужъ въ сторонѣ.

Розенова не спорила и больше напирала въ сторону богатыхъ невѣсть, думая про себя, какія она задачи будетъ задавать свахамъ. Исаакъ же мечталъ больше о славѣ и учености Якова.

— Увидишь, увидишь, — съ жаромъ говорилъ онъ, — что изъ Яши выйдетъ. У него не наша голова. Что мы съ тобой знаемъ? О, ничего. Можетъ ли наше знаніе сравниться съ однимъ словомъ ученаго? Развѣ у насъ настоящія мысли? Отъ настоящихъ мыслей всѣмъ хорошо и тепло. Ученый возьметъ что-нибудь, осмотритъ, обдумаетъ, и вдругъ тысячамъ становится хорошо. И ты увидишь, какъ Яковъ пойдетъ. Ты все говоришь о богатыхъ невѣстахъ, о деньгахъ. Я не спорю съ тобой, но развѣ намъ объ этомъ нужно разговаривать? Ты только подумай, какой это ему и намъ почетъ будетъ. Вѣдь на него какъ на ангела будутъ смотрѣть. И въ самомъ дѣлѣ, что можетъ быть лучше, какъ помогать людямъ. Вдругъ онъ еще выдумаетъ что-нибудь, ну, противъ чахотки, или не знаю какой тамъ болѣзни. Нѣтъ, ты только объ этомъ хорошо подумай. Вѣдь просто умереть можно отъ радости. Всѣхъ, всѣхъ людей осчастливить.

— Ну, пусть будетъ такъ, Исаакъ, развѣ я говорю что-нибудь, или мѣшаю ему. Только бы у насъ немножко дѣла поправились, чтобы можно было побольше денегъ ему высылать. Вѣдь какъ онъ у насъ выросъ. Видѣлъ ли ты еще у кого-нибудь такія манеры? Когда онъ ходитъ, — все на немъ живетъ: рубашка блеститъ, какъ снѣгъ, сюртучокъ, будто онъ въ немъ родился. А ростъ

его, его фигура! Положимъ я всегда сердилась за эти бѣлыя рубашки, по меня развѣ кто-нибудь хотѣлъ по-  
нять? Такъ я говорю, только бы у насъ дѣла поправи-  
лись, а то онъ замучается на 25 руб. за границей. И-кто  
это только выдумалъ, что тамъ можно жить на 25 р.?

На минуту наступило молчаніе, измѣнившее на-  
строеніе.

— Если бы они насъ такъ любили, какъ мы ихъ,—  
вырвалось у Сони.—Знаютъ ли они, какъ мы съ тобой  
мучаемся изъ-за нихъ. Когда я была маленькой, въ на-  
шей семьѣ одинъ за другого душу готовъ былъ отдать.  
А теперь совсѣмъ другіе люди: съ нами дѣти—чужіе,  
и между собой они какъ волки живутъ. Напримѣръ,  
Яковъ и Лева. Развѣ такъ братья живутъ? Они вѣдь  
готовы съѣсть другъ друга. Когда я начинаю объ этомъ  
думать, у меня голова кругомъ идетъ. Пока они были  
маленькими, брать былъ братомъ, сынъ сыномъ. Но какъ  
только они выросли—и, я не знаю, какъ это случилось,  
Яковъ сталъ такимъ, Лева—такимъ, будто не я ихъ ро-  
дила, не я имъ всю мою жизнь отдала. Вездѣ ли это  
такъ, или только мы такіе несчастные? Я ничего, ничего  
не понимаю.

Она впадала въ тотъ мрачный тонъ, когда не оста-  
вляла камня на камнѣ даже отъ дѣйствительной радо-  
сти. Розеновъ перебилъ ее.

— Ты смотришь на все мрачно, Соня...—Онъ запнулся,  
чувствуя, что говорить не то, что думаетъ.—Возьми  
Яшу, ну, онъ стоилъ много, очень много. На то я отецъ.  
Но за то, какъ онъ намъ отплатитъ? Вѣдь, когда уже  
отъ насъ и праха не будетъ, о немъ,—если только онъ  
захочетъ,—и о насъ черезъ тысячу лѣтъ вспоминать  
будутъ. Развѣ это шутка—наука? Это какая-нибудь  
биржа, или домъ? Или Лева? Ты многихъ такихъ ви-  
дѣла? Правда, онъ упрямъ, онъ дикій, но что онъ уже  
зпаетъ—вотъ ты что спроси. Нѣтъ, Соня, мы должны,

должны помочь нашимъ дѣтямъ. А то, что теперь немного иначе стало...

Онъ опять подумалъ о Давидѣ и запиулся, чувствуя, что не можетъ, не смѣетъ высказать всего, что тайлось въ его душѣ!

— И это какъ-нибудь устроится,—уклончиво произнесъ онъ.

Розенова поняла, что происходитъ въ его душѣ, и ея сердце болѣзненно сжалось отъ страха, отъ предчувствія чего-то недобраго; по какъ и мужъ, она побоялась, не осмѣлилась своими словами накликать несчастье.

— Мнѣ нужно еще двадцать рублей на послѣднія покупки,—ввернула она,—не забудь мнѣ утромъ ихъ оставить.

Такіе разговоры велись изо дня въ день, всегда, когда они оставались одни. Радость смѣнялась печалью, но интересы оставались тѣ же и даже какъ будто росли въ одномъ направленіи. Особенно помогло этому еще то, что Розенова за эти дни потолкалась среди семей, гдѣ интересы были почти тождественны, хотя и на свой ладъ въ каждой. Одна важная бесѣда произошла у старинной пріятельницы ея, Фани Гольдманъ. Розенова, закончивъ хожденіе по лавкамъ, отправилась къ Фанѣ, держа часть покупокъ при себѣ. Когда она появилась на порогѣ комнаты, Фаня, окинувъ ее быстрымъ взоромъ, подбѣжала съ распростертыми объятіями. Розенова была пріятно поражена и почему-то даже растрогалась. Фаня между тѣмъ заботливо и осторожно освободила руки пріятельницы отъ узловъ, усадила ее за длиннымъ столомъ, на крѣпкомъ дубовомъ стулѣ съ высокою спинкой, а спустя минуту предъ ней очутилось блюдечко съ вареньемъ, стаканъ холодной воды и бисквиты.

— Гдѣ же ваши дѣти?—освѣдомилась Розенова, по-

грузинъ послѣ настоятельныхъ просьбъ ложечку въ варенье.

— Подождите, мы еще успѣемъ поговорить о дѣтяхъ, отъ этого нельзя уйти. Гдѣ о нихъ не говорятъ теперь? У всякаго вѣдь свое горе съ ними.

— Вездѣ есть свое горе, правда ли,—жадно подхватила Соня, насторожившись.— Говорите же, я сижу, какъ на иголкахъ. Вѣдь я,—прибавила она съ намеренной наивностью,— какъ въ лѣсу живу. Я ничего не знаю, ничего не слышу. Когда дѣла идутъ не столько впередъ, сколько назадъ, тогда становишься глухимъ и слѣпымъ.

— Положимъ, дѣла еще не идутъ такъ скверно,—уклончиво отвѣтила Фаня на всякій случай,—п на небѣ есть великій Богъ, который думаетъ о всѣхъ евреяхъ. Наконецъ, деньгами не выльчишь сердца, если оно болитъ. Нужно что-нибудь другое, а не деньги.

— Вы правы,—отвѣтила Розенова,—но если есть деньги, то сердце никогда не болитъ; деньги не допустить, чтобы оно заболѣло. Мертвому—и то нужны деньги. Мертвый нуждается въ богатомъ саванѣ, ему нуженъ дорогой гробъ, ему нужны пѣвчіе, ему нужно, чтобы много людей шло за гробомъ,—иначе его, какъ собаку, похоронятъ, и могильщикъ не положитъ, а вдавить его въ яму; даже тогда, когда земля его закрыла, его не оставляютъ въ покоѣ: могильщикъ крѣпко при топчетъ землю ногами, чтобы это „вѣчное несчастье“ никогда уже не поднялось. И люди кругомъ будутъ радоваться, что земля перестала носить одного нищаго. Лучше не говорите, дорогая, сердце сердцемъ, а въ деньгахъ, увѣряю васъ, все.

Теперь Розенова могла опять попробовать варенья, но на этотъ разъ, чтобы похвалить.

— Хорошее варенье,—выговорила она, рассматривая варенье на свѣтъ;—это свѣжее у васъ или съ прошлаго года?

— Съ прошлаго года; я его на-дняхъ только пе-

реварила. Возьмите еще немножко. Что это у васъ за узлы?

— Какъ, вы не знаете, — удивилась Розенова, — вѣдь это для моего Яшеньки. Развѣ вы не слыхали, что онъ уѣзжаетъ за границу учиться? Вы меня удивляете.

— Ну, Соня, это еще небольшое несчастье; развѣ я должна непремѣнно знать, что и вашъ уѣзжаетъ. Теперь всѣ уѣзжаютъ. Куда вы ни пойдете, вы непремѣнно услышите, что уѣзжаютъ. Это счастье и меня не миновало. Хорошее наступило время, нечего сказать. Помпите ли вы, Соня, чтобы въ наши годы кто-нибудь уѣзжалъ?

— Дорогая, — отвѣтила Розенова, сбросивъ съ себя маску паивности, — я думала, что только я одна сумасшедшая, что я одна не понимаю этого. Расскажите, расскажите все, что вамъ извѣстно, все, что вы знаете.

— Что вамъ рассказать, Соня? Видите, какъ отъ дѣтей нельзя уйти. Вотъ вамъ и ученье, вотъ вамъ и гимназіи. Мы развѣ что-нибудь понимаемъ, мы развѣ знаемъ что-нибудь? Они уже все понимаютъ, на все они годятся. Мы смотримъ въ могилу, мы отжили свое, мы старые, старомодный костюмъ, мы по старой системѣ живемъ, а у нихъ все по новому, у нихъ молодое, свѣжее; но что это за молодое, какое это свѣжее, умереть мнѣ—если понимаю. Что, для чего, зачѣмъ? И вы, дѣвушки, тоже? Дѣвушки, молоденькія, глупенькія, и вы? Вы за границу? Какъ, дѣвушки за границу? Что это за люди, откуда они взялись, спрашиваю я васъ?

Соня не прерывала, боясь измѣнить разговоръ. Фаня ничего уже не замѣчала.

— Заграница выросла, — продолжала она. — Что это за заграница и какое она имѣетъ отношеніе къ молоденькимъ дѣвушкамъ — какое? Но онѣ ужъ это хорошо знаютъ, имъ это давно извѣстно; только мы, старые, ничего не знаемъ, мы въ могилу смотримъ и ничего уже понять не можемъ. Но что будетъ, кто мнѣ ска-

жетъ, что выйдетъ изъ этой заграницы. Обстригутъ себѣ волосы, какъ мальчишки? Но кто имъ мѣшаетъ? Хотите стричь волосы, пусть васъ чортъ унесетъ, стригите ихъ здѣсь. Вы хотите книжекъ? сидите здѣсь и читайте, пока изъ васъ дурь не выйдетъ. Развѣ вы не захотите замужъ? Но ихъ не уговоришь! Вы слышали ихъ разговоры? Вотъ послушайте: „Мы чувствуемъ...—онѣ чувствуютъ—мы не можемъ видѣть, какъ вы живете мелочными интересами—слышите, у насъ мелочные интересы. Онѣ вѣдь весь свѣтъ на своей головѣ носятъ!—Мы хотимъ жить иначе, мы хотимъ людямъ помогать, жить своимъ честнымъ трудомъ“. Что вы на это скажете, вы вѣдь тоже мать? Кто говоритъ, что говоритъ? Пуговицу онѣ пришить не умѣютъ, если нужно, а я должна слушать ихъ глупости. Я понимаю еще мальчиковъ. Какъ никакъ, чему-нибудь они выучатся, перебьются, а потомъ и заживутъ, какъ мы. Жизнь вѣдь великій учитель. Но эти длинноволосыя дуры, съ ними вѣдь уже несчастье. Что онѣ будутъ дѣлать за границей безъ присмотра, безъ матери, когда и здѣсь за ними едва можно углядѣть? Онѣ мнѣ все о курсахъ говорятъ, а я совѣмъ о другомъ думаю. Вы себѣ представляете, что тамъ можетъ произойти? Вѣдь онѣ тамъ одни, и мальчишки подлѣ нихъ. И тѣ, и другіе, какъ только о счастьѣ или свободѣ заговорятъ—сейчасъ же закатываютъ глаза; но какъ только они закатили глаза, тогда вѣдь ужъ все извѣстно и все пропало. Черезъ девять мѣсяцевъ... Мы развѣ не слышали, не видѣли, не знали. Подите же, убѣдите ихъ; и сейчасъ онѣ вамъ отвѣтятъ истерикой, слезами, перестанутъ ѣсть и похудѣютъ такъ, что вы заграницѣ даже обрадуетесь. И знаете, что я вамъ еще скажу,—она заговорила шопотомъ,—вѣдь онѣ и убѣжать могутъ. Онѣ совѣмъ уже не люди и ничего не боятся. Вора, если онъ захочетъ украсть, можно удержатъ. Онъ уже не человѣкъ; и что бы вы ни говорили, онъ все-таки украдетъ. Самое же

худшее то, что онъ не въ одиночку, а шапками, ей-Богу, шапками. Посчитайте, сколько въ городѣ гимназій, въ каждой есть 4—5, которыя собираются за границу, при- считайте къ нимъ еще мальчиковъ, потому что безъ мальчиковъ у нихъ не обходится. А вы мнѣ о день- гахъ говорите. Что вы здѣсь съ деньгами подѣлаете? Плачьте, молитесь имъ, разрывайтесь на куски, и все-таки не поможетъ. Дайте имъ всѣ ваши деньги, и это не поможетъ; онѣ плюютъ на деньги и топчутъ ихъ но- гами. Имъ противны наши деньги; наши деньги не- честныя, и если вы расскажете, сколько слезъ и мукъ и труда было потрачено на то, чтобы нажить эти деньги, онѣ васъ осмѣютъ. Я вамъ говорю, что онѣ уже не люди, не наши, какъ не сынъ матери уже тотъ, кото- раго завтра повѣсятъ. Понимаете, если моя Женя, — а ей вѣдь только 16 лѣтъ, — окончила гимназію, то какъ-то такъ выходитъ, что ей или въ гробъ или за границу.

— Дура, говорю я ей, что тебѣ изъ заграницы, что тебѣ изъ ремесла? развѣ у насъ мало денегъ? Посиди еще годъ, отдохни, поправь свое здоровье, а мы тебѣ пока подыщемъ хорошаго жениха; выйдешь замужъ, будешь счастлива, и мы подлѣ тебя. Но вѣдь она уже не человѣкъ, она уже отравлена своей шапкой и стоитъ предо мною, какъ врагъ. Раньше я кричала, сердилась, но что я могла сдѣлать, что мой мужъ могъ сдѣлать? Начались эти проклятыя истерики, потомъ слезы; въ комнатѣ у нея пахнетъ, какъ въ аптекѣ, отъ всякихъ лѣкарствъ, по цѣлымъ днямъ она не ѣстъ — вѣдь я чуть съ ума не сошла отъ страха. И какъ на зло шапка обо всемъ пронюхала. Какъ только я поссорюсь съ Женей, отъ дѣвочекъ и мальчиковъ отбою нѣтъ. Сижу, жду, ми- нуту отворяется дверь, и показывается голова. „Женя дома, можно видѣть Женю?“ А въ домѣ они ходятъ, какъ преступники, не поднимаютъ глазъ и смотрятъ на меня, какъ на изверга. Какъ же здѣсь деньги помогутъ? Не хотѣла, а согласилась все-таки. И у меня еще слава

Богу, но вы вотъ послушайте, что у другихъ дѣлается, такъ у васъ волосы дыбомъ стануть.

Розенова внимательно слушала, и во время разсказа ей чудилось, какъ что-то новое пробирается въ ея голову, и ей казалось, что она не побойтся въ первую свободную минуту ясно поставить себѣ вопросы, предъ которыми она прежде трепетала. Ей чудилось, и легко ей отъ того становилось, что горе ея не единичное, что точно зараза схватила всѣ семьи, въ своей особенной формѣ у каждой. Пусть Яковъ любить себя, пусть Лева любить товарищей, пусть Женя хочетъ за границу, — каждый оторвался по-своему, каждый по-своему нанести ударъ старой семьѣ, старому очагу.

А Фаня продолжала, придвигувшись еще ближе, съ дрожью въ голосѣ:

— Не думайте, что сердца наши только этимъ болятъ; что душа наша только надъ этимъ надрывается. Нѣтъ, нѣтъ. На насъ идетъ худшій и ужаснѣйшій врагъ. Кто спасетъ насъ отъ него? Есть у насъ великій Богъ, но Онъ молчитъ, Онъ не угрожаетъ, Онъ не караетъ. Его пути мудры, но кто ихъ пойметъ, а человѣческое сердце не думаетъ. Оно страдаетъ, оно сжимается отъ боли, оно ропщетъ... А Онъ, Онъ молчитъ. Кто же спасетъ насъ?

Она опустила глаза, сверкавшіе отъ слезъ, и обѣ женщины — одна тоскующая и не понявшая, другая страдающая и, можетъ быть, прозрѣвшая, — слились въ одномъ чувствѣ.

— Ну, что же — что же? — дрожащимъ шепотомъ произнесла Розенова.

— Если бы вы знали, Соня, — помолчавъ, заговорила Фаня опять, придвигувшись. — У моей невѣстки Розы случилось настоящее несчастье. Это уже не заграница, хотя заграница тоже ведетъ къ тому же. Вы вѣдь знали ея Мишу. Помните этого прекраснаго мальчика. Какія надежды онъ подавалъ! Гимназію онъ окончилъ съ ме-



далью. Предъ нимъ были раскрыты всѣ двери. Родные были безъ ума отъ него, и могли ли они знать, что дѣлалось за ихъ спиною. Берегите вашего Леву, вѣдь они прежде были самыми близкими друзьями. Началось это тоже съ заграницы, ну все, какъ по писанному. Только у Миши не заграницей окончилось. Товарищи его, гимназисты и, конечно, дѣвочки, собирались другъ у друга читать книжки. За книжками дошли и до заграницы. Миша поступилъ въ университетъ и о заграницѣ слышать не хотѣлъ. И такіе есть, которые не хотятъ и слышать о заграницѣ. Всѣ были счастливы рѣшеніемъ Миши. Но слушайте дальше. Не знаю уже какъ, по и онъ какой-то свой кружокъ завелъ и сначала дѣвочекъ, а потомъ и товарищей переманилъ къ себѣ. Среди дѣвочекъ оказалась и русская, которая усердно посѣщала кружокъ. Вы догадываетесь? Нашъ Миша, наша гордость, наша надежда, влюбился въ эту дѣвушку, она, конечно, въ него, и на прошлой недѣлѣ она родила. Можете себѣ представить... Но что дѣлаетъ Миша? Вы думаете—скрылъ, бросилъ, уѣхалъ? Еще бы! Онъ сейчасъ же объявилъ объ этомъ отцу—у нихъ это честностью называется. Видѣли ли вы такую честность, которая можетъ стоить жизни роднымъ?—Отецъ его въ солдаты хотѣлъ сдать, Роза не приходила въ себя и почти все время находилась въ обморокѣ, по Миша не сдавался и стоялъ на своемъ. Упорные они, какъ преступники, безъ жалости, безъ любви. Чего же онъ хотѣлъ? Слушайте: онъ потребовалъ, чтобы его родные приняли ее въ домъ, какъ родную, чтобы его братья и сестры считали ее сестрою, иначе онъ бросаетъ домъ навсегда. Скажите, наконецъ, что же это такое? Гдѣ мы? Въ лѣсу? Люди ли мы, или звѣри, есть у насъ религія, или пѣть ея? Это ученіе, это проклятое ученіе. Подумайте только! Хорошо, Миша сдѣлалъ глупость и сошелся съ русской дѣвушкой. Хорошо. Но довольно же, наконецъ. Согрешилъ ты, чего же еще? Оставь ее,

зачѣмъ тебѣ русская, развѣ она можетъ быть твоей женой, развѣ она можетъ сдѣлаться еврейкой. Не хочешь бросить, сдѣлай такъ, чтобы дома не знали. Но нѣтъ, о, это нѣтъ. У него какая-то своя честность: непременно нужно vykpecтиться, жениться и опозорить семью. Какое Мишѣ до всего дѣло? Онъ честно поступаетъ. Э, подлая эта честность, я вамъ скажу, дорогая,—и самое ужасное, что некому насъ спасти отъ нея... Конечно, отецъ Миши въ концѣ концовъ согласится, — что ему останется дѣлать? Но какой это примѣръ для другихъ, какая это зараза. Вотъ и моя Женья. Развѣ я знаю, что съ ней будетъ за границей. У меня отъ одной мысли голова кругомъ идетъ, но что мнѣ дѣлать? Вѣдь вездѣ у насъ въ семьяхъ несчастье.

Розенова хотя внимательно слушала, но се давно уже что-то подмывало кричать, биться въ судорогахъ, пить, однако, она все удерживалась, употребляя нечеловѣческія усилія. Но когда Фаня окончила, острая боль пробѣжала по всему ея тѣлу, и она воскликнула:

— Несчастье, Фаня, погибель идетъ на насъ. Но это не все еще. Вы не знаете, не все предчувствуете. Смерть, смерть идетъ на насъ. Какъ намъ спастись, кто намъ укажетъ дорогу? Что дѣлать? Убить ихъ, себя убить? Но силъ нѣтъ ни на какое рѣшеніе. Мы будемъ сидѣть сложа руки, и сердце наше разорвется отъ муки, а они будутъ продолжать свое дѣло. Со всѣхъ сторонъ зажжена старая семья. Мы сами подожгли ее, а дѣти заканчиваютъ нашу работу. Вы рассказали о Мишѣ, о Женьѣ, но мой Лева хуже, хуже, въ тысячу разъ хуже ихъ. Мое сердце чувствуетъ несчастье еще болѣе ужасное, но помочь невозможно. Оно будетъ такъ, какъ должно быть. Когда еврей перестаетъ думать о дѣлахъ, о деньгахъ, онъ уже почти потерянъ; когда онъ начинаетъ учиться, онъ уже не еврей, но онъ еще можетъ существовать. Но когда онъ перестаетъ любить своихъ близкихъ и начинаетъ любить всѣхъ людей, онъ тогда

не еврей, онъ и не русскій, онъ хуже мертвеца, ибо мертвецъ не мучается, а его жизнь вѣчная каторга.

Фаня со страхомъ слушала этотъ зловѣщій голосъ.

И долго, долго еще сидѣли обѣ эти женщины безъ словъ.

## VII.

Разговоръ съ Фаней Гольдманъ не прошелъ даромъ для Розеновой. Она, правда, продолжала попрежнему хлопотать, но это было уже не то. Она вдругъ какъ-то устала, и мысль о докторѣ Розеновѣ не приносила ей больше той радости, какъ прежде. Она стала ревнивѣе относиться къ Левѣ и невидимо преслѣдовала его, какъ тѣнь. Она удесятирила свою бдительность, шарила въ его бумагахъ во время его отсутствія и подслушивала ведшіеся у него разговоры. Но чѣмъ менѣе она понимала эти разговоры, тѣмъ ярче обрисовывалась предъ ней какая-то ужасная бѣда, содержаніе которой она не знала, и это безголовое чудовище преслѣдовало ее по почамъ, отнимая у нея послѣдніи покой. Рядомъ же со всѣмъ этимъ выросла и новая пасушная забота. Приходилось теперь думать о Мотѣ, которому шелъ уже 13-й годъ, приходилось думать о томъ, что съ нимъ дѣлать, куда и какъ его опредѣлить. Вопросъ былъ серьезный. Старикъ Розеновъ ни о чемъ слушать не хотѣлъ и настаивалъ на дальнѣйшемъ образованіи, а между тѣмъ по новому, недавно вышедшему закону дѣтей евреевъ принимали въ гимназіяхъ въ очень ограниченномъ количествѣ. Розенова же была рѣшительно противъ всякаго образованія.

Но и при этой новой, выросшей заботѣ не забывались и старія, не забывалась рана, нанесенная Давидомъ, не забывался отъѣздъ, который съ каждымъ разомъ казался все тяжелѣе для кармана, не забывались все ухудшавшіеся дѣла Исаака. Какъ-то изъ всѣхъ преж-

нихъ мечтаній вдругъ образовалось пустое мѣсто, которое быстро заполнялось забытыми на мигъ тревогами и печалами.

Розеповы переживали самое тяжелое время, какое часто выпадаетъ на долю всякой семьи. Пока заполнялась одна дыра, образовывалась новая, и хотя уже не предвидѣлось, чѣмъ можно будетъ вторую закрыть, а вдали уже выросла третья. Такъ оно и было теперь съ вопросомъ о Мотѣ. Мальчикъ блестяще окончилъ училище и сидѣлъ дома, точно бѣльмо на глазу. Одинъ его видъ вызывалъ заботы. Мальчикъ всегда проводилъ время за книжкой, и это раздражало мать. Но чѣмъ больше она думала, тѣмъ яснѣе ей становилось, что лучше коммерческой карьеры выдумать нельзя. Не довольно ли она намучилась со старшими, не довольно ли съ нею Левы?

Настроение Сони отзывалось на мужѣ самымъ тягостнымъ образомъ. Старикъ послѣ цѣлаго дня труда не находилъ покоя и дома.

При дѣтяхъ Розепова не осмѣливалась заговаривать, такъ что все разыгрывалось почью въ спальнѣ, когда они лежали отдыхать. Исаакъ обыкновенно начиналъ объ инженерахъ, о банкѣ, о постройкахъ, но Соня перебивала его и давала тонъ бесѣдамъ. Ее тревожило одно—дѣти, о дѣтяхъ она и говорила.

— Если дѣти хорошія, — тогда все хорошо, — шептала она старику. — Что мы съ тобой? Что стоятъ наши дѣла, если дѣти не хороши? Работай для могилы, для куска земли работай. Хорошія дѣти похожи на проценты. Если кто-нибудь отдастъ займы деньги, то онъ богатъ не своими деньгами, а процентами. Деньги можно проѣсть, а процентовъ никогда съѣсть нельзя. Съѣлъ ты за одинъ мѣсяцъ проценты, а на слѣдующій у тебя есть повне, съѣлъ ты за другой, а уже растеть на третій. Растеть это, Исаакъ, лучше травы растеть, а капиталъ только столбъ недвижимый. Такъ и мы съ тобой.

Что мы такое? Мы капиталъ, мы столбъ, и мы не растемъ. А дѣти наши—проценты. Когда ты безъ силъ останешься, дѣти тебя кормить должны, а если всѣ наши дѣти будутъ такія, какъ Яковъ, или Давидъ, или Лева, тогда мы съ тобой пропали. И они тоже пропали.

— Ты всегда любишь ножъ въ ранѣ повернуть. Если любишь дѣтей, то нужно и объ ихъ счастьи подумать. Пусть намъ тяжело, очень тяжело, но нужно потерпѣть. Вѣдь они тоже подрастутъ, а когда подрастутъ, то жизнь лучше поймутъ. Нужно ихъ тоже понимать, ты развѣ никогда не была молодой, Соня?

— Э! ты уже говоришь, какъ и они, Исаакъ, есть о чемъ толковать съ тобой. Ты такъ старъ и все еще не хочешь образумиться? Развѣ недостаточно костей у тебя болятъ изъ-за нихъ? До ихъ сѣдыхъ волосъ ждешь? Но пока, пока что они дѣлаютъ? Развѣ ты знаешь, что теперь вездѣ творится, что у тебя въ домѣ творится? Пойди къ людямъ и послушай. Одинъ на французской дѣвушкѣ жепится, дѣвочки уѣзжаютъ за границу учиться, никто о домѣ своемъ не думаетъ, собираются шайками, какія-то книжки читаютъ. Хорошо ли это, надожно кожу съ себя сдирать для нихъ? Послушай бы хоть разъ, что въ твоемъ домѣ дѣлается, когда Лева съ своими товарищами собирается? Ты бы не былъ такъ спокоенъ.

— Что же они дѣлаютъ?—встревожился старикъ.— Боже мой, хоть бы одну спокойную минуту имѣть!

— Что они дѣлаютъ? Вотъ пойми ихъ. Отискался этотъ Михайловъ на несчастье. Студенты еще намъ нужны. Я не говорю, что намъ не нужны студенты; я всегда говорю: ницѣ себѣ такого товарища, который былъ бы всегда выше тебя, тогда и ты захочешь стать выше,—но не Михайлова, не Михайлова. Изъ него такой же толкъ выйдетъ, какъ изъ меня. Я еще ни разу не слышала, чтобы онъ заговорилъ объ университетѣ, о профессорахъ. А нашъ Лева? А Левинъ? а Ваи?

Развѣ они люди? Когда-то я была душой и думала, что Лева—человѣкъ и что Левинъ и Вагнеръ—люди; теперь только я вижу, какъ я ошибалась. Съ тѣхъ поръ, какъ они перешли въ VIII классъ, я ихъ совсѣмъ не узнаю. Прежде Лева учился и учился для гимназіи. Теперь они или разговариваютъ, или читаютъ, и разговоры ихъ похожи на чтеніе, а чтеніе на разговоры, но и то и другое совсѣмъ какъ-то не по-человѣчески. Когда-то, когда они разговаривали, я, положимъ, не понимала, но я хотъ понимала, что не понимаю, а теперь? У нихъ такіе разговоры, что я сама себѣ душой кажусь... Иногда я слышу такія вещи, что лучше бы я и не родилась.

— Ну, говори, говори, что тамъ у нихъ,—перебилъ ее мужъ,—съ тобой до утра не вылѣзешь.

— И хотъ до вечера. Онъ думаетъ, что это шутка. Ты развѣ знаешь, съ кѣмъ ты дѣло имѣешь?—огрызнулась Соня.

— Ахъ, оставь, пожалуйста, я прошу тебя. Скажи, наконецъ, что тамъ у нихъ?

— Я ужъ и не знаю, что сказать, ты всѣ мои мысли переменялъ. Развѣ возможно все удержать въ головѣ. Когда я посмотрю на Мотю, то у меня голова кругомъ идетъ. Тоже несчастный растеть. Способности у него такія, что онъ Леву перещеголяетъ, а въ гимназію его не принимаютъ. Тебѣ вѣдь только гимназіи нужны. Будто съ его головой не лучше быть въ конторѣ.

— Не говори мнѣ о конторѣ,—съ горячностью отвѣтилъ Розеновъ,—я тебѣ тысячу разъ говорилъ, что не хочу ни о чемъ слышать. Мои дѣти должны учиться. Я мѣшки пойду поспѣть, а ихъ пошлю учиться. Много ты понимаешь, что значить ученье.

— Ты не понимаешь,—горько усмѣхнулась Соня,—я уже вижу, что значить ученье. Вотъ тебѣ Яковъ ученый, вотъ тебѣ Миша ученый, вотъ тебѣ Лева ученый. Ты не видалъ такого счастья? Положимъ, Яковъ, но

посмотри-ка на Леву. Что намъ изъ его головы, изъ его учености, когда онъ для насъ, что пустой орѣхъ. Красивое яблоко, а червякъ внутри. Какую цѣнность имѣеть человѣкъ, когда у него цѣлыхъ полгода въ головѣ разговоры о Палестинѣ? Развѣ этому его учили въ гимназіи: нужно ли переселиться евреямъ въ Палестину, или не нужно. Теперь онъ говоритъ еще худшее, но какъ тебѣ правятся даже такіе разговоры. Это мальчикъ, 18-лѣтній мальчикъ, долженъ думать о такихъ вещахъ! И Левинъ, и Вайнеръ, и еще нѣсколько другихъ, тоже вѣдь объ этомъ думали. Люди еще копейки въ своей жизни не заработали, а говорятъ о Палестинѣ. Говорите лучше объ учителяхъ, о медали, говорите о томъ, какъ родителямъ помочь, старайтесь не спдѣть у нихъ на шеѣ, мало ли у васъ есть о чемъ думать? Но гдѣ же! насъ Богъ не благословилъ такими. Ты мнѣ говоришь объ ученыхъ. Мѣднаго гроша я тебѣ не дамъ за нихъ. Они бездушные, и намъ такихъ не нужно. Намъ рабочіе въ семьѣ нужны, помощники намъ нужны,—развѣ легко теперь жить,—по не эти ученые. А ты еще и изъ Моти хочешь сдѣлать ученаго! Я говорю тебѣ, нужно Мотю въ контору отдать.

— Опять въ контору,—разсердился Розеновъ,—но я вѣдь уже сказалъ, что онъ будетъ учиться. Не нужно мнѣ конторщиковъ. Съ Давидомъ я тебя послушалъ—хорошій вышелъ толкъ? Ты совсѣмъ забываешь, гдѣ ты живешь. Этимъ тебѣ нельзя торговать, тамъ—не сиди, здѣсь не живи. А для ученаго все открыто. Живи здѣсь, живи тамъ—все равно. Водкой торговать онъ не будетъ, въ деревнѣ онъ не станетъ скупать землю, въ городѣ ему не нужно будетъ торговлей заниматься, и онъ свободенъ, какъ птица. Ничего ученый не боится, а между тѣмъ ему почетъ вездѣ. Онъ хорошо зарабатываетъ, и людямъ отъ него хорошо. А ты мнѣ говоришь: конторщикъ. Вотъ, положимъ, Мотя уже конторщикъ, онъ устроился. Что же онъ имѣеть? Сто рублей,

ну, 150 рублей и стои. До смерти стои. А кто и что его знает? Такой же мученикъ, какъ и мы. Вдругъ евреевъ начинаютъ высылать, и онъ пропалъ. Но что онъ темный—объ этомъ ты и не подумашь? Что онъ никому въ своей жизни не поможетъ такъ же, какъ я? Что никто ему никогда спасибо не скажетъ? Но возьми же нашего Яшеньку или Левочку черезъ 5—6 лѣтъ! Развѣ они не могутъ стать знаменитыми? Но почему? Потому, что они имѣютъ ходъ, потому что имъ всѣ дороги открыты. Развѣ мы съ тобой знаемъ, до чего они могутъ дойти? А изъ конторы куда бы они пошли?—опять въ контору, и никуда дальше.

— Ну, хорошо, хорошо, я прощаю Палестину. Но скажи мнѣ, пожалуйста, что означаютъ его разговоры съ Михайловымъ о мужикѣ и о рабочемъ? Это ученые разговоры? Для чего ему мужикъ нуженъ, для чего ему рабочий нуженъ? Это еврейское дѣло? Развѣ мужикъ его братъ или родственникъ? Или рабочий его братъ? Рабочий—это рабочий, мужикъ—это мужикъ, а онъ долженъ знать, что онъ Лева. Развѣ они компанія для него? Этому его учили въ гимназiи? Цѣлый день я только слышу: мужикъ и мужикъ, и опять рабочий. Михайловъ можетъ объ этомъ говорить; онъ самъ сынъ рабочаго или мужика,—я развѣ знаю—но нашему, нашему-то какое дѣло? Если бы ты слышала, какія они слова говорятъ. У рабочаго отнимаютъ, ахъ, рабочий, ахъ, бѣдненькій; мужикъ голодаетъ, ахъ, мужикъ, ахъ, несчастный. О чемъ у нихъ заботы? Будто насъ совсѣмъ нѣтъ на свѣтѣ, будто этотъ рабочий ихъ отецъ, будто онъ ихъ вскормилъ, вспоилъ. Не знаютъ они, что онъ пьяница и только думаетъ о томъ, какъ бы побольше водки выпить. И это я должна выслушать. Мой Лева долженъ изъ-за пьянаго мужика себѣ голову ломать. О пьяницахъ душой болѣть, о тѣхъ, кто завтра съ шайкой придетъ разорить тебя, убить тебя, о тѣхъ, которые дѣлаютъ погромы. Помнишь, что они съ нами



сдѣлани въ 1890 году? Помнишь ты, какъ мы прятались на чердакъ, а они наше добро уничтожали. А Лева о нихъ болѣетъ. И ты еще хочешь Мотю учить. Но вѣдь если Лева выйдетъ такимъ, то Мотя еще хуже будетъ. Ты слыхалъ, что говорили про него учителя? И кромѣ всего, сколько мы намучимся, пока его примутъ въ гимназію. Не у него же одного хорошая голова, и другія еврейскія дѣти хотятъ, чтобы ихъ приняли. Потомъ они богаче насъ, у нихъ и знакомства есть, а по знакомству всякаго скорѣе примутъ, чѣмъ твоего Мотю, хотя бы у него десять головъ было. Потому я и говорю, не затѣвай длинной исторіи и отдай мальчика въ контору. Не принимаютъ всѣхъ евреевъ въ гимназіи—хорошо, я буду умнымъ человѣкомъ и не поѣду туда, куда меня не пускаютъ. Я скажу себѣ такъ: Богъ съ вами, съ вашимъ ученьемъ, а я не охотникъ, довольно уже съ меня старшихъ ученыхъ. Мотя же вездѣ будетъ человѣкомъ.

Розепова замолчала. Старикъ не отвѣчалъ и уже лежалъ къ ней спиной; оба они громко вздыхали. Воздухъ въ комнатѣ былъ спертый, душный и отдавалъ давно немытымъ бѣльемъ. Соня распустила быстрымъ, привычнымъ жестомъ свои жидкіе волосы, чтобы собрать ихъ на почъ, и отъ этого движенія въ комнатѣ на нѣсколько минутъ запахло деревяннымъ масломъ, а руки ея сдѣлались жирными и скользкими. Изъ соседней комнаты, гдѣ спали дѣти, доносилось глухое хрипѣніе, точно кто-то прополаскивалъ водой горло. Стало какъ-то жутко и будто еще темнѣй. Соня прислушалась къ звукамъ и разсердилась.

— Опять Павка задыхается,—придется ему таки сдѣлать операцію,—со страхомъ пронесла она, и потянулась, намѣреваясь сойти съ кровати. Но старикъ угадать ея движеніе и пожалѣлъ.

— Лежи себѣ,—выговорить онъ,—я самъ пойду къ нему.

Онъ спустилъ съ кровати ноги и когда сталъ выпрямляться, то застоналъ отъ боли въ поясницѣ. Потомъ потеръ колѣни, чтобы унять въ нихъ боль, и, нащупывая дорогу всѣмъ тѣломъ, поплелся, ступая босыми ногами по полу. Соня слышала, какъ онъ дышалъ и шарилъ, но продолжала думать о Левѣ и Мотѣ и такъ унеслась мыслями, что не почувствовала, какъ старикъ, вернувшись, легъ подлѣ нея.

— Все-таки я Мотю отдамъ въ гимназію, — донеслось до ея ушей. Но она была слишкомъ утомлена, чтобы возражать. Она еще могла только поддернуть плечами въ отвѣтъ и повернулась на другой бокъ. Старикъ, конечно, понялъ ея жестъ, но не успѣлъ разсердиться, такъ какъ сонный туманъ потянулся и у него въ головѣ. А чрезъ минуту они оба спали, по привычкѣ прижавшись другъ къ другу, точно у нихъ не было ни горя, ни ссоръ, ни заботъ, ни вражды.

### VIII.

Отъѣздъ Якова за границу назначенъ былъ чрезъ недѣлю, и на время о Мотѣ совершенно забыли. Между тѣмъ августъ стоялъ уже въ исходѣ, и Розеновы волеи-неволеи должны были начать готовиться къ зимѣ. Приходилось и Исааку отрываться отъ дѣлъ, чтобы то самому, то съ Соней ѣздить къ поставщикамъ угля, дровъ и другихъ хозяйственныхъ предметовъ.

Рана о Давидѣ не закрывалась, но среди ежедневной сутолоки, среди будничныхъ хлопотъ и заботъ и не такое горе могло затеряться. А тутъ еще надвинулось то, что слухи о проведеніи конно-желѣзной дороги оказались неосновательными. Самъ годъ выдался неважный, неурожайный, и въ дѣлахъ былъ полный застой. Каждый день открывался въ городѣ новымъ крахомъ, а въ коммерческомъ мірѣ пока еще шопотомъ зывались имена стоящихъ на очереди банкротовъ.

Невесело было на душѣ у Розенова. Онъ чутко прислушивался ко всякому слуху, но упорно, на зло дѣйствительности продолжалъ мечтать о томъ, что перезаложить свой домъ и, каковъ бы ни былъ размѣръ новой ссуды, возвестить на полученные деньги одинъ флигель, который потомъ сейчасъ же перезаложить въ банкъ и на вновь полученные деньги выстроить другой и т. д. до тѣхъ поръ, пока все свободное мѣсто въ его домѣ не будетъ застроено. Тогда, конечно, онъ легко и выгодно продастъ домъ, что уже окончательно и навѣки поставитъ его на ноги. Это и былъ его самый лучший планъ. И такъ какъ приближалось время выдачи изъ банка ссуды, то, подавъ заявленіе о желаніи перезаложить домъ, онъ совершенно и безъ оглядки погрузился по горло въ хлопоты. Про запасъ—могло случиться, что банкъ просимыхъ денегъ не выдастъ бы—у него имѣлось еще два плана, которые онъ прежде считалъ превосходными, но въ которыхъ Сонѣ отчасти удалось разочаровать его. Во всякомъ случаѣ онъ отъ нихъ еще не отказался и рассчитывалъ на свою звѣзду. Первый заключался въ соглашеніи съ спасителемъ подрядчикомъ. Подрядчикъ брался выстроить домъ на свой счетъ, но съ тѣмъ, чтобы новая постройка была заложена въ банкъ; полученные деньги должны были быть назначены для расплаты съ подрядчикомъ; до этого пункта все было великолѣпно, но послѣдній, слѣдующій затѣмъ пунктъ почти подъ корень подрывалъ весь планъ—при малѣйшей ошибкѣ грозилъ поглотить послѣднія деньги Розенова и все его добро. Пунктъ заключался въ слѣдующемъ: „если бы новая заложённая постройка не принесла всѣхъ денегъ, нужныхъ для расплаты, то подрядчикъ получалъ актъ на третью закладную на сумму недоплаченныхъ денегъ“. На общепринятомъ языкѣ это значило: повѣсить себѣ камень на шею и броситься въ воду.

Второй планъ былъ химерическій; заключался онъ

въ возможности вдругъ по какой-нибудь причинѣ, какъ благопріятный слухъ, оживленіе дѣлъ, успѣть выгодно продать домъ такимъ, какимъ онъ былъ.

Соня, конечно, ни съ однимъ не соглашалась, и споры о продажѣ, постройкѣ, перезалогѣ, подрядчикахъ, гостиницахъ, баняхъ велись между ними, гдѣ только было возможно. Спорили они и говорили на рынкахъ, спорили, сидя на дрожжахъ, когда ѣздили къ поставщикамъ, спорили за обѣдомъ, за ужиномъ, ночью, на разсвѣтѣ, всегда. Соня же ожидала чуда. По ея мнѣнію, или домъ долженъ былъ сгорѣть, или долженъ былъ явиться какой-нибудь сумасшедшій покупатель, который далъ бы бѣшеную цѣну.

Когда ей наконецъ удалось уговорить Исаака предложить маклерамъ продать ихъ домъ, или по крайней мѣрѣ отыскать этого сумасшедшаго покупателя, котораго Богъ долженъ былъ послать, то съ этой минуты въ домѣ Розеновыхъ все пошло вверхъ дномъ. Мирное жилище обратилось въ особый родъ конторы, въ которой съ утра до вечера шныряла масса народу. Отъ предложеній не было отбою. Цѣлый день маклера осаждали квартиру Розеновыхъ, безцеремонно снуя, какъ зайцы, взадъ и впередъ, не принимая въ соображеніе ни времени, ни часа. Каждый приносилъ свою вѣсть о какомъ-то глупомъ купцѣ, о какомъ-то пріѣзжемъ майорѣ въ отставкѣ, о какомъ-то богатомъ мужикѣ, и всякій рассказывалъ свою небылицу съ такой душевной искренностью, съ такимъ жаромъ, и такъ наивно заглядывалъ Розеновой въ глаза, что та въ первые дни, пока не научилась разбираться, не чувствовала подъ собою земли отъ радости, не спала отъ волненія и думъ по почамъ, а когда заговаривала съ мужемъ, то побѣдоносно начинала:

— Видишь, видишь, Исаакъ, вотъ что значить жену послушать; если бы ты раньше объ этомъ догадался, мы давно были бы счастливы.

Однако, не одиѣ только надежды подняли настроеніе у Розеновой. Съ водвореніемъ маклерскаго элемента въ домъ она расцвѣла, ожила. Общеніе съ людьми, которые были готовы говорить о чемъ угодно и рассказывать обо всемъ въ мірѣ, раскрыло предъ пей новыя, пелз вѣстные горизонты, новыя перспективы, о которыхъ она, запертая всю жпзнь свою за десятью замками въ семьѣ, и не подозрѣвала. Маклера были люди болтливые и откровенные, преданные дѣламъ до горячки и способные выдумать дѣло, если его въ дѣйствительности не было. Вскорѣ они, будто изъ жалости къ Розеновой — она такъ горячо просила: „мать семейства, у нея много дѣтей; одинъ сынъ ѣдетъ за границу учиться — сколько маленькія еще соковъ высосутъ“, — стали предлагать ей и другія превосходныя дѣла, до которыхъ у нихъ охотниковъ не было. Она бойко отбивалась отъ нападений, не вызывая неудовольствія въ этихъ мелкихъ разбойникахъ, которые могли ей серьезно помочь. Но за то она съ упоеніемъ отдалась страсти выслушивать рассказы о чужихъ дѣлахъ, о чужихъ семьяхъ, о какой-нибудь ловкой аферѣ, успѣху которой она тайнѣ завидовала; нужда, жажда обезпеченія дѣлали ее жадной, плаксивой, скверно откровенной. Она инстинктивно угадывала, что они — сила, что они, хотя и обманщики, могутъ вдругъ спасти ее, если хоть одинъ изъ нихъ искренно и серьезно пожалѣетъ ее, бѣдную, несчастную. Въ присутствіи мужа она еще сдерживалась, стыдилась. Розеновъ питалъ отвращеніе къ пересудамъ и толкамъ и старательно избѣгалъ лишннихъ разговоровъ; но избавиться отъ нихъ окончательно не могъ, такъ какъ жена ему покоя не давала всяческими рассказами, когда онъ приходилъ домой. Однако, выдавались минуты, когда Розенова приходила въ себя, и тогда она опять становилась матерью. Въ такіе періоды она раза два тайно отъ старика послала Давиду по 25 рублей, взявъ ихъ подъ вскесь на свое имя. Правда, Давидъ денегъ не

принялъ ни въ первый, ни во второй разъ, но мать не унималась.

— Отъ своего куска оторву, — думала она, — а ему помогу; родители не дѣти: эти не пожалѣютъ, а родители душу заложать, чтобы помочь.

И она мучилась и проклинала Давида, оплакивала его судьбу, но, плача и проклиная, все-таки не желала съ нимъ видѣться. И не потому, что была тверда, какъ отецъ—она Давиду давно простила—а потому, что, согласившись на свиданіе, она неизбежно увидѣла бы воочию и его горе—а у ней довольно было и своего. Не могла она видѣть его страданій и не помочь ему всѣми силами—а помочь нечѣмъ было; а такъ все же было легче. Яковъ доставлялъ ей подробныя извѣстія о немъ, и часть ихъ она передавала старику, хотя тотъ дѣлалъ видъ, что это ему не нравится, кричалъ, что ничего о немъ знать не хочетъ, и закрывалъ руками уши, когда она рассказывала. Но Розенова все-таки не унималась, зная, что уши не плотно закрыты. Однако, передавала съ расчетомъ, опасаясь добродушія мужа, такъ какъ, смягчившись, старикъ могъ простить сына, и тогда всему пастушилъ бы конецъ: и Давидъ, и жена его, и его ребенокъ неминуемо насѣли бы на плечи Розенова, который покорно потащилъ бы и новую обузу.

Розеновой нужно было имѣть много мужества и силы играть въ семьѣ комедію: рѣзать пополамъ любовь къ Давиду изъ страха предъ окончательнымъ обѣднѣніемъ, если бы отецъ простилъ; но не хотѣлось ей и того, чтобы у отца сердце очерствѣло къ Давиду, чтобы отецъ приносилъ жертвы для всѣхъ дѣтей и не думалъ объ одномъ, который, быть можетъ, голодаетъ и не спитъ отъ заботъ.

И съ той, и съ другой стороны ей было страшно тяжело, и не предвидѣлось, когда, наконецъ, полегчаетъ. А тутъ надвигался отъѣздъ Якова, тутъ навязывались мысли о Мотѣ, а тутъ поведеніе Левы становилось все

подозрительнѣе, и наконецъ къ довершенію всего Яковъ ей приписъ извѣстіе, что Давидъ потерялъ свою службу въ книжномъ магазинѣ. Розеновой было отъ чего сойти съ ума. Она забилась и засуетилась; на время забывъ обо всемъ, что дѣлалось вокругъ нея. И дѣтей забыла, и Мотю, и Леву. Мужу, боясь смягчить его, она ничего не сказала, по заперлась съ Яковымъ и долго безъ словъ ходила по комнатѣ, ломая руки отъ отчаянія.

— Ну, этимъ вы не поможете, мама,—вырвалось у Якова,—хоть всѣ пальцы переломайте, не поможете.

У нея съ ненавистью загорѣлись глаза: „звѣрь, а не братъ“, подумала она и громко вскричала:

— Но кто же поможетъ, кто, кто, говори, развѣ я могу помочь? Надо ли было ему жепиться? Вотъ тебѣ примѣръ, вотъ. Выродокъ проклятый, лучше бы я звѣря родила, чѣмъ... Постои, постои, куда ты бѣжишь?

Она побѣжала за Яковымъ, страшно задыхаясь, почти теряя отъ горя рассудокъ.

— Да не рвите меня,—грозымъ шопотомъ выговорилъ Яковъ,—слышите, не рвите, сейчасъ же отпустите рукавъ; не хочу я васъ слушать; вѣдь вы бѣшеная теперь, прямо бѣшеная; на лицо свое посмотрите.

— Бѣшеная,—тѣмъ же шопотомъ отвѣтила она,—да, бѣшеная. А, ты это матери, матери! Проклятая я, проклятая, что васъ родила.

Яковъ опять рванулъ, и у нея заболѣли кончики пальцевъ отъ усилія удержать его.

— Не рвись, не уходи,—попросила она жалобно такимъ же шопотомъ,—я помѣшанная, я боюсь остаться одна. Я вѣдь не могу отцу сказать,—не могу. Съ кѣмъ же мнѣ душу отвести. Раньше я съ Давидомъ могла поговорить, а теперь не съ кѣмъ. Я умру, у меня сердце разорвется. Я не могу отцу рассказать. Онъ вѣдь его сейчасъ же домой возьметъ. Кто тогда тебѣ деньги дастъ на поѣздку? А ты вѣдь вся надежда.

— Э,— вдругъ смягчившись, произпесъ Яковъ,—  
проклятый нашъ домъ!

— Ты говоришь. Но какъ мнѣ, мнѣ въ этомъ про-  
клятомъ домѣ жить. Вѣдь тебѣ ничего. Ты минуты не  
можешь вытерпѣть, а я всю жизнь только и терплю, и  
все на своей большой головѣ пошу. Вотъ ты уѣдешь, а  
заботы все тѣ же останутся. Лева на моей шеѣ останет-  
ся, Мотя останется. Но почему все на мнѣ, все на моей  
головѣ? Вы вѣдь уже взрослые...

— Опять то же,—о, какъ это уже надоѣло.

— Опять. Но развѣ есть что-нибудь новое? Горе есть  
новое, если хочешь, но веселаго ничего. Вотъ помоги  
брату, покажи, какъ ты его любишь. Развѣ у васъ не  
одна кровь?

— Я себѣ помочь не могу. Вы смѣетесь надо мной...

— А я могу? Вѣдь онъ теперь мою кровь пьетъ. За-  
чѣмъ онъ женился?

— Старая исторія, надоѣло.

Соня бросила на него свой взглядъ и опять стала  
ходить по комнатѣ.

— Ну, мама, я пойду; меня ждутъ.

— Подожди,— произнесла Соня, остановившись.—  
Возьми мои серьги,—заложил или продай ихъ, а что да-  
дутъ, отнеси Давиду. Но пусть отецъ не знаетъ объ  
этомъ, а то онъ его сейчасъ домой можетъ взять. Подъ  
вѣксель мнѣ уже не довѣряютъ.

— Но онъ не возьметъ. Я ему два раза предлагать  
и онъ отказывался.

— Возьметъ, возьметъ, ступай скорѣе, а не то онъ  
отъ горя повѣсится можетъ.

Яковъ взялъ серьги и вышелъ. А Соня заперлась и  
долго рыдала.

## IX.

Ни Яковъ, посѣщавшій Давида, ни Лева, самый бли-  
зкъ ему человѣкъ, не знали ничего о его закулис-



ной жизни. Послѣ женитьбы отецъ Лизы, почувствовавъ, что спасся отъ скандала, который угрожалъ ему, если бы Давидъ отказался отъ Лизы, вскорѣ круто измѣнилъ свое отношеніе и показался такимъ, какимъ онъ былъ на самомъ дѣлѣ. Лиза мучилась безпрестанно, то успокаивая отца, то успокаивая Давида, и самое тяжелое время въ ея жизни выпало на первый медовый мѣсяць. Изъ 25 рублей жалованья Давидъ половину тратилъ на свои нужды, а остальная половина шла на лѣченіе Лизы, на докторовъ, на особый режимъ. Но отцу Лизы этого было недостаточно, и чѣмъ больше онъ свыкался съ Давидомъ, тѣмъ онъ становился грубѣе и безцеремоннѣе. Давидъ и ради Лизы, и потому, что ему некуда было двинуться, терпѣлъ пока хватало силъ. Но когда онъ потерялъ службу—это случилось вскорѣ послѣ женитьбы—старикъ Гедали окончательно задурилъ. Давиду теперь волей-неволей приходилось просить у него, и хотя тотъ давалъ, по, проѣживая чрезъ руки грошъ, бѣсновался и кричалъ, что не для того выдалъ свою дочь замужъ, чтобы держать на своихъ плечахъ дармоѣда и лѣнтяя. Давидъ въ первый же день лихорадочно бросился искать работы, но такъ какъ онъ былъ знакомъ только съ книжнымъ дѣломъ — будучи холостымъ, онъ мечталъ обзавестись книжнымъ магазиномъ,—то работы не нашель: не оказалось свободныхъ мѣстъ. Тогда въ отчаяніи онъ сталъ повсюду, гдѣ было возможно, предлагать свои услуги, чтобы обезпечить себѣ хоть какой-нибудь заработокъ.

Лиза все это время пролежала больной отъ тревоги и огорченія. Наконецъ работа нашлась, мизерная, тяжелая, но все-таки работа. Въ одной конторѣ ему предложили переписку съ платой по 8 копеекъ за листъ. Давидъ съ радостью принялъ предложеніе.

Старикъ же, почувствовавъ, что Давидъ теперь окончательно въ его рукахъ, совершенно озвѣрѣлъ. Въ концѣ первой недѣли онъ наконецъ не вытерпѣлъ и пря-

мо приступилъ; произошло это въ тотъ самый день, когда Соця узнала отъ Якова, что Давидъ остался безъ службы.

— Ну что, Давидъ, ты уже нашелъ работу?—вкрадчиво и мягко обратился къ нему Гедали.

Давидъ хорошо зналъ этотъ вкрадчивый тонъ.

— Пока еще ничего нѣтъ, но мнѣ обѣщали работу.

— Кто тебѣ обѣщаль,—перебилъ Гедали,—ты уже, какъ моя жена, становишься; она во все вѣритъ, что бы ей ни сказали. Только въ деньги она не вѣритъ, святая душа.—Ну, посмотри-ка, дорогая моя,—окликнуть онъ ее,—какъ хорошо жить безъ денегъ. Ты вѣдь говоришь, что деньги пустяки.

— Я говорю, что деньги пустяки,—стараясь не выказать страха, подтвердила жена,—но это нужно иначе понимать. Счастье не въ деньгахъ, и Богъ ему поможетъ.

— Что я говорилъ тебѣ,—съ торжествомъ произнесъ Гедали,—видишь, какъ она во все вѣритъ; я свою болычку хорошо знаю. Деньги, деньги,—закричалъ онъ вдругъ,—ты знаешь, что значать деньги? На что человекъ нуженъ безъ денегъ? Вотъ она лежитъ, твоя жена, Давидъ, подыми-ка ее безъ денегъ? Но если бы ты былъ умнѣе, ты бы развѣ женился? Ее долженъ былъ соблазнить какой-нибудь богачъ,—вотъ это было бы дѣло. И мнѣ было бы хорошо. А съ тобой что? Ты вѣдь, какъ червь, меня съѣдаешь, ты вѣдь, какъ чесотка, подъ кожу мою забрался.

Онъ становился сердитѣе, и голосъ его сдѣлался визгливымъ, какъ у женщины.

— Кому ты разсказываешь, что тебѣ обѣщали работу. Какую работу, на что ты способенъ? Книжки по вечерамъ читать—не работа! По часамъ съ своими братьями разговаривать—тоже не работа! Не обманывай меня. Но если ты не хочешь работать—такъ къ чорту; къ стѣнѣ своему ступай. Ты думаешь, вѣроятно, что я долго

тебя держать буду. Ошибаешься, мой дорогой, ты къ отцу своему пойдешь. Дармоѣды нужны ему, а не намъ. У него съѣдай тѣло, онъ привыкъ уже къ этому.

— Гedaли, Гedaли,—умоляла жена,—тамъ Лиза лежитъ, пожалѣй ее.

— Нездорова!—завопилъ онъ:—легко быть больной на денежки отца. Вонъ отсюда!—бѣшено крикнулъ онъ на жену, которая моментально отскочила отъ него.— Легко ей. Не можетъ быть здоровой—къ чорту, къ чорту, къ его отцу ступай, у него довольно тысячъ сохранилось.

Давидъ задыхался отъ злости и чувствовалъ себя готовымъ на преступленіе.

— Гадина,—вырвалось у него,—мерзкая гадина, и поднявъ руку, онъ почти безъ сознанія сдѣлалъ къ нему шагъ.

— Что, что?—заоралъ онъ.—Роза, Роза, бѣги за городовымъ, скорѣе бѣги за городовымъ, онъ меня убить хочетъ.

Онъ побѣждалъ въ уголь, угрожая кулаками.

— А,—хрипло кричалъ онъ,—ты слпой хочешь взять, я тебя усмирю. Ты идешь за городовымъ, Роза, или нѣтъ? Ахъ, ты бездѣльникъ.

Давидъ съ ужасомъ убѣжалъ въ сосѣднюю комнату, гдѣ лежала Лиза, и заперъ за собой дверь. Старикъ, чувствуя свою силу, пошелъ за нимъ крича:

— Раньше ты сидѣлъ на шеѣ у своего отца; тебѣ легко было 20 лѣтъ жить безъ заботъ, а потомъ, когда ты увидѣлъ, что долго не выдержишься, ты мою дуру соблазнилъ—а она такая же безчестная, какъ и ты—чтобы меня сосать. Проклятый дармоѣдъ.

Онъ сталъ бить кулаками въ дверь, совершенно озвѣрѣвъ. Въ отвѣтъ раздался вопль Лизы:

— Уйдемъ, сейчасъ уйдемъ отсюда, ради Бога уйдемъ; онъ убьетъ насъ.

— Тише, Лизочка, тише, мы уйдемъ,—шепталъ Давидъ, стоя подлѣ нея, но не понимая, что говорить.

— Ты еще кричишь, безчестная, развратная. Ты меня ловко придушила. Сладко тебѣ меня грабить, сладко?

— Довольно тебѣ, Гедали, ей-Богу довольно,—робко умоляла Роза.—Вѣдь она твоя же дочь, вѣдь она больная, что ты дѣлалъ? Ну, меня бей, бей меня, только пожалѣй ее, развѣ ты не знаешь, что съ ней можетъ случиться.

Она уцѣпилась за него руками, подпрыгивая вмѣстѣ съ каждымъ взмахомъ его рукъ, которыя онъ вырывать у нея.

— Пусти, пусти меня, я убью тебя.

— Убей, убей же, дорогой Гедали, вѣдь это лучше, чѣмъ такъ мучиться.

Но наконецъ и онъ усталъ, и въ комнатѣ на сторонѣ стариковъ водворилась тишина. Давидъ лежалъ почти въ жару, и Лиза ухаживала за нимъ.

— Только бы, Лиза, какая-нибудь работа нашлась, ну какая-нибудь работа, и тогда мы уйдемъ отсюда, Лиза, и по-человѣчески заживемъ.

Онъ всталъ, чувствуя потребность двигаться, ходить.

— Я совсѣмъ забылъ, какъ по-человѣчески живутъ,—продолжалъ онъ.—Я хотѣлъ бы уже наконецъ почувствовать радость имѣть свой собственный кусокъ хлѣба, но свой, свой, Лиза, чтобы на немъ подлости не было, чтобы онъ не былъ загаженъ чужими укорами, чтобы онъ не былъ облитъ слезами. Я не только о твоемъ отцѣ говорю, Лиза, я говорю и о всѣхъ насъ. Если тяжело ѣсть чужой хлѣбъ, если совѣсть тебѣ покоя не даетъ, то печего больше выжидать

— Но что, Давидъ, дѣлать?—спросила Лиза.—Уйти? Куда? Мы вѣдь съ голоду умремъ.

— Пусть. Силь уже нѣтъ выдержать такое существованіе. Каждый кусокъ жжетъ горло, какъ раскаленное желѣзо. Довольно уже съ насъ, Лиза, довольно.

— А нашъ ребенокъ,—пролепетала она.

— Что же ребенокъ,—такъ же горячо отвѣтилъ Давидъ, но сейчасъ же примирѣлъ;—да, ребенокъ... Такъ вѣдь это каторга, Лиза,—заволновался онъ,—каторга и цѣпи. Заковали совѣсть въ кандалы. Я, Лиза, не выживу, я не перенесу...

— Что это ты кричишь, Давидъ,—вдругъ раздался голосъ Якова,—они не разслышали его шаговъ.—Здравствуйте,—прибавилъ онъ и подаль руку Лизѣ.

— Ничего,—уклончиво отвѣтилъ Давидъ,—домашнія дѣла.

Онъ все дрожалъ отъ волненія, и Лиза тревожно слѣдила за нимъ.

— Ну что новаго,—спросилъ Яковъ,—нашлась работа?

— Нашлась,—отвѣтила Лиза.—Давиду поручили переписку. Кажется, ее хватить на мѣсяць. Правда, Давидъ? Немножко дешево, по 8 коп. съ листа, но и это хорошо.

— По восьми копеекъ,—ужаснулся Яковъ.—Всѣ такъ грабители!

Наступило молчаніе. Яковъ порылся въ карманѣ и сказалъ:

— Мама тебѣ сорокъ рублей прислала; они какъ разъ пригодятся теперь. Откажись отъ этой работы и поинщи другой.

— Опять она деньги посылаетъ,—заволновался Давидъ.—Я сказалъ въ прошлый разъ, что не возьму, зачѣмъ же она это дѣлаетъ? Мнѣ не нужно ея денегъ, не нужно, не нужно, и я никогда не возьму.

Яковъ съ нетерпѣніемъ пожалъ плечами и разсердился.

— Что за глупость,—вскричалъ онъ,—ты долженъ наконецъ взять. Я не понимаю твоей щепетильности; съ кѣмъ ты считаешься, съ матерью?

— Ну, хорошо, оставь,—произнесъ Давидъ.

— Нѣтъ, не оставь,—возвысилъ голосъ Яковъ.—Глупости, вздоръ все, что ты говоришь. А не вздоръ, то нечего было ссориться съ своимъ хозяиномъ. Въ твоёмъ положеніи ты не долженъ имѣть самолюбія. Оскорбилъ тебя хозяинъ—нужно было промолчать.

— Что это вы говорите, Яковъ,—вспыхнула Лиза,—какъ это жестоко съ вашей стороны. Ужели вы ничего другого не нашли, что сказать?

У нея задрожали губы, и вѣки глазъ покраснѣли, какъ у человѣка, который часто плачетъ.

Давидъ ходилъ по комнатѣ и не отвѣчалъ. Ему было такъ оскорбительно и стыдно, что не хотѣлось даже возражать.

— Лучше всего,—продолжалъ Яковъ, не обращая вниманія на Лизу,—это пойти къ отцу, броситься ему на шею и сознаться въ своей винѣ. Не пойдешь ты сегодня, пойдешь завтра, черезъ годъ, но пойдешь, потому что не выдержишь. Правда, отцу, матери будетъ тяжело, но въ твоей власти облегчить ихъ положеніе. Работай вмѣстѣ съ отцомъ...

— Въ самомъ дѣлѣ, Давидъ,—вмѣшалась Лиза,—ты бы послушалъ Якова. Намъ вѣдь ничего не остается другого:

— Ты увлекаешься, Лиза,—наконецъ отвѣтилъ Давидъ,—мы этого не можемъ сдѣлать. Отецъ по-своему правъ, и если бы онъ согласился простить, я не приму его прощенія, такъ какъ и я правъ и меня прощать не за что. Развѣ я ушелъ бы къ тебѣ, если бы считалъ себя неправымъ? Объ этомъ нечего больше говорить, Лиза. Но если бы отецъ даже самъ дошелъ до мысли, что я хорошо поступилъ, и не простилъ, а примирился бы со мной, все-таки я бы домою не пошелъ. Объ этомъ тоже нечего говорить, Лиза, ибо я хочу свой, свой кусокъ хлѣба ѣсть, а не чужой.

— Ты говоришь пустяки,—опять вмѣшался Яковъ,—развѣ отецъ тебѣ чужой? Пользоваться помощью отца

не стыдно. И наконецъ, что бы ты ни думалъ, стоить ли изъ-за этого губить и себя, и ее? Сознать или не сознаетъ отецъ твою правду, что тебѣ за дѣло, когда онъ тебя на свои плечи возьметъ.

— Ты это серьезно говоришь, Яковъ? Нѣтъ, невозможно, невозможно, чтобы ты искренно такъ думалъ. Какъ, опять взобраться на его плечи, теперь уже съ женой, забыть все, что я знаю о домашней тяготѣ? Опять требовать чужого труда, хотя бы это былъ трудъ отца, опять ѣсть чужой хлѣбъ, который будетъ перемѣшанъ попреками, слезами, вздохами, ѣсть хлѣбъ, какъ я ѣлъ до сихъ поръ? Нѣтъ, довольно съ меня, Яковъ.

— А ея отецъ, — вскипѣлъ Яковъ, — ты вѣдь ѣшь хлѣбъ ея отца? Хорошій онъ, безъ попрековъ?

— Стыдно вамъ, стыдно, — разсердилась Лиза, — вы Давида совсѣмъ не уважаете... Откуда вы знаете, легко ли ему, доволенъ ли онъ? Вы бы послушали...

Она оборвалась, чуть не проговорившись.

— Ну, Яковъ... Но я отвѣчу тебѣ: ужели ты могъ подумать, что я мирюсь съ этимъ. Вѣдь я, какъ рыба о ледъ бьюсь, чтобы высвободиться...

Что-то прервалось въ его голосѣ, и онъ чуть не заплакалъ.

— Но вѣдь это бредъ какой-то, — вскричалъ Яковъ, — что ты мнѣ рассказываешь? Я понимаю желаніе устроиться... но о какомъ ты высвобожденіи говоришь? О томъ, которое ведетъ къ полученію лишь черстваго куска хлѣба? О томъ, которое ведетъ къ вѣчной нищетѣ, къ вѣчной зависимости отъ всѣхъ, болѣе мучительной и тяжелой, чѣмъ та, которую ты дома испытываешь? О томъ высвобожденіи, которое бросаетъ тебя въ грязную и оскорбительную бездну безсилія, безпомощности, гдѣ ты принижаешься до степени скота, тупого животнаго? Вздоръ, вздоръ, вздоръ! Ты не по-

нимаешь, что говоришь. Развѣ ты жить не хочешь? Развѣ ты не хочешь наслаждаться жизнью?

— Нѣтъ, нѣтъ, Яковъ,—произнесъ Давидъ,—ты принадлежишь къ другимъ людямъ, и меня понять не можешь. Пусть все, что я говорю, кажется тебѣ бредомъ, но я не могу, не могу иначе. Я не могу пользоваться чужимъ трудомъ, потому что у меня есть свои руки и плечи, которыя должны работать, но не хочу я заниматься всякимъ трудомъ, потому что не всякій трудъ — честный трудъ. Я понимаю, что по-твоему это смѣшно, вздоръ, но я не могу иначе. Я хочу быть свободнымъ, честнымъ, со спокойной совѣстью, независимымъ...

Онъ вдругъ умолкъ, чувствуя всю глупость и ненужность этой откровенности. А у Якова отъ озлобленія искривилось лицо.

— Ужасно, ужасно глупо,—вырвалось у него.—Но нужно сказать, славная у насъ семейка: мама, съ одной стороны, ты—съ другой, Лева—съ третьей; хороши мы. Ну, да будетъ ужъ, все равно не поможетъ. Такъ ты денегъ не возьмешь?

- Не возьму, Яковъ.

Давидъ отвернулся, съ трудомъ отвѣчая, оскорбленный послѣдними словами Якова. Лиза притихла гдѣ-то у окна. Молчаніе становилось тяжелымъ.

— А я на-дняхъ уѣзжаю,—выговорилъ Яковъ.

— Заходи проститься, — холодно отвѣтилъ Давидъ.

Они еще посидѣли, но каждый становился все болѣе недовольнымъ; въ комнатѣ вѣяло тоской, грустью...

-- Ну, прощай, -- поднялся наконецъ Яковъ, — не сердись на меня, я вѣдь изъ любви...—И онъ протянулъ руку. Давидъ далъ свою.

— Прощай,—выговорилъ онъ.

Они посмотрѣли другъ другу въ глаза, и Яковъ вышелъ.



## X.

Наступилъ день отъѣзда Якова. Нужныя для поѣздки деньги, едва-едва сколоченныя разными хитростями и униженіями Розенова, лежали зашитыми въ жилеткѣ Якова, который отъ волненія не спалъ всю ночь, мечтая о неизвѣстномъ городѣ, куда онъ отправлялся. Въ 9 часовъ утра всѣ были на вокзалѣ, толпясь среди разношерстнаго люда, поглощавшаго попеременно то одного, то другого члена семьи. Розенова, державшая Павку на рукахъ, страшно беспокоилась, чтобы не опоздать, и громкимъ голосомъ, не стѣсняясь, звала каждый разъ то мужа, то Якова, то Мотю, которыхъ уносила толпа. Непривычный шумъ, возня кругомъ, собственное волненіе сбивали ее совершенно съ толку, и она съ безпомощнымъ видомъ подвигалась къ главнымъ дверямъ, чтобы выйти на перронъ. Отецъ поручилъ Левѣ сдать сундуки въ багажъ, взять билетъ, а самъ съ Яковымъ, который держался сзади, ближе къ матери, пробирался къ вагону. Старикъ шелъ торопливо, держа въ рукѣ тюкъ, немного согнувшись подъ его тяжестью, но не уступая его Якову, несмотря на настаиванія и просьбы послѣдняго. Одѣтый въ плохое пальто съ плечъ Якова, которое дѣлало его каррикатурно худымъ, съ приподнятымъ воротникомъ, онъ торопливо и усердно проталкивался сквозь толпу, чтобы поспѣть раньше другихъ занять для сына удобное мѣсто въ вагонѣ. Съ его лица, серьезнаго и нѣсколько печальнаго, струился горячій потъ, но онъ не чувствовалъ ни усталости, ни непріятности. Какъ всегда и вездѣ, ему и здѣсь хотѣлось собственными успіями, собственнымъ стараніемъ предохранить Якова отъ всякихъ случайностей и неудобствъ. Подталкиваемый этой мыслью, онъ сильно и энергично работалъ свободной рукой, наивно воображая, что отлично расчищаетъ себѣ дорогу. Отыскавъ наконецъ мѣсто, лучше котораго, ему

казалось, не было во всемъ поѣздѣ, онъ расположился въ вагонѣ, выглядывая, не подошла ли семья, оставшаяся далеко позади него. Розенова, потерявъ мужа изъ виду, сильно волновалась, жестикулировала и убѣждала Якова, что „сумасшедшій старикъ навѣрно, навѣрно перемѣшалъ поѣзда, и что Яковъ сегодня ни за что не уѣдетъ, а уѣдетъ онъ, старикъ, онъ, Исаакъ“.

— Да вотъ папа намъ машетъ изъ вагона; что вамъ только въ голову не взбредетъ, — отвѣтилъ Яковъ, — пойдѣмъ скорѣе.

Розенова сейчасъ же успокоилась и, схвативъ Бориса за руку, быстро пошла впередъ. Старикъ наконецъ рѣшился выйти изъ вагона, и когда семья собралась въ кучу, онъ повелъ ее осматривать мѣсто. Яковъ небрежно взглянулъ въ окошечко, но, замѣтивъ огорченный взглядъ отца, зашелъ въ вагонъ и сталъ расхваливать мѣсто. Старикъ засіялъ. Онъ взялъ подъ руку сына и, оставивъ жену присматривать за вещами, началъ съ нимъ ходить взадъ и впередъ. Еще многое нужно было сказать Якову, и въ послѣднѣе полчаса онъ никому его не хотѣлъ уступать.

— Вотъ что я тебѣ скажу, Яковъ, — съ жаромъ началъ онъ, когда они отошли на такое разстояніе отъ матери, что та не могла слышать разговора, — ты, пожалуйста... не стѣсняйся тамъ за границей. Миѣ, пожалуй, тяжело будетъ высылать тебѣ на жизнь, но это не резонъ, чтобы ты нуждался. Мы не знаемъ, что можетъ случиться. Дома какъ-ни-какъ ты получаешь все и не знаешь, откуда это берется. За границей совсѣмъ другая пѣсня. Ты молодой человѣкъ; повернешься сюда, повернешься туда, и деньги твои разошлись. Такъ вотъ ты, пожалуйста, чуть что... не стѣсняйся и напиши. Только не прямо, понимаешь, а Левѣ. Она вѣдь глупая женщина, и жить миѣ не дастъ, если узнаетъ, что ты денегъ просишь.

Онъ конфузливо посмотрѣлъ на Якова и опустить глаза.

— Ну, а теперь довольно объ этомъ. — заговорилъ онъ опять:— вотъ я тебѣ вина купить на дорогу — это хорошее вино. Въ дорогѣ всегда жажда мучаетъ; въ дорогѣ очень хорошо имѣть съ собой вино.

— Благодарю, спасибо, — сживленно отвѣтилъ Яковъ, — вы ничего не забываете; какой у васъ золотой характеръ, папа.

— Ну, не говори этого, — засмѣялся Розеновъ, — вотъ если бы я былъ очень богатъ, тогда, дѣйствительно, у меня былъ бы золотой характеръ, и ты бы у меня не такъ поѣхалъ. Оставимъ это. Поговоримъ-ка лучше, какъ ты думаешь тамъ устроиться? Вѣдь я, еи-Богу, и до сихъ поръ не знаю, что ты думаешь и какъ думаешь? Все эти дѣла... Но объ этомъ поздно уже говорить... Такъ ты тамъ хорошо будешь учиться, правда, Яковъ, ты вѣдь не маленькій, славу Богу? Поставишь стариковъ на ноги? Ты тамъ первымъ постарайся быть, лучше всѣхъ... Покажи имъ тамъ, какъ нужно учиться. Сдѣлайся ученымъ, Яковъ, настоящимъ ученымъ...

— Ученымъ? — переспросилъ Яковъ, насупившись. — ему сразу сдѣлалось непріятно, и онъ охладѣлъ къ отцу. — Не стоптъ, — небрежно закончилъ онъ, — лишь бы только хорошо устроиться, а тамъ Богъ съ нимъ.

— Ты правъ, Яковъ, устроиться самое главное, но ученымъ, Яковъ, ученымъ? Ты развѣ не чувствуешь этого счастья?

— Опять вы про это счастье? Мы вѣдь уже однажды говорили объ этомъ...

— Да нѣтъ, нѣтъ, — перебилъ старикъ, — мы тогда говорили о Мотѣ, мы говорили о томъ, что съ нимъ сдѣлать, а не съ тобой. А ты уже образованный.

— Но и для меня я не вижу счастья въ учености. Какое счастье въ томъ, что я засушу свой мозгъ, испорчу свое здоровье, оторву себя отъ всѣхъ удовольствій, до-

ступныхъ человѣку? Вотъ глупости. Вы думаете, ученость получается даромъ?

— Положимъ, положимъ,—отвѣтилъ оторопѣвшій старикъ,—я не хочу, чтобы ты портилъ свое здоровье. Но ученый... Какъ это странно, что я долженъ тебѣ объяснять, какое счастье быть ученымъ. Возьми, на примѣръ, меня и ученаго, развѣ тутъ есть о чемъ говорить?

— Ну и что же? Если бы вы были только немного побогаче, вамъ было бы лучше, чѣмъ всякому ученому...

— Нѣтъ, постой, подожди... Развѣ я не иссушилъ свой мозгъ, развѣ у меня осталось какое-нибудь здоровье, развѣ мнѣ жизнь мила? Ученому и неученому трудиться нужно; но ученый и послѣ смерти живетъ; онъ людямъ помогъ, онъ себѣ помогъ...

— Вы говорите, папа, наивныя вещи,—съ нетерпѣніемъ и досадою возразилъ Яковъ,—и до сихъ поръ васъ жизнь не выучила? Знаете ли вы, что вашъ ученый за обезпеченность и покой отдастъ все; все, все, папа, славу, почетъ,—вотъ такъ, какъ вы... И онъ правъ: счастье не въ трудѣ, а въ наслажденіи. А то, что обо мнѣ послѣ моей смерти ни слова не скажутъ, ну...—онъ презрительно махнулъ рукою. — Почему я ѣду учиться? Вы знаете почему? Потому, что думаю, что докторскій дипломъ дастъ мнѣ возможность хорошо устроиться—и только. Только для этого, и никакой учености я знать не хочу. Но попробуйте вы предложить мнѣ какую-нибудь службу съ платой по 300 руб. въ мѣсяцъ и съ контрактомъ на 5 лѣтъ. Попробуйте. Вы думаете, я откажусь? Я сейчасъ же плюну на университетъ. Чего вы такъ смотрите на меня? развѣ я не правъ? Человѣкъ живетъ только одинъ разъ и живетъ онъ такъ мало, что просто глупо пропустить одну минуту, не насладившись чѣмъ-нибудь. Кто хочетъ быть такимъ дуракомъ, какъ Лева, пусть его; а я пойду своей дорогой.

Розсповъ поинкъ головою постѣмгновенной вспышки, которую сейчасъ же подавилъ. У другихъ отцовъ есть же знаменитыя дѣти. Какъ онъ мечталъ объ этомъ.

— Ты, положимъ, правъ, Яковъ, — скорѣе упрасивая, чѣмъ возражая, отвѣтилъ старикъ: — я хотѣлъ приготовить тебѣ легкую и хорошую жизнь. Конечно, я тогда не думалъ о томъ, что тебѣ придется когда-нибудь и мнѣ помогать, а вотъ пришлось же... Но все-таки я не только это имѣлъ въ виду. Я думалъ такъ: ты прославишь свое имя, и на насъ отъ тебя свѣтъ упадетъ; все-таки за столько лѣтъ труда, я имѣлъ право мечтать о чемъ-нибудь хорошемъ, настоящемъ хорошемъ? Я думалъ такъ: ты станешь знаменитымъ; это для людей. Мы вѣдь не звѣри, Яковъ: когда я вижу нищаго, я всегда ему подаю грошъ. Пусть я никому неизвѣстный труженикъ, но зато мой сынъ отдастъ вдвое, такъ какъ онъ людямъ принесетъ облегченье.

— Пустяки это, папа, какое мнѣ дѣло до людей? — съ раздраженіемъ, точно онъ съ Левою спорилъ, вырвалось у Якова. — Да, какое мнѣ дѣло до нихъ? Сказать легко: я люблю людей, но правда ли это? Я говорю прямо: я не люблю людей, и это естественно; я люблю только ту кучку, съ которой я связанъ такъ или иначе, и больше никого. Всякій любитъ себя и свою кучку и не интересуется другими. Вотъ вы упали, ваши дѣла пошли дурно — подумалъ ли о васъ кто-нибудь, поинтересовался ли, пожалѣлъ ли? Наоборотъ, всякій съ удовольствіемъ пригнетъ васъ еще ниже, чтобы вырвать изъ вашихъ рукъ послѣднее. Левъ прилично эти басни говорить, а не вамъ, папа. Мы съ вами должны вѣрить только въ то, что существуетъ пріятное и непріятное, и стараться добиться только пріятнаго, а тамъ пусть хоть ничего не существуетъ.

Старикъ не отвѣчалъ. Онъ стоялъ около Якова уже безъ прежняго бодрого настроенія, чувствуя себя одинокимъ, отчужденнымъ отъ всего міра, отъ его ра-

стей. Нужно ли было дать дѣтямъ образование? Вотъ стоитъ онъ и этотъ чужой, старшій сынъ его. Къ кому ему обратиться? къ Левѣ? Но тамъ стоитъ Михайловъ и уводитъ его съ собой. Къ Давиду?

— Ну, довольно, папа,—прервалъ Яковъ молчаніе,—вотъ вы нахмурились. Это за четверть часа до моего отъѣзда? Хорошо ли портить такую минуту?

И, завидѣвъ Лева, приближавшагося къ матери, онъ весело крикнулъ:

— Иди къ намъ, Лева, и маму позови, ей тамъ, вѣроятно, порядочно надоѣло сторожить.

Онъ подхватилъ отца подъ руки и чуть не въ прыжку пошелъ къ вагону, гдѣ стояла Соня.

Семья опять сошлась. Павка сталъ выражать нетерпѣніе и потянулся къ Левѣ. Лева взялъ мальчугана на руки, но поморщился. Якову это не понравилось.

— Ты всѣмъ будто недоволенъ,—кисло выговорилъ онъ,—хоть бы теперь сдержался.

— Ты почему знаешь, о чемъ я думаю,—отрѣзалъ Лева.—Можетъ быть, у меня на душѣ во сто разъ лучше, чѣмъ у тебя?

Онъ произнесъ это такимъ загадочнымъ тономъ, что Яковъ на минуту не нашелся.

— Да нѣтъ,—накопецъ выговорилъ Яковъ,—ты все морщишься, морщишься, можно подумать, что мой отъѣздъ наноситъ тебѣ самую тяжкую обиду.

— Опять ты, Яковъ...—началъ было Лева.

— Оставьте, дѣти, что это такое,—вмѣшался Розеповъ, чтобы прекратить начавшуюся ссору,—здѣсь ли мѣсто для упрековъ, такъ ли братья прощаются?

— Но,—выговорилъ Яковъ,—я кажется...

— Довольно уже, довольно,—съ нетерпѣніемъ произнесла Розепова,—вотъ уже скоро первый звонокъ, а я еще съ тобой не поговорила. Идемъ, идемъ.

Она увлекла его въ сторону, шопотомъ, горячо пе-

редавая все нужное и вкладывая душу въ каждое свое слово.

— Такъ ты учись, учись, крѣпко учись, Ишенька, помни тамъ мать свою. Помни, что она будетъ ждать тебя, какъ спасителя, и ночей спать не будетъ, думая о тебѣ. Работай, безъ конца работай, пока время еще твое, работай, а то потомъ опять поздно будетъ и никто уже намъ не поможетъ. Ты у насъ одинъ, послѣдняя наша надежда. Помни же, помни. Посмотри еще разъ на отца, на меня, запомни наши лица, крѣпко запомни наши лица. Видишь его, какой онъ согнутый, высохшій, измученный—она вдругъ заплакала—могу я развѣ вѣрить, что онъ доживетъ увидѣться съ тобой. Видишь ты его? Это нашъ хлѣбодатель; долго ли онъ выдержитъ семью на плечахъ. Милосердія, милосердія я прошу у тебя. Сдѣлаешь ты тамъ шагъ, подумай, хорошо ли это для насъ или нѣтъ? Я вѣдь тоже стара и больна, какъ измученная лошадь. Доживу ли и я тебя увидѣть? Я боюсь, хватить ли силъ даже радоваться, если и доживемъ...

Она остановилась, задыхаясь отъ волненія, какъ старикъ, уставшій воинъ, всегда сражавшійся, высоко державшій знамя семьи надъ головой. Яковъ слушалъ, опустивъ голову, очарованный, окрыленный своими думами, но потрясенный скорбью, шедшей изъ стараго дома, который остался позади, который онъ сейчасъ оставитъ, можетъ быть, навсегда. Онъ сжималъ руку матери, а та спѣшила высказать все въ послѣднюю минуту, такъ какъ думала, что послѣднія слова—лучшія слова, что они вѣчно будутъ стоять предъ его глазами и руководить его мыслями, его желаніями, его поступками.

— Можетъ быть,—продолжала она,—ты будешь въ чемъ-нибудь нуждаться, не жаль для себя и не скупись. Я со своего рта оторву кусокъ, со рта дѣтей оторву, а рубля три соберу въ мѣсяцъ и вышлю тебѣ. Только смотри, не растрачивай лишнихъ денегъ. Когда

Богъ дастъ, ты самъ устроишься, тогда ты все себѣ позволишь. Намъ вѣдь все-таки трудно будетъ посылать тебѣ. Смотри же, еще разъ напоминаю тебѣ, не забудь словъ матери, далеко, далеко запиши ихъ въ своей головѣ. Учись, работай, изъ всѣхъ слѣ работай. Если бы я могла свою душу вложить въ твою, если бы я могла свою голову поставить на твои плечи, если бы ты могъ такъ думать о насъ, какъ мы о тебѣ. Мы совсѣмъ безъ тебя жить не будемъ; страшно даже объ этомъ думать. Дома у насъ будетъ грустно, тихо; мы станемъ одинокими, заброшенными... Какая жизнь... 25 лѣтъ жили мы съ Исаакомъ, всегда у насъ была комната, полная дѣтей, и вдругъ все измѣнится, будто мы только поженились; я буду смотрѣть на него, онъ на меня... Боже мой, уже первый звонокъ. Будь же здоровъ, будь здоровъ, дорогой сынъ, помни, что я тебѣ сказала, не забывай, не забывай моихъ словъ.

Она торопливо бросилась ему на шею, рыдая какъ ребенокъ. Потомъ она быстро пошла съ нимъ къ вагону, гдѣ ихъ ожидала вся семья. Тамъ она еще разъ обняла его и долго не выпускала изъ рукъ, точно не желая отдавать своего сердца, своей послѣдней надежды, которую онъ увозилъ съ собою. Не выдержалъ и Яковъ, уступивъ неизвѣданному чувству перваго разставанія...

Розеновъ, выждавъ своей очереди, томительно посмотрѣлъ ему въ глаза и шепнулъ: „доживу ли я тебя увидѣть?“ не спѣша обнялъ его и долго и крѣпко цѣловалъ его въ губы, не имѣя силъ оторваться отъ этого родного тѣла, которое было его душой, его кровью, его заботой. Раздался второй звонокъ, оглушительный, нетерпѣливый. Наступила очередь братьевъ, которые съ тяжелымъ сердцемъ подошли другъ къ другу.

Они холодно обнялись, но почувствовавъ теплоту у своихъ губъ, инстинктивно прижались крѣпче и вдругъ начали шептать другъ другу дрожащимъ голосомъ



ласковыя безсмысленныя слова, которыя невольно вырывались изъ ихъ сердца... Въ эту минуту они забыли вражду, раздоры, разные пути, по которымъ они пошли въ жизни...

Потомъ Яковъ подбѣжалъ къ дѣтворѣ, поднималъ ихъ съ земли и, легко держа въ своихъ сильныхъ рукахъ, съ наслажденіемъ сталъ цѣловать ихъ холодныя лица. Старики съ родительскимъ эгоизмомъ протянули еще разъ къ нему свои руки съ обѣихъ сторонъ, быстро напоминая о разныхъ вещахъ, думая, что онъ еще въ состояніи что-нибудь понять. Наконецъ раздался и третій звонокъ, оборвавъ поцѣлуи, прозвенѣвшіе въ воздухъ, и Яковъ вскочилъ на площадку. Послышался свистъ, точно зовъ на помощь, поѣздъ колыхнулся раза два на мѣстѣ, и гигантская зеленая змѣя съ десятками глазъ на спинѣ, медленно ползнула впередъ. Старики вострепнулись, точно желая задержать ее, но моментально раздумали и бросились бѣжать, смѣшно, неловко, какъ бѣгутъ старики. Но потомъ, чтобы не терять изъ виду сына, который махалъ имъ платкомъ и казался имъ сильнымъ и красивымъ, какъ Богъ, они внезапно остановились, застыли, пронзительно глядя на его лицо, все быстрѣе терявшее свою форму, и съ послѣдней энергіей жестикулируя руками и платками...

Старики повернулись и разбитыми шагами, безсильно раскачиваясь, побрели домой. За ними, держа за руки дѣтей, задумавшись шель Лева.

— Одни, одни, — шепталъ старикъ, — точно ничего не произошло въ эти 25 лѣтъ.

А Розенова тихо плакала, молясь горячо Богу о томъ, чтобы онъ исполнилъ ихъ мечту, чтобы онъ поддержалъ ихъ старость, чтобы онъ утѣшилъ ихъ душу.

Когда старики скрылись, изъ отдаленнаго уголка вокзала показался Давидъ съ Лизой. Лицо его было искривлено отъ волненія, и пѣжные пальцы Лизы, ле-

жавшіе въ его рукѣ, тщетно ласкались въ ней, умоляя его о покоѣ, о мирѣ.

— Несчастные, несчастные, — шепталъ онъ.

## XI.

Наконецъ наступилъ знаменательный день, когда банкъ долженъ былъ объявить, какую ссуду онъ выдастъ при перезалогѣ дома. Розеновъ еще съ утра вышелъ изъ дому, не имѣя терпѣнія оставаться больше въ неопредѣленности — отчасти и потому, что усталъ отъ разговоровъ, которые онъ велъ съ женой съ тѣхъ поръ, какъ открылъ глаза.

На улицѣ уже царилъ полный день, когда онъ сталъ подниматься въ гору своими медленными, удрученными шагами. Въ душѣ у него лежалъ осадокъ горечи, что-то въ родѣ предчувствія дурного конца, но онъ старался думать съ надеждой, какъ думалъ въ молодости. Ужели ему не назначать просимой ссуды? У него не было мыслей ни о женѣ, ни о дѣтяхъ, а письмо Якова, лежавшее въ его карманѣ, не давило теперь его сердца, не отягощало мозга, хотя еще вчера, перечитывая въ десятый разъ письмо женѣ, онъ долго разбиралъ его, точно допытывался узнать, по его тону, по его намекамъ, выдержитъ ли онъ эту новую заботу — содержать Якова за границей?

Передъ нимъ постепенно раскрывался сѣренькій видъ города — только что скрытый мостомъ — съ его низенькими старыми домами, неуклюжими улицами, невысокими церковками, съ его людьми, вѣчно торопившимися, людьми съ нахмуренными, озабоченными, озлобленными лицами, — и эта ежедневная, пріѣвшаяся ему картина вызвала въ немъ теперь такую муку, такое отчаяніе, что онъ на мигъ пожелалъ себѣ смерти. Онъ зналъ; куда стремились эти люди, которыхъ такъ е, какъ и его, забота отрывала отъ сна и выгоняла

изъ теплаго угла въ холодную осеннюю сырость, чтобы искать, вынюхивать, клаячить, просить... И всегда, годы подъ рядъ, эти прѣвшіеся и постарѣвшіе на его глазахъ люди также торопливо шпыряли по улицамъ, точно они жили въѣ времени, и никогда ихъ лица не выражали ни радости, ни веселости. Они всегда искали хлѣба, хлѣба и хлѣба... Когда онъ былъ богатъ, когда думать о заработкахъ, которые сами собою напрашивались, было для него наслажденіемъ, онъ ничего не видѣлъ кругомъ себя; онъ не видѣлъ этихъ людей, вырвавшихся изъ петли, онъ никогда не вникалъ въ этотъ безгласный ропотъ, который теперь такъ звонко отдавался въ его груди. Это было прежде, давно, но теперь?... Теперь и онъ съ ними бѣгаетъ, выгнанный изъ теплой семьи, бѣгаетъ старыи, съ утра уже уставшій, и лицо его такое же озабоченное и измученное, и время какъ будто проходитъ надъ его головой, ничего не измѣняя въ его жизни. Есть ли у этой братіи его радости, смѣется ли она когда-нибудь? Есть ли у него радости, смѣется ли у него въ домѣ кто-нибудь? Есть, но что за радости, что за смѣхъ. Родится кто-нибудь—это радость, но радость на заботѣ, какъ кусокъ здороваго мяса на гніющемъ тѣлѣ, ибо завтра же съ поворожденнымъ появится новая тревога: какъ удѣлить для лишняго рта изъ того, чего не хватало для старыхъ? Жепится кто-нибудь—радость, смѣхъ, но на завтра молодой мужъ уже начинаетъ думать, полосуя лобъ морщинами, гдѣ бы ему побольше заработать для новаго рта? Обзаведется ли кто-нибудь дѣломъ—радость,—но и повоселѣе уже отравлено мыслью: поидеть ли дѣло, не обманулъ ли, и сердце пачинаетъ бить тревогу, не давая минуты отдыха для надежды. Нѣтъ настоящаго смѣха, нѣтъ и радости, ибо всюду много ртовъ, всюду хотятъ хлѣба, всюду нищета и зависть и ненасытное желаніе, ибо эти люди никогда въ жизни не были еще сыты, всюду есть недостатокъ, ибо всѣ сосутъ соки изъ

одного высохшего дерева, уже уставшего кормить, и возлѣ каждого, протянувшего руку, стоитъ его ближній, такой же несчастный, съ раскрытымъ ртомъ и острыми зубами... Нѣтъ веселья, нѣтъ настоящей радости.

Осеннее съ холодной изморозью утро, угрюмое, какъ его сердце, съ больнымъ негрѣющимъ солнцемъ на туманномъ небѣ, точно отражало его настроеніе, все болѣе и болѣе переходившее въ отчаяніе. Руки его поспѣли отъ холода, и глубоко засунувъ ихъ въ карманы, онъ, чтобы согрѣться, быстрее зашагалъ, не обращая вниманія на вызванное этимъ колотье въ груди.

Онъ сталъ думать о письмѣ Якова, довольный предлогомъ отсрочить тягостное размышленіе о томъ, что его ожидало въ банкѣ. Яковъ въ длинномъ письмѣ сообщалъ, что устроился съ товарищемъ на квартирѣ, передавалъ свой восторгъ отъ видѣнныхъ мѣстъ, говорилъ о своей мечтѣ вырвать отца изъ его каторги, чтобы тотъ могъ наконецъ на старости найти успокоеніе отъ своей трудной жизни. Много, много строкъ посвятилъ онъ описанію Берлина, видѣнныхъ лицъ, знакомствъ—все, мало интересное и отцу, и матери, но они читали письмо съ благоговѣніемъ и какимъ-то почтительнымъ страхомъ, и это первое чувство не было даже нарушено тѣмъ, что гдѣ-то въ концѣ письма микроскопическими буквами была выражена просьба о деньгахъ.

— Видишь, видишь,—шепталъ Розеновъ,—куда мои деньги идутъ. У насъ будетъ сынъ, настоящій сынъ.

— Хотя бы онъ хорошее знакомство свелъ, — съ обычной горячностью сказала Розенова, — вѣдь онъ тысячи въ приданое возьметъ. Только бы Богъ далъ, чтобы онъ познакомился съ богатой дѣвушкой.

— Да, да,—вдругъ охладѣлъ старикъ,—но онъ проситъ выслать денегъ; есть что-нибудь дома?

— Онъ уже проситъ?—испугалась Розенова.

Все очарованье сразу исчезло; осталась одна голая

правда: надо было денегъ и денегъ. И Розенова ѣдкимъ голосомъ прибавила:

— Гдѣ же у меня деньги. Ты развѣ много припнешь изъ города?

Старикъ замолчалъ, понурилъ голову, а ночью оба они съ ужасомъ говорили о Яковѣ, какъ о новомъ, тяжеломъ несчастіи, и этотъ скверный разговоръ перемѣшивался со страхомъ и мольбой о завтрашнемъ днѣ, въ который должна была рѣшиться ихъ судьба. И даже то, что появился какой-то покупатель, торговавшій ихъ домъ, черезъ посредство маклера Анчеля, по баснословной цѣнѣ, въ эти тяжелыя минуты отодвинулось куда-то въ сторону, казалось миеомъ и не приносило утѣшенія.

Розеновъ машинально завернулъ въ переулокъ, думая о сынѣ, объ этомъ новомъ долгѣ, болѣе ужасномъ, чѣмъ всѣ его векселя. Томительная тревога охватила его: быть можетъ, теперь, въ эту минуту, далеко, въ чужой странѣ, голодный Яковъ протягиваетъ къ нему руки... И чтобы не предаться отчаянію, онъ, насильно заглушая дурныя предчувствія, началъ думать о покупателѣ, торговавшемъ за баснословную цѣну его домъ, о банкѣ, куда онъ шелъ за отвѣтомъ. Банкъ, банкъ...

Онъ замечтался, весь въ тревогѣ, наскоро, почти истерично сосчитывая стоимость каждаго камня своего дома, его драгоценнаго дома, принимая въ соображеніе положеніе дѣлъ въ городѣ, стараясь увѣрить себя, что офицникъ, подкупленный имъ, павѣрно будетъ на-станвать на 10 тысячахъ, хотя сердце его продолжало быть холоднымъ, несогрѣтымъ, какъ этотъ осенній день съ его леденящимъ воздухомъ.

И онъ тихо продолжалъ свой путь къ своей судьбѣ, къ своему будущему...

Между тѣмъ Розенова осталась въ столовой поджидать Анчеля съ вѣстями о чудесномъ покупателѣ. Она отослала дѣтей, чтобы быть совершенно свободной, и не принималась ни за какое дѣло.

На старыхъ часахъ пробило 10 часовъ. Розенова встрепенулась и заволновалась. Анчель обѣщала придти къ этому времени, а между тѣмъ его еще не было. Она тревожно начала ходить по комнатѣ, стараясь думать, что Анчеля, вѣроятно, задержало какое-нибудь важное дѣло, не менѣе важное, чѣмъ ея: „развѣ только она одна несчастная въ мірѣ?“—но когда пробило половину одиннадцатаго и затѣмъ 11, она совершенно упала духомъ. „Можетъ быть, еще банкъ спасетъ, подумала она, иначе намъ всѣмъ остается только зарѣзаться“.

У нея закипѣли слезы, и отъ страха она вдругъ начала горячо молиться своему Богу, съ которымъ она находилась въ такой суевѣрной и трогательной связи. Слова молитвы она произносила на свой ладъ, повторяя имя Бога три раза, непременно три раза, а слова: помоги, спаси, утѣши, по два раза, ибо Богъ былъ выше спасенія и помощи. Вопреки обычаю она оборачивалась лицомъ къ западу, такъ какъ помощь приходила всегда, когда она глядѣла на западъ. Но слова она произносила быстро, не ясно, зная, что Богъ и такъ пойметъ, чего она хочетъ, между тѣмъ какъ ея мысль, не умѣя оторваться отъ земныхъ тревогъ, продолжала заниматься сегодняшнимъ днемъ, въ который рѣшалась ея судьба. И Богъ, и молитва, и банкъ, и Исаакъ, и Анчель, и необходимость сегодня же въ 4 часа дня уплатить проценты по второй закладной, все смѣшалось въ ея мысляхъ и произносимыхъ словахъ, тогда какъ глубоко про себя она продолжала думать, что Онъ спасетъ ее, помилуетъ ея несчастнаго старика и малютокъ дѣтей.

Во дворѣ замелькала фигура Анчеля. Розенова съ радостью посмотрѣла на небо, увѣренная, что ея молитва совершила это чудо. Она собрала все свое хладнокровіе, чтобы изъ окна не крикнуть ему: выгорѣло ли дѣло? Наконецъ скрипнула дверь, и Анчель, этотъ богъ Анчель, который спасалъ всѣхъ, стоявшихъ на краю ги-

бели, вошелъ въ комнату. Розенова, бросивъ на него испытующій взглядъ, попыталась по его лицу узнать, что онъ принесъ съ собою. Но Анчеля невозможно было разгадать. Когда дѣло было серьезное, то въ мірѣ не существовало такого человѣка, который бы разобралъ по немъ, что онъ на самомъ дѣлѣ знаетъ.

Анчель былъ высокій, рыжій человѣкъ съ плоскими высоко поднятыми плечами, точно онъ носилъ костыли, нѣсколько сутуловатый, съ рѣзкимъ, почти разбойничьимъ лицомъ, на которомъ свѣтились пара маленькихъ, добрыхъ глазъ. Ротъ у него былъ большой, немного скошенный набокъ и обросшій щетинистыми усами.

— Пускай уже вамъ будетъ доброе утро,—заговорилъ онъ,—я опоздалъ таки сегодня, но я хотѣлъ бы увидѣть, кто бы не опоздалъ на моемъ мѣстѣ. Десять дѣлъ съ самаго утра. Двадцать дѣлъ съ самаго утра. Пятьдесятъ дѣлъ съ самаго утра, и все на одного человѣка. Я вамъ говорю, что городъ не выдержитъ своихъ несчастій.

Это было дурное начало, такое дурное, что Розенова ухватила за столъ руками, чтобы не упасть.

— Но это пустяки. Что? Вы боитесь? Я такъ и зналъ, что вы испугаетесь. Хотѣлъ бы я видѣть одну храбрую женщину.

Онъ усѣлся и вытеръ потъ со лба.

— Ну, что я услышу отъ васъ поваго?

Онъ вдругъ сдѣлался серьезнымъ и зацѣпалъ бороду.

— Что вы хотите услышать,—отвѣтила Розенова.— Теперь нигдѣ хорошаго не слышно. Сегодня мы должны платить поляку Яворскому по второй закладной. Хорошій день, можете догадаться. Исаакъ пошелъ въ банкъ. Что изъ этого можетъ выйти? Уговорилъ себя, что банкъ выдастъ 10 тысячъ рублей. За что? Развѣ въ городѣ такія хорошія дѣла? развѣ нашъ домъ находится на такой улицѣ, гдѣ каждый кусокъ земли продаетъ

ся на вѣсъ золота? Я предъ вами, Анчель, ничего не скрываю и если бы я имѣла такого дѣльнаго мужа, какъ вы... У васъ развѣ были бы такія глупыя мысли? Вы бы сейчасъ же продали домъ—правда, Анчель?

— Конечно! есть еще о чемъ говорить! Кто не знаетъ, что теперь всякій домовладѣлецъ дворникъ въ своемъ домѣ? Посмотрите только въ списокъ долговъ подъ дома. Есть о чемъ говорить!

— Вотъ видите, видите. Я вамъ говорю, Анчель, у васъ моя голова, у васъ даже мои мысли; я только еще вчера объ этомъ говорила Исааку. Нашелся хоть одинъ человѣкъ, который меня понимаетъ. Слушайте дальше. Что вы скажете о такомъ планѣ: отдать подрядчику выстроить гостиницу въ домѣ? Вѣдь это сумасшествіе?

— Скажите лучше, закопать себя живымъ въ землю,—перебилъ Анчель,—живымъ: онъ пзъ вашей кожи ремни будетъ вырѣзывать...

— Вотъ видите. Исаакъ смотритъ на Лендера, который тоже висѣлъ на волоскѣ съ своимъ домомъ. Вы знаете Лендера? Но это не примѣръ! Кто можетъ быть Лендеромъ? Нужно раньше имѣть его голову. Слушайте только объ этомъ счастье. Началъ онъ строить гостиницу, но какую!— съ мраморными лѣстницами, съ коврами, устроилъ подъѣздъ—подъѣздъ ему еще нуженъ былъ,—просто на висѣлицу человѣкъ лѣзъ. Его подрядчикъ могъ хорошо смѣяться. Но Лендеръ не боится, Лендеръ лѣзетъ впередъ. И пока подрядчикъ ломалъ голову, какъ бы лучше его окрутить, онъ отыскалъ этого дурака Васильева и прямо-таки всунулъ ему полуразоренный, недостроенный домъ за 60 тысячъ. Сколько вы, напримѣръ, думаете осталось Лендеру? Двадцать тысячъ, вотъ какъ вы меня видите.

Послѣднія слова она закончила съ болью въ голосъ, сверкая глазами и забывъ о своихъ дѣлахъ.

— Я слыхалъ объ этомъ,—выговорилъ Анчель самоовольно,—не думайте, что я чистъ въ этомъ дѣлѣ. Не



спрашивайте лучше. Лендеръ—это калѣка, и если бы я тогда не вмѣшался, онъ бы скоро появился на моемъ порогѣ за подаеніемъ. Вы развѣ знаете, что въ городѣ дѣлается, и что я могу въ городѣ натворить, если только захочу.

— Ну, ну, — алчно произнесла Розенова, — покажите, пусть и я увижу чудо. Будьте ужъ вы спасителемъ. Что вы принесли хорошаго сегодня?

Она задрожала отъ неизвѣстности и вдругъ закончила совершенно откровенно:

— Я васъ, какъ Бога, поджидала, Анчель. Я всю ночь пролежала съ открытыми глазами. Посмотрите на меня снизу до верху. Что вы скажете на Божьи дѣла? Тоже была кое-чѣмъ на свѣтѣ, тоже роль играла. Вы развѣ знаете? Изъ того, что я выбрасывала со стола можно было двѣ семьи прокормить.

Анчель прищурилъ глазъ и бойко заморгалъ другимъ, точно говоря, что все хорошо понимается.

— Вы мнѣ не рассказывайте новостей, что я мальчикъ? Слава Богу, я два состоянія потерялъ, пока я Анчелемъ сдѣлался. Чѣмъ родиться евреемъ, лучше вовсе не родиться. Вы развѣ знаете что-нибудь? Проидитесь по городу, зайдите въ еврейскіе кварталы, и тогда вы узнаете, что значить горе. Развѣ еще адъ нуженъ? Городъ не перенесетъ своихъ несчастій, я вамъ говорю. Плачъ и стонъ разрываютъ сердце. Но когда люди въ плѣну, то нужно молчать.

Онъ спохватился, чтобы отвѣтить на вопросъ Розеновой.

— Что-то онъ заупрямился, мой; не знаю, перекутилъ ли его кто-нибудь, или онъ самъ одумался. Кошка всегда найдетъся, чтобы перебѣжать дорожку.

Розенова безшумно вздохнула и сгорбилась. Въ одинъ мигъ вся бездна нищеты разверзлась предъ ея ногами.

— Что вы говорите, Анчель, — прошептала она.

— Э, не бойтесь, я, вамъ говорю, тоже человѣкъ. Я знаю все, я хорошо знаю. Мы что-нибудь придумаемъ для него.

— Что вы придумаете? Развѣ у меня есть время ждать? Вѣдь, если мы не уплатимъ завтра, самое позднее послѣзавтра поляку, мы... вы понимаете?..

— Ну, подождите, еще не конецъ свѣта,—отвѣтилъ онъ.—Вы думаете, что онъ отъ меня вывернулся: такъ таки я ему отдамъ свой заработокъ; и не такихъ я скручивалъ. И это совсѣмъ не будетъ грѣхомъ. Вашъ домъ—хорошій домъ, только долженъ имѣть богатаго хозяина.

И, понизивъ голосъ, онъ продолжалъ:

— У меня на рукахъ было такое же дѣло, какъ ваше. Бѣдный человѣкъ хотѣлъ въ воду броситься отъ горя. Онъ тоже застроился, но на другой манеръ, безъ подрядчика. Построилъ онъ одинъ флигель, заложилъ его въ банкъ, потомъ построилъ другой и третій. Конечно, жена его не хотѣла, просила, но о чемъ ужъ тутъ говорить: искуситель стоялъ у него предъ глазами. Хорошо. Построилъ онъ, правда, большой домъ, но такъ задолжался, что рубашка на немъ чужая была. Дома семья его по недѣлямъ мяса не видѣла, а самъ онъ въ три погибели ходилъ сгорбившись. Коротко вамъ сказать:шло оно такъ у моего бѣдняка, пока о немъ не начали заговаривать то здѣсь, то тамъ; наконецъ, дошло оно и до насъ. А домъ у него—заглядѣніе, я вамъ скажу: красавецъ. Большой, выкрашенный въ бѣлый цвѣтъ, фронтоны освѣщали всю улицу, большія, какъ теперь дѣлаютъ, окна, красивый кусокъ тротуара, вымощенный дворъ, я вамъ говорю, палаццо, царскій домъ. Какъ-то разъ сижу я съ другими маклерами и разговариваемъ. О чемъ? Конечно, о дѣлѣ, еще о дѣлѣ, еще о покупкѣ, еще о продажѣ. Заговорили и о немъ. „Ну, говоритъ мнѣ одинъ, тутъ только ты, тчель, можешь помочь, только ты можешь выкрутить

такое дѣло". Я себя подумалъ, еще разъ подумалъ и пошелъ осмотрѣть домъ. Прихожу, смотрю. Осмотрѣлъ, все хорошо, какъ слѣдуетъ. Не потѣнился я и здѣсь и пошелъ къ бѣдняку. Приняли меня, можете себя представить...—А горя я слышался, а слезъ я навидался, и не спрашивайте. „Ну, говорю я, надо вамъ помочь, дѣлать нечего, сколько вы за вашъ домъ хотите?“ „Восемьдесятъ тысячъ, если дадутъ, я выскочу; какъ человѣкъ“. „Хорошо, хорошо“, говорю я, и начала моя голова работать, и начала она, я вамъ говорю, работать, страшное дѣло какъ... А тутъ, надо вамъ знать, пріѣхалъ изъ деревни полковникъ въ отставку, котораго я еще подполковникомъ зналъ. Богатъ онъ былъ, какъ князь, и вѣрилъ въ меня, какъ въ отца своего. Пошелъ я сейчасъ къ нему и какъ сталъ ему рассказывать всю правду, какъ сталъ я ему рассказывать, такъ онъ у меня просто подпрыгивать началъ: „Скорѣе, Анчель, скорѣе иди и кончай это дѣло, а то еще могутъ изъ-подъ носа утащить“.—„Ну, говорю я, полковникъ, никто у Анчели еще дѣла изъ-подъ носа не выхватилъ. Пойдите осмотрите домъ, но только тайно“... „Какъ это, спросилъ онъ, тайно?“ „Такъ, отвѣчаю я ему, хорошія дѣла не дѣлаются при свѣтѣ“. И тутъ я ему еще лучшую правду рассказалъ: домъ стоитъ 100 тысячъ, а за долги его за 50 отнимутъ у бѣдняка, словомъ, какъ слѣдуетъ. Полковникъ просто за голову схватился. „Ну, говорить, Анчель“... И духъ у него занялся. „Ну, говорю я, полковникъ, вы дадите за домъ только 90 тысячъ; одѣньте пальто, шапку съ кокардой и пойдите завтра осмотрѣть домъ; придете и скажете, что вы будто изъ санитарной комиссіи. Осмотрите домъ, и никто ни о чемъ не догадается“.—„Нѣтъ, говорить онъ, не могу я такія штуки дѣлать“. „Это не штуки, отвѣчаю я, спасти человѣка надо, чтобы кредиторы ничего не знали“. И что же вы думаете, не пошелъ онъ у меня? Пошелъ. Потихоньку осмотрѣлъ, купилъ, и даже

муха не узнала объ этомъ. Посмотрѣли бы вы теперь на моего бѣдняка, жиръ ему уже въ горло не лѣзаетъ. Конечно, мой полковникъ золото, но не онъ одинъ дуракъ на свѣтѣ. Нужно только подождать.

Розенова жадно слушала и не отрывалась отъ чудной исторіи. А Анчель, рассказавъ о полковникѣ, который сегодня утромъ еще фигурировалъ въ качествѣ отставного капитанъ-маіора въ подобной же исторіи, подумалъ, что теперь ему можно перейти къ настоящему дѣлу.

— Что вы скажете,—началъ онъ,—о хорошей бакалейной лавкѣ?—но о хорошей, какъ хорошій кусокъ хлѣба? А? Вы что-нибудь сказали? Слушайте меня. Итъ, подождите, я знаю, что вы хотите сказать. Не перебивайте же. Лавку, понимаете, и въ веселой улицѣ. Дайте же выговорить. Вы знаете, что такое лавка? Вы когда-нибудь знали лавку, вы видѣли лавку? Но вы умный человѣкъ. Что? А? Лавка! Лавка! Какъ это вамъ кажется? Вы знаете, что теперь дѣлается въ городѣ? Возьмитесь за хлѣбъ—вы пропали, на щепки васъ разнесутъ. Попробуйте заняться аренднымъ дѣломъ—бѣгите; здѣсь вы просто забыли свою смерть. Задумайте табачную,—ну, вы не слышали, что на табакъ скоро будетъ монополія? Попробуйте-ка тайную продажу вина и водки,—а ну попробуйте, прошу васъ; вы знаете теперь такого сумасшедшаго, который хотѣлъ бы непременно, только ради водки и вина, петлю набросить на свою шею. Какое еще дѣло вы хотите? Вы развѣ представляете себѣ, что въ городѣ дѣлается? Городъ не выдержитъ своихъ несчастій, я вамъ говорю. Землю грызутъ. Лавку, лавку и рвутъ меня за полы. Лавку, Анчель, ради Бога лавку, мы этого не выдержимъ. И почему пѣтъ? Чистое дѣло, хорошее дѣло, порядочное дѣло. Что тамъ нужно дѣлать? Ничего. Дайте только 300—400 рублей, вамъ насыпать товаръ, и торгуйте себѣ на здоровье, не имѣйте заботъ, поддерживайте

вашего бѣднаго старика, дѣточекъ поддержите своихъ. Мало вамъ этого? Но, постойте, вы такъ уже и нашли лавку? Ого, мнѣ жить не даютъ. Оп, Анчель, лавку, ради Бога... Но что я могу сдѣлать? Изъ себя я лавку сдѣлаю, или изъ жены моей, или изъ моихъ дѣтей? Я вамъ говорю, они меня разорвутъ.

Розенова тщетно пыталась помѣшать ему говорить. Нѣсколько разъ она начинала кричать, думая, что это его остановить, но онъ заглушалъ ее своимъ голосомъ, при первой же попыткѣ удержать его. Тогда Розенова покорилась.

— Слушайте же,—сказалъ онъ,—я знаю ваше положеніе, и Богъ видитъ, какъ я васъ жалѣю. Когда это дѣло попало въ мои руки, я сейчасъ же о васъ подумать. Ну, сказалъ я себѣ, пусть это для нихъ будетъ; такіе хорошіе люди, это пусть будетъ для нихъ. Вѣдь вашъ старикъ—святой, я вамъ говорю, что онъ святой; я хотѣлъ бы, чтобы обо мнѣ послѣ моей смерти такъ отзывались, какъ о немъ живомъ. Можетъ быть, вы слышали фамилію Пинхусъ? Нѣтъ, не слышали? Жаль, жаль; тоже хорошіе люди, только несчастные. Расскажу я вамъ о нихъ. Живутъ они уже здѣсь лѣтъ двадцать. Отецъ—старикъ, мать—чистые люди, чистые, какъ золото, и дѣти слава Богу. Вы еще не понимаете? Долженъ Пинхусъ быть иностраннымъ подданнымъ. Слышали вы о такомъ порокѣ? Какъ же. Онъ откусилъ кусочекъ у Россіи, если онъ иностранный. Это не горькій смѣхъ? Но когда нужно ѣхать, такъ нужно: это не разсужденіе. Ему дали 2 недѣли срока, чтобы покончить съ дѣлами, а потомъ ступай, куда речешь. Спрашиваю я васъ, куда ѣдетъ несчастный еврей? Въ Америку. А, у васъ поднялись волосы... въ Америку. Кто ѣдетъ, что ѣдетъ? Старикъ, старецъ, который не сегодня, завтра Богу душу отдастъ. Тоже жизнь,—но когда нужно, такъ нужно. Вы такого плача не слышали, какъ тамъ плачутъ. Такъ вотъ это у нихъ продается лавка.

Я уже видѣлъ хорошія лавки, по такой, вотъ какъ мы имѣемъ великаго Бога, такой и я не видѣлъ. И думаете большія деньги нужны? Пустяки—тоже деньги. За все онъ проситъ 500 рублей, но возьметъ 450, ну, 400. Что вы скажете?

Розенова привыкла къ такимъ предложеніямъ и не удивилась ему, тѣмъ болѣе, что она не прочь была бы отъ хорошаго дѣла. Но пока ее интересовало только дѣло съ покупателемъ.

— Конечно, Анчель,—начала она,—лавка хорошее дѣло; слава Богу, я не въ лѣсу живу, и если бы я не была занята другимъ дѣлами, я пошла бы посмотрѣть вашу лавку. Только у меня, вѣдь, другое на умѣ. Вотъ если бы вы пожалѣли меня и еще одного полковника нашли...

— Есть, есть,—перебилъ ее Анчель,—два полковника, пять полковниковъ. Хорошій я былъ бы маклеръ, если бы я только одного полковника имѣлъ. Вотъ такимъ, какимъ вы видите меня, я имѣю и помѣщиковъ, и чинowników, полковниковъ и подполковниковъ, и капитановъ, и офицеровъ, и домовладѣльцевъ, и лавочниковъ, и фабрикантовъ, и купцовъ, и банкировъ, и сахарозаводчиковъ. А генераловъ, думаете, нѣтъ у меня? А кто сдѣлалъ дѣло помѣщика Морозова оставшему генералу Прохорову? Тоже хорошо эти помѣщики выкрутились, вы развѣ знаете? Если бы я былъ министромъ, то первое, я отдалъ бы приказъ, чтобы мужики перестали хлѣбомъ заниматься. Это одно несчастье, этотъ хлѣбъ у насъ. Какъ разъ, какъ при Фараонѣ. Только не семь худыхъ коровъ, а тринадцать, и только одна тучная—а эта тучная еще хуже тринадцати худыхъ. Видѣли вы такую вещь, чтобы люди голодали отъ урожая? Слава Богу, у насъ и это есть: хлѣбъ съѣдаетъ страну. Будто мы не можемъ имѣть его изъ Америки. Вы думаете, Америка спитъ? Хорошо она спитъ; дай Богъ, чтобы мы такъ спали. А мы будемъ

торговлей заниматься. Теперь же еще мода на фабрики пошла, и я вамъ говорю, что фабрики насъ спасутъ. Но это уже политика—что вы скажете о лавкѣ?

— Опять о лавкѣ, Анчель. Вы меня совсѣмъ съ толку сбили. Сдѣлайте мое дѣло, и мы поговоримъ о лавкѣ тоже. Отыщите мнѣ полковника, генерала, кого хотите, только продайте мой домъ.

— Такъ вы не хотите лавки,—вдругъ охладѣлъ Анчель,—но вы вѣдь сами тысячу разъ мнѣ говорили, что вамъ бы хотѣлось какое-нибудь чистое, хорошее дѣло имѣть. Вы сами просили лавку...

— Да, да,—все больше разстраиваясь, отвѣтила Розенова,—но не теперь. Зайдите черезъ недѣлю, тогда у меня будетъ голова свободнѣе. Что вы думаете о покупателѣ; совсѣмъ онъ отказался?

— О покупателѣ—не бойтесь; не бойтесь, я вамъ говорю, не будетъ этотъ, найдется другой; вѣрьте Анчелю, онъ даромъ слова не даетъ.

И онъ сталъ подниматься. Розенова съ отчаяніемъ посмотрѣла на него и воскликнула:

— О, Анчель, спасите насъ; продайте нашъ домъ, продайте его, и я вѣчно за васъ буду Бога молить.

По уходѣ Анчеля Розенова понемногу впала въ оцѣпенѣніе. Ей хотѣлось летаргій, сна, сумасшествія, лишь бы не сознавать настоящаго. Все о дѣлахъ, все о заботахъ, когда же наступитъ покой?

Она проспидѣла долго, не трогаясь, какъ истуканъ, полуобмершая, полубодрствовавшая, чувствуя и не чувствуя, созная и не созная, въ странномъ кошмарѣ безъ времени, безъ мѣста; она думала о всемъ и ни о чемъ, о банкѣ и объ обѣдѣ, о своей юности, о своей старости и не замѣтила, какъ мужъ очутился подлѣ нея, тронулъ ее за плечо и произнесъ:

— Ты спишь, Соня? Какъ мы несчастны!

Она быстро вскочила на ноги и, взглянувъ на почернѣвшее, точно у долго лежавшаго трупа, лицо его

съ позеленѣвшими краями губъ и вылѣзшимъ впередъ подбородкомъ, сгорбленнаго, она воскликнула, еще не приходя въ себя:

— Что такое? Что-нибудь случилось?

Она быстро стала разглаживать руками лицо и глаза и вдругъ все вспомнила.

— Банкъ, банкъ, — шопотомъ произнесла она, — а съ маклеромъ не выгорѣло.

— Банкъ, Соня, — тихо проговорилъ старикъ, — банкъ, — повторилъ онъ громче. — Это гнѣздо разбойниковъ. Они выдаютъ 4 тысячи, слышишь, 4 тысячи, Соня, и мы теперь пропали. Пропали мы, Соня, и теперь уже нашъ конецъ пришелъ. Пропаль Розеновъ, пропаль.

У него затряслось лицо, и губы, и поздри запрыгали, какъ въ агоніи. Надвинувъ шляпу на лобъ, одѣтый въ пальто нараспашку, съ мучительными каплями пота на лбу, не выпуская изъ рукъ палки, онъ сидѣлъ на стулѣ, безпомощно разставивъ ноги, и громко дышалъ.

— Нельзя быть честнымъ, — говорилъ онъ. — Люби жену, привяжись къ дѣтямъ, будь семьяниномъ. Что съ нами будетъ теперь?

Онъ все больше опускался въ своихъ глазахъ, испуганный нищетою, готовый заплакать, какъ ребенокъ.

— Кто намъ поможетъ, Соня, посмотри на меня. Я уже не человѣкъ и ты не человѣкъ — мы нищіе. У насъ заберутъ домъ...

Онъ не закончилъ и, вдругъ затрясшись въ судорогъ, огласилъ комнату какимъ-то ужаснымъ, длиннымъ звукомъ, страннымъ неопредѣленнымъ ревомъ.

Розенова вся затрепетала отъ этого звука, отъ этого родещеннаго стопа и бросилась къ мужу. Но на полдорогъ она остановилась, на мигъ задумалась и, поднявъ голову, вдохновенно закричала:

— Не плачь, не плачь, Исаакъ, я спасу все. Но



плачь, когда чаша переполнилась, не плачь, когда уже не видно спасенія. Это указаніе на то, что должно, должно наступить хорошее, такъ какъ хуже уже не можетъ быть.

— Что ты говоришь, Соня, какое хорошее?

— Молчи, молчи. Довольно мучиться, довольно быть честными. Я не хочу больше: я терпѣла твои клупости, пока ты не дошелъ до конца; теперь моя очередь... Если имѣешь семью—то нечего думать о честности, а нужно умѣть жертвовать собой... Не спрашивай, ты увидишь самъ. И Богъ, и люди меня оправдаютъ за это... Я добромъ все искуплю потомъ... Не спрашивай меня, я прошу тебя. Я все спасу.

Она говорила точно полоумная, обрываясь и путаясь и вдругъ раздражаясь.

— Дѣти меня не обвинять, ибо я для семьи это дѣлаю, а для семьи вѣтъ большой жертвы. Не поймутъ они теперь, поймутъ послѣ, когда у нихъ своя семья будетъ... Мать должна быть матерью. Если бы они пошли такъ, какъ я ихъ учила, если бы они не были виновны—было бы лучше для нашего покоя, но Богъ не хотѣлъ этого, и пусть будетъ Его воля. Но я не могу не спасти ихъ.

Старикъ слѣдилъ за ней испуганными глазами, стараясь догадаться, что она задумала. Внезапно страшное подозрѣніе мелькнуло въ его головѣ.

— Соня,—крикнулъ онъ дрожа,—не посмѣй отважиться. Что ты только задумала! Развѣ ты не знаешь, что за это слѣдуетъ? Раздумай, Соня, раздумай.

Она вздрогнула.

— Э, оставь меня. Будто каторга здѣсь, дома, лучше? Развѣ я не каторжникъ цѣлые 15 лѣтъ? Но я не дура, меня не понимаютъ.

-- Но, тыпустишь бѣдняковъ по міру, ты послѣднее у нихъ отнимешь. Развѣ Богъ не смотритъ на насъ?

-- Оставь меня. Развѣ у насъ не отнято послѣднее,

а Богъ допустилъ. Это нужно, нужно. Я потомъ этихъ обѣдниковъ осчастливлю...

— Боже мой, раздумай, заклинаю тебя. Подумай о себѣ, о дѣтяхъ. Что съ тобой будетъ, если тебя увидятъ?..

— Ты еще ребенокъ, Исаакъ. Женщину не понимаютъ, если она спасаетъ свою семью.

Розеновъ закрылъ лицо руками и опустилъ голову.

— Ну, и я съ тобой,—неожиданно поднялся онъ,—гдѣ ты, тамъ и я буду.

— О, цѣтъ,—отвѣтила Соня,—такое дѣло только я одна должна совершить.

И повернувшись на западъ, она горячо начала молиться своему Богу.

## XII.

О рѣшеніи Сони старики больше не говорили. На слѣдующее утро они, какъ всегда, сидѣли за утреннимъ чаемъ. Розеновы сидѣли одни, и все вокругъ нихъ застыло. Павка и Борисъ своимъ лепетомъ нарушали угрюмую тишину, но въ сердцѣ стариковъ веселость дѣтей звучала болѣзненно. Что ожидаетъ ихъ въ будущемъ? Пойдутъ ли они по стопамъ старшихъ, разбѣгутся ли, каждый въ свою сторону, лишь ставъ на ноги? Или, взявъ стариковъ за руки, они пойдутъ съ ними пога въ ногу, какъ отцы шли съ дѣдами?

Исаакъ не хотеть объ этомъ думать, но осиротѣлая столовая, въ которой не слышно голосовъ старшихъ—молчаніе Сони, углубленной въ свои думы, беспильный смѣхъ Павки и Бориса не даютъ покоя старой головѣ. Почему они обѣднѣли, почему? Почему семья разстроилась? Почему Соня пойдетъ на это дѣло? Кто правъ, кто виноватъ?

И онъ напрягаетъ свой мозгъ и думаетъ, думаетъ.

— Что же это Лева не встаетъ,—разбудилъ его голосъ Сони,—или онъ думаетъ, что я второй самоваръ

буду для него ставить? Поиду посмотрю, что онъ дѣлаетъ.

Она вышла и чрезъ минуту вернулась, удивленная и испуганная.

— Какъ тебѣ правится, Исаакъ? Левы вѣдь нѣтъ дома. Когда же это онъ вышелъ? На кровати я нашла какое-то письмо. Посмотри-ка, что это такое?

Она протянула Исааку конвертъ и съ удивившимъ ее самое любопытствомъ стала ждать, чтобы старикъ началъ читать. Розеновъ съ безотчетнымъ дурнымъ предчувствіемъ вскрылъ конвертъ, бросилъ взглядъ на первыя строки и, вдругъ поблѣднѣвъ, упалъ на стулъ, какъ подкошенный.

— Что случилось, — затряслась Соня, — еще что-нибудь новое, еще несчастье?

Молчаливымъ движеніемъ Исаакъ указалъ ей на письмо.

— Ну что же, что тамъ въ этомъ письмѣ, читай же скорѣй. Развѣ ты хочешь, чтобы я умерла?

Розеновъ взглянулъ на нее и задрожалъ: долго ли она протянетъ еще?

Онъ взялъ письмо и размѣреннымъ дрожащимъ голосомъ началъ читать:

„Отецъ. Я знаю какое огорченіе доставить тебѣ мое рѣшеніе, но я все-таки не могъ уйти, не постаравшись хоть объяснить тебѣ причину его. Быть можетъ, позже, когда ты успокоишься и начнешь холоднѣе относиться къ своему несчастью, строки этого письма, къ которымъ ты привыкнешь, объяснять тебѣ то, что ты сегодня еще не понялъ, и ты раскаешься въ своемъ проклятіи, которое теперь навѣрно пошлешь мнѣ. Но дай пройти острой боли, которую я невольно причиняю тебѣ, и тогда завѣсь мое рѣшеніе, тогда суди. Впрочемъ, не подумай, что я хлопочу о себѣ: я предлагаю тебѣ это, какъ самое разумное; если же ты не можешь иначе, — прокляни для

своего облегченія. Для меня твои проклятія и твое благословеніе одинаково не имѣютъ значенія.

„А теперь къ дѣлу. Сегодня вечеромъ я съ Михайловымъ уѣзжаю отсюда. Ты спросишь куда? Тебѣ это не зачѣмъ знать, отецъ. Почему? Это другой вопросъ. Я уйду потому, что дальше не могу и не хочу вести тотъ образъ жизни, который я велъ до сихъ поръ.

„Я знаю, что ты сейчасъ же выдвинешь свое послѣднее орудіе защиты, которое ты всегда выдвигалъ въ пужныхъ случаяхъ. Ты начнешь съ того, что напомнишь мнѣ мои обязанности предъ семьей, ты покажешь мнѣ свои израненныя руки и надломленную спину, которыя работали для меня въ теченіе 18 лѣтъ моей жизни, ты будешь требовать уплаты моего долга предъ семьей, ты постарайся растрогать меня, указавъ на слабую, болѣзненную мать, на Павку, на Бориса, на Мотю, о которыхъ нужно вѣдь кому-нибудь позаботиться, ты будешь упрекать меня въ эгоизмъ, въ желаніи добиться только того, что мнѣ пріятно, что я считаю хорошимъ, а не ты. Нѣтъ, нѣтъ, старыя сказки, отецъ, старыя сказки. Если ты захочешь на минуту быть безпристрастнымъ, если ты захочешь внимательно разобраться въ требованіяхъ, которыя ты навязываешь мнѣ, если ты захочешь спокойно выслушать меня, ты поймешь, что не правъ.

„Скажи, отецъ, почему я, сынъ, обязанъ, ставъ на ноги, отдавать всѣ свои силы на служеніе семьѣ. Почему? Конечно, ты не скажешь мнѣ, что такъ дѣлали ты, твой отецъ, всѣ сыновья въ мірѣ. Нѣтъ, ты скажешь мнѣ такъ: „Мать проливала кровь, когда рожала тебя, страдала, пока вскормила, я трудился на тебя, одѣвалъ, училъ; ты скажешь, я воспиталъ тебя, болѣлъ за тебя, я не оставилъ тебя, когда ты былъ безпомощнымъ, всю мою жизнь я посвятилъ тому, чтобы поставить тебя на ноги, дать тебѣ будущее“. Вотъ, отецъ, то, что ты далъ мнѣ. Чего же ты требуешь въ обменъ за эти годы труда, хлопотъ, страданій? Ты требуешь любви, привя-

запности, помощи въ бѣдѣ, опоры въ старости, достиженія нами тѣхъ твоихъ цѣлей, которыя ты намѣтилъ намъ, ради которыхъ ты жертвовалъ всѣми своими силами. Хорошо, отецъ, все такъ—но правъ ли ты—это другой вопросъ.

„Да, мать мучилась со мной, ты работалъ на меня, но приходила ли тебѣ когда-нибудь мысль, что всѣ эти заботы и труды, потраченные на меня, дѣлались безъ моего участія, безъ моего желанія, безъ сознательно выраженнаго требованія съ моей стороны. Ты вѣдь также легко могъ бы бросить меня на произволъ судьбы, и я бы также мало могъ воспротивиться этому, какъ и твоему уходу, присмотру. Но ты предпочелъ трудиться на меня, потому что въ этой работѣ главнымъ образомъ было дѣло твоей жизни.

„Приходило ли тебѣ въ голову, что если бы я умѣлъ относиться сознательно ко всему въ тотъ періодъ, то, быть можетъ, я не принялъ бы ни твоихъ заботъ, ни твоихъ трудовъ, какъ я не хочу принять ихъ теперь? Ты скажешь: это не важно, все же я свою жизнь посвятилъ тебѣ. Нѣтъ, отецъ, это важно и въ этомъ все наше недоразумѣніе. Дѣйствительно, я на своей совѣсти имѣю потраченный на меня трудъ, но трудъ, который я не требовалъ, а который былъ мнѣ навязанъ и именно то, что потраченный трудъ, лежащій на моей совѣсти,—навязанный трудъ. должно устранить наше недоразумѣніе. И я, и ты, оба мы признаемъ, что я обязанъ тебѣ—но въ то время, какъ ты думаешь, что можешь и въ правѣ указать мнѣ мои обязанности, я отвѣчаю тебѣ, что только я могу дать имъ содержаніе, а не ты!.. Ты ничего не можешь требовать отъ меня, ты не въ правѣ требовать; въ моемъ долгѣ, невольнo взятомъ на себя, я—судья, я назначаю возмездіе, и каково бы ни было мое рѣшеніе, ты не только вынужденъ, но и обязанъ подчиниться ему, какъ я подчинялся до сихъ

поръ тебѣ. Отецъ, дорогой, я люблю тебя, но позволю мнѣ любить тебя по-своему, какъ я умѣю.

„Теперь ты спрашиваешь себя: откуда онъ пришелъ къ намъ, онъ, котораго я считалъ до сихъ поръ сыномъ, онъ—чужой, онъ, жившій въ моемъ домѣ. Какъ онъ образовался въ нашей дружной семьѣ? Дружная семья, отецъ? Ужели ты еще до сихъ поръ убаюкиваешь себя этой сказкой? Кто дружны? Ты, мать и еще кто? Яковъ твой? Нѣтъ, Яковъ не твой, Давидъ не твой, я не твой и даже Мотя, приглянись къ нему, онъ уже тоже не твой. Семья, отецъ, распадается и никакія силы не могутъ помѣшать этому. Старое зданіе, которое держится на сгнившихъ столбахъ, неизбежно должно распасться; то же произойдетъ въ современной семьѣ. Мы съ тобой очутились въ періодъ распада и нужно покориться. Правда, семья еще существуетъ, она еще попытается выжить, но она осуждена. Она должна разрушиться. Не будемъ же мы съ тобой пытаться поддержать ее, уступимъ дорогу неизбежному.

„Какъ я образовался въ нашей дружной семьѣ? На этотъ вопросъ мнѣ трудно будетъ отвѣтить. Я росъ одинокимъ, сначала съ моими книгами, а потомъ съ товарищами. Когда я пробудился, я былъ весь въ цѣпяхъ. Цѣпи были на рукахъ, цѣпями были связаны мои мысли, мои желанія. Вначалѣ онѣ не тревожили, — онѣ были слишкомъ привычны,—но позже, когда и я началъ яснѣе понимать, онѣ стали стѣснительны и мучили меня. Ни одна интересовавшая меня вещь не могла быть безнаказанно затронута мною; цѣпи не разжимались, причиняли мнѣ боль, и я невольно останавливался; не понимая еще ясно причины своего колебанія, своихъ мученій. Позже я понялъ и выбросилъ этотъ ненужный багажъ, которымъ меня нагроутили тогда, когда меня можно было всѣмъ нагрузить. Я все подвергъ критикѣ и къ себѣ самому сталъ относиться недоувѣрчиво, какъ къ врагу, и не жалѣя разрушалъ въ немъ все, что я

не находить достаточно обоснованнымъ, разумнымъ. Ты требовалъ моего повиновенія—почему? Ты требовалъ почтенія, любви, преданности, почему? Ты требовалъ отъ меня идти той дорогой, а не иной, говоря, что счастье тамъ, а не здѣсь,—почему? Почему, почему и почему,—въ этомъ, кажется, была вся сущность періода моего пробужденія. Что было дальше? Подъ вліяніемъ книгъ и товарищей я началъ отыскивать свое мѣсто среди людей, я попытался разобрать отношенія людей между собою, я сталъ выплывать въ жизнь. У меня появились вопросы, какимъ образомъ я, человѣкъ, равный всякому другому человѣку, считаюсь почему-то ниже одного, выше другого; почему я удовлетворяюсь меньше одного, больше многихъ; почему я тружусь меньше многихъ, почти совсѣмъ не тружусь? Тебѣ, отецъ, эти вопросы кажутся праздными, такъ какъ у тебя—забота о хлѣбѣ, о семьѣ. Но почему же, отецъ, ты, работая теперь до истощенія силъ, едва можешь выработать на пропитаніе въ то время, какъ тутъ же рядомъ, подлѣ себя ты наблюдаешь полное удовлетвореніе всякой потребности, всякой дури, пришедшей въ голову безъ капли потраченного труда на это? Почему? ты спрашивалъ себя объ этомъ? Вѣдь это тебя близко касается. Ты скажешь мнѣ, что я говорю пустяки слова, что тебѣ нужно только заработать и пусть каждый думаетъ о себѣ. Нѣтъ, отецъ, то, что я спрашиваю у тебя—не пустяки слова, это имѣетъ самое близкое отношеніе ко мнѣ.

„Но самъ ты, ты, который не признаешь вопросовъ, какъ ты поступаешь? Что дѣлаешь ты, оставшись одинъ среди обломковъ вчерашней семьи? Ты развѣ не думаешь, не ищешь, не спрашиваешь? Развѣ твоя бѣдная голова не хочетъ найти причину распада семьи, почему мы всѣ разбрелись? Это ты не называешь пустыми словами, ты считаешь это самымъ насущнымъ вопросомъ. И ты правъ, отецъ, для твоего счастья, для твоего покоя, необходимо разрѣшить вопросъ, иначе тебѣ и жить

нелзя. Кто правъ, спрашиваешь ты себя, я ли, жившій жизнью преданнаго раба, преданнаго слуги, я, жертвовавшій безъ оглядки здоровьемъ, силою, я, ради семьи вступавшій часто сознательно и безсознательно въ сдѣлки съ совѣстью и за все предъявлявшій опредѣленные требованія къ своей семьѣ, или Яковъ, принимавшій все отъ меня, но поставившій личные интересы выше семейныхъ, или Давидъ, отдѣлившійся отъ насъ при первомъ несогласіи; права ли мать, настаивавшая на другомъ воспитаніи, правъ ли, наконецъ, я, пишущій тебѣ это письмо?

„Видишь, отецъ, не всегда можно думать только о заработкахъ, о лучшемъ кускѣ, и я не скажу тебѣ въ отвѣтъ: „пустыя слова“ тогда, когда твоя сбитая теперь съ толку мысль бьется надъ разрѣшеніемъ мучающихъ вопросовъ. Не дѣлай и ты этого; не называй пустыми словами того, что почему-либо не находитъ въ тебѣ отклика, что въ настоящую минуту тебя не интересуетъ. Какъ я тебѣ только что повѣрилъ, такъ и ты повѣрь мнѣ, что вопросы, ставшіе передо мною, требовали не съ меньшей настоятельностью своего рѣшенія, какъ и твои.

„Что я видѣлъ кругомъ себя? Я видѣлъ, какъ ты, опираясь на чувство отцовской любви, охотно бралъ на себя обязанность работать для семьи, чтобы дать намъ возможность жить безъ заботъ, даже безъ труда. Правда, ты потомъ предъявлялъ требованія... Не то только, отецъ, меня мучило, что мы жили легко, а ты выбивался изъ силъ, меня мучилъ вопросъ о томъ, какъ это могла сложиться жизнь такъ, чтобы одинъ работалъ, а шестеро изъ семьи могли ничего не дѣлать, и все-таки мы имѣли все нужное, и даже съ излишкомъ. Какимъ образомъ оно могло случиться? Какими силами ты могъ добиться излишка въ шесть разъ больше, чѣмъ нужно было для тебя? Откуда чер-



пался этот излишек? Кто-нибудь вѣдь долженъ былъ терять?

„Съ другой стороны, что я еще видѣлъ? Я видѣлъ безъ числа людей, такихъ же, какъ и ты, которые работали не меньше тебя, но они не только не имѣли излишка для семьи, а ихъ заработокъ едва покрывалъ расходы на собственное поддержаніе. Какъ это могло случиться? Почему трудъ этихъ не оплачивался, какъ твой? Значитъ заработки не висѣли въ воздухѣ, ихъ не было въ такомъ изобиліи, что всякій могъ бы набрать, сколько ему нужно. По какому же праву ты бралъ больше, а эти люди меньше? Почему они, работая, голодали, а ты, работая, блаженствовалъ вмѣстѣ съ нами неработавшими. Не отнималъ ли ты ихъ заработокъ какимъ-нибудь образомъ, или ты могъ брать потому, что трудъ не былъ по настоящему распределенъ и гарантированъ?

„Что я еще видѣлъ? Я видѣлъ, что ты страдалъ отъ того, что у тебя не было кареты, между тѣмъ какъ сотни рабочихъ ходили безъ хлѣба; я видѣлъ, какъ другія сотни работаютъ до истощенія силъ и не только не мечтаютъ о каретѣ, но молятъ Бога, чтобы ихъ кусокъ хлѣба, добытый каторжнымъ трудомъ, не былъ отнятъ другимъ, еще болѣе несчастнымъ. Ты бросалъ на насъ тысячи и готовъ былъ сожрать весь міръ, чтобы всѣ его тысячи къ тебѣ перешли, въ то время, когда тамъ, въ глубинѣ, шла безпощадная война изъ-за куска хлѣба, и я спрашивалъ себя, кто платитъ за наши удовольствія, за нашу роскошь, за наше ничего недѣланіе? Я спрашивалъ себя, кто платитъ за всѣхъ бездѣльниковъ всякихъ сортовъ, которыхъ я видѣлъ тутъ же рядомъ, кто платитъ, кто трудится ради меньшинства, ради кучки, которая живетъ безъ труда, безъ заботъ, безъ усилія, которая пользуется всѣмъ безгранично? Я спрашивалъ себя, въ самомъ ли дѣлѣ твой трудъ, или трудъ любого изъ меньшинства настоль

производителенъ, что можетъ породить такую ненормальность, или въ этомъ явленіи кто-нибудь долженъ терять, если одинъ выигрываетъ—ибо, какъ я говорилъ тебѣ, я на каждомъ шагу встрѣчалъ трудъ тягчайшій и горчайшій, по который едва-едва прокармливалъ маленькую семью, держа ее на хлѣбѣ и чаѣ?

„Отецъ, тебя, счастливое меньшинство, кучку, кормилъ народъ. Это онъ надрывалъ всѣ свои силы, онъ изнемогалъ отъ труда, отъ болѣзней, отъ невѣжества, отъ голода, чтобы создавать богатства, которыя ты и вся кучка, благодаря существующему положенію труда, отнимали у него. Не ты, отецъ, не твой трудъ могъ насъ прокормить, не онъ могъ позволить тебѣ такую роскошь, какъ разрѣшеніе намъ годовъ бездѣлья, какъ исполненіе всякой дурнѣ, пришедшей намъ въ голову—нѣтъ, не ты, а народъ, у котораго ты вмѣстѣ съ другими отнималъ его добро, народъ, котораго ты ради насъ обездоливалъ, лишалъ хлѣба, лишалъ чистаго воздуха, дѣлалъ его больнымъ, палалъ на него заботы, во сто разъ ужаснѣйшія, чѣмъ тѣ, которыя ты испытывалъ. Ты, отецъ, и мать вѣчно, сколько я помню, только и плакались, что вамъ всего недостаетъ и тогда, когда у васъ была полная чаша; но пойди и послушай, какъ стонетъ народъ отъ нужды, какъ онъ страдаетъ отъ холода, отъ голода, отъ болѣзней, отъ непосильнаго труда, отъ неимѣнія труда, и даже ты устыдишься своихъ жалобъ. Ты въ худшее время проживалъ не меньше 2—3 тысячъ въ годъ, а внизу, въ массѣ живутъ на 80—100 рублей, и такъ живетъ большинство. Что же, отецъ, могъ ли я, долженъ ли быть я оставаться съ тобой, помогать тебѣ или пойти той дорогой, которую ты мнѣ подготовилъ? Наживать тысячи, загребать ихъ рядомъ съ тобой? Исполнять свои обязанности сына, котораго ты родилъ и воспиталъ? Ну, ты скажи, чьи интересы я долженъ быть, не колеблясь, поставить выше, твои ли, потому что мать въ

мукахъ родила, а ты трудился на меня, или его, народа, обезспленного, безпомощнаго? Въ чью пользу я могъ пожелать работать—въ твою ли, или въ его, который мнѣ дорогъ за свою безпомощность, который подавляетъ меня своими страданіями, которому я обязанъ всѣмъ, не тебѣ, отецъ, а ему, у котораго ты отнимать его добро, только потому, что онъ безпомощенъ, потому что его никто не хотѣлъ защитить? Нужно ли мнѣ тебѣ говорить о моемъ рѣшеніи?

„Да, отецъ, принимая всѣ твои заботы обо мнѣ, твой трудъ во всѣ 18 лѣтъ моей жизни, я невольно становился твоимъ должникомъ. Я не боюсь тебѣ признаться въ томъ: я твой должникъ. Но, отецъ, у меня есть еще одинъ кредиторъ, болѣе серьезный, болѣе страшный, которому я обязанъ всѣмъ, но который не требуетъ, какъ ты: „помоги, помоги“, а покорно несетъ свои несчастія. Этотъ кредиторъ — ты догадываешься кто? Это — народъ.

„Ему я посвящу свои силы, свои знанія, свой трудъ. Но какъ же съ тобой? спросишь ты у меня. Съ тобой, отецъ? Если твое благосостояніе упадетъ на столько, что ты приблизишься по своимъ нуждамъ къ народу, я буду возлѣ тебя, я буду бороться и за твое счастье, какъ и за счастье народа; это единственно возможный случай уплаты моего долга. Если ты поднимаешься — тогда ты во мнѣ не нуждаешься. Ты скажешь, этого мало, что не того ты ждалъ отъ меня. Что же, всякій даетъ, что можетъ...

„Спрашиваешь ли ты себя еще, кто правъ изъ насъ?

„Знаешь, что я скажу тебѣ, отецъ. При настоящихъ условіяхъ, всякій изъ нашей семьи поступилъ, какъ могъ, и въ прямомъ смыслѣ слова виноватыхъ нѣтъ, — всѣ правы. Ты могъ бы поставить другой вопросъ: должно ли оно было такъ случиться, не было ли возможности избѣгнуть этого распада? Я отвѣчу тебѣ увѣренно: нѣтъ, оно не могло быть иначе. Настоящая семья всегда не

сила въ себѣ зародыши распаденія, а ея идеалы, внушаемые дѣтямъ, только углубляли эту пропасть. Если она еще не погибла, то она начинаетъ уже погибать и она погибнетъ. Есть одно спасеніе отъ этого разгрома—ты его не захочешь,—это работа для народа. Если бы ты воспиталъ насъ въ этой мысли, мы бы, можетъ быть, не разбредлись, твоя жизнь была бы иной, и всѣ бы мы работали другъ подлѣ друга, связанные не зоологически, не кровной связью, которая, ты видишь, разрывается отъ перваго усилія, какъ сгнившая нитка, а общими интересами народнаго дѣла, которые посравняются съ родственными связями. Но безъ этого семья и общество, которое образуетъ эти семьи, должны разрушиться. Это неизбежно, какъ день послѣ ночи.

„Прощай, отецъ. Мнѣ тяжело,—но нахожу силу въ своей правотѣ. Я постарался все сказать тебѣ. Понялъ ли ты меня? Ты не понялъ, но я не отчаиваюсь; паступить день, когда ты поймешь меня, и какъ радостна будетъ наша встрѣча. Я вѣдь такъ люблю тебя. Пока, если можешь, прости меня. Прости меня, я не виноватъ, что долженъ сдѣлать тебѣ такъ больно. Поклонись матери, которая, я знаю, никогда не проститъ мнѣ.

Твой Лева“.

Во время чтенія Соня нѣсколько разъ порывалась раскричаться, завопить такъ, чтобы весь міръ услышалъ ея горе, но Розеновъ движеніемъ руки останавливать ее. Но когда окончилось чтеніе и старикъ, держа въ рукахъ письмо, нѣмой отъ ужаса, посмотрѣлъ на нее, она не выдержала и заголосила:

— Ты, ты виноватъ, ты своимъ ученіемъ оторвалъ его отъ насъ. Лучше бы онъ умеръ еще тогда, когда я посылала его!

Она положила голову на руки, лежавшія на столѣ, и зарыдала тѣмъ слезами, которыя лишены словъ, смысла, чувствъ. А Розеновъ, вытянувъ худую шею и

сгорбившись, засмотрѣлся въ одну точку, точно прицѣпившись къ ней, и беззвучно шепталъ: — „Несчастный, несчастный“.

### XIII.

Во дворѣ дома Розенова было тихо. Завернувшись въ теплую шаль, которая нарочно крѣпко была привязана на спинѣ, чтобы не стѣснять движеній, Розенова уже два часа сидѣла невидимая, притаившись за кучей разрубленныхъ дровъ, сложенныхъ въ правильные ряды въ углу двора. Движеніе въ домѣ все еще не прекращалось, хотя уже пробило десять часовъ вечера. Изъ многихъ квартиръ сквозь скважины ставень прорывались струйки свѣта, и то отсюда, то оттуда доносился пёсанный говоръ, напоминавшій жужжаніе въ ульѣ.

Розенова, сидя неподвижно въ своей засадѣ, почувствовала, какъ у нея начала отекаетъ нога, какъ то же непріятное ощущеніе появилось въ другой ногѣ; отъ непривычной боли она стала терять терпѣніе. Настроеніе ея, вначалѣ изступленное и горячее, послѣ двухчасовой муки медленно переходило въ какое-то отупѣніе, и мало-по-малу она начинала забывать, за какимъ дѣломъ она явилась въ домъ, почему она сидѣла, спрятавшись за кучей дровъ, почему она не у себя, тамъ, откуда она пришла? Она дрожала отъ холода, порываясь по привычкѣ щелкать зубами, но изъ боязни, въ которой она себя теперь не отдавала отчета, до боли сжимала челюсти, чтобы не издать звука.

Съ той минуты, какъ она рѣшилась ради спасенія семьи поджечь домъ, она уже не принадлежала этой семьѣ до тѣхъ поръ, пока ея дѣло не будетъ окончено.

Точно загипнотизированная она обдумывала свою мысль, отбросивъ всѣ заботы, заранѣе учитывая будущее счастье, будущій покой.

Первая боль отчаянія и сумасшедшій ужасъ предъ тѣмъ, что ожидало Леву—все скоро прошло, уступивъ мѣсто прерванному настроенію. Она лишилась двоихъ дѣтей, по развѣ не оставалось еще четырехъ, которыя ждали ея помощи? Развѣ не оставалось старика, который умѣлъ только плакать и стонать? Развѣ не оставалось на ея плечахъ цѣлой семьи, которая готова отъ нищеты разбрестись? Пусть исчезли двое; она будетъ думать, что они умерли, но за то новыя, молодые, будутъ воспитаны иначе и пойдутъ той дорогою, которую она имъ укажетъ. Не будетъ больше ученій и вмѣствъ съ нимъ этого проклятаго яда, который разрушилъ ея жизнь.

Она осторожно повернулась на своемъ мѣстѣ, радуясь жалобному вою вѣтра, вдругъ сорвавшемуся съ крыши и деревьевъ, и думая, что самъ Богъ посылаетъ его въ помощь. Постепенно она начала оживать, разбуженная своими мыслями, и вся уже дрожала отъ горячечныхъ неистовыхъ мечтаній.

Черезъ минуту вся эта рухлядь, весь этотъ соръ загорится, и здѣсь, на этомъ кострѣ, подожженномъ ея руками, погибнетъ старое несчастье, отъ котораго она не могла избавиться столько лѣтъ. Она услышитъ крики, вопли, плачь о помощи, тѣ же звуки, которые вырывались изъ ея груди, когда она предостерегала дѣтей отъ ошибокъ, когда она впервые перешла изъ мягкой кровати на желѣзную, жесткую, когда она схватывалась по утрамъ въ дикомъ страхѣ, спрашивая себя, какъ она уплатитъ кредиторамъ—тѣ же звуки въ несчастьи, которые такъ похожи другъ на друга, и этотъ печальный сигналъ дать ей вѣсть о томъ, что ея счастье вернулось. Потомъ она употребитъ свою жизнь на добрыя дѣла, всю, всю свою жизнь она не перестанетъ уплачивать этотъ долгъ, но теперь...

Она чувствовала, какъ къ ея сердцу точно подступать раскаленный свинецъ и сжигалъ ея непреклон-

постъ, ея скопленный гнѣвъ, заставляя вдумываться, жалѣть этихъ ни въ чемъ неповинныхъ бѣдняковъ, которыхъ она сейчасъ разорить, и которые не менѣе несчастны, чѣмъ она. Не менѣе несчастны... Пусть она не думаетъ, что здѣсь живутъ счастливыя матери, счастливые отцы, пристроенныя дѣти, обезпеченные дни, натопленные комнаты, неголодные рты. Пусть она не думаетъ, что здѣсь не знаютъ послѣдняго отчаянія, что изъ-за него и отсюда люди не идутъ на преступленія, только въ другомъ мѣстѣ, при другихъ условіяхъ.

Она сжала съ тоской голову, впервые взгляды въ темноту, скорбная, но неумолимая съ своими стиснутыми губами, точно вѣстникъ смерти, готовая сорваться, чтобы начать разрушать.

Думала ли она когда-нибудь, что судьба приведетъ ее сюда, въ этотъ домъ, который она въ счастливые дни не хотѣла знать, и который долженъ будетъ сдѣлаться ея оплотомъ, ея единственной опорой? Думала ли она, снилось ли ей когда-нибудь, что наступитъ день, когда ей придется выкрасться изъ своего дома и побѣжать сюда поджидать, спрятавшись за кучей дровъ, чтобы совершить преступленіе собственными руками?

Ее охватила жалость къ себѣ, столь обиженной во всемъ, и слезы, долго ожидаемая, прорвались изъ ея глазъ.

И въ этой угрюмой тишинѣ, подъ свистъ и крики разыгравшагося вѣтра, это одинокое существо, слившееся съ темнотой, страстно плакало о настоящемъ, плакало о будущемъ, безъ словъ умоляя о помощи, о сожалѣніи, чтобы шаги ея направлялись къ добру, къ хорошему.

Темная ночь, безъ признака свѣта на небѣ, точно черное покрывало, нависла надъ землею. Въ тревожномъ воображеніи Розековой угрожающія видѣнія складывались и мѣнялись передъ ея глазами, и она со страхомъ наблюдала, какъ въ квартирахъ исчезалъ огонь. Кладбищенская тишина подсказывала ей мысли о могилкахъ,

о мертвецахъ, о тѣхъ безпокойныхъ грѣшныхъ душахъ, которыя и послѣ смерти не имѣютъ покоя и въ темныя ночи прилетаютъ къ роднымъ мѣстамъ, чтобы стонать о прошлой жизни. Ей чудились дивныя хоры могильныхъ голосовъ и голосъ грознаго Судіи, призывавшаго къ отвѣту прѣступныя души. Она слышала топотъ ихъ ногъ, шелестъ савановъ подлѣ себя, затхлый удушливый запахъ сгнившей земли, и жажда огня, свѣта, большого огня, большого свѣта еще больше овладѣвала ею. Пусть не тревожатъ ее эти видѣнія, ибо если нужно спасти семью, то и Богъ проститъ.

„Проститъ, проститъ“, донеслось до нея точно вѣтромъ, и твердыми шагами она вышла изъ своего убѣжища.

Во дворѣ было тихо; ея собственные шаги почудились ей скрипомъ дверей. Съ упавшимъ сердцемъ она съ минуту постояла не шелохнувшись, не зная, что ей дѣлать. Гдѣ-то лѣниво пробило одиннадцать часовъ, и она сказала себѣ, что пора. Вѣтеръ свиистѣлъ вокругъ нея и точно зубами тащилъ ее за платье, чтобы она скорѣе шла, чтобы перестала медлить. Она схватила юбку руками и лѣниво двинулась, думая, что успеетъ еще обдумать: поджечь или не поджечь.

Проходя мимо, она съ тоской оглядывала жалкія двухъ-этажныя строенія, окружавшія пустой дворъ, и сердце ея сжалось отъ горечи.

— Ты, Ты, Господи, виновать,—страстно прошептала она,—Ты вѣдь меня этими путями, Ты наставлялъ мою руку.

Она съ сдержаннымъ гнѣвомъ посмотрѣла вверхъ, гдѣ было такъ же темно, какъ и въ ея сердцѣ, и опять медленно двинулась къ противоположному строенію, думая, что, можетъ быть, еще найдется, случится такое чудо, которое отвергнетъ ея руку. Но чудо не совершилось, и съ тяжелой досадою, точно обманутая въ своемъ ожиданіи, она прошла еще нѣсколько шаговъ.

О, семья, о, дѣти... Нуженъ ли худшій палачъ для



человѣка. Всю жизнь топоръ висѣть надъ ея головой, пока изъ всеѣ силы не опустился на ея шею... Она подумала о мужѣ, и ей сдѣлалось такъ больно, что она крикнула:

— Но, Господи, чего же Ты молчишь, покажи, покажи, наконецъ, Свою руку, покажи Свою милость, дай мнѣ увѣровать въ Тебя, благословлять Твое имя!

Она уже стояла у деревянной лѣстницы, которая вела на чердакъ, заполненный сѣномъ, и съ минутой помедлила. Все молчало; только вѣтеръ нетерпѣливо рвался и гудѣлъ, точно жаждалъ позабавиться съ огнемъ. Розѣпова поднялась наверхъ, все время молясь своему жестокому и возлюбленному Богу, котораго она теперь ненавидѣла со всеѣ силой невольнаго преступника, и забравшись въ средину разваленной кучи сѣна, вынула изъ кармана спичку, зажгла ее и съ закрытыми глазами бросила передъ собою...

Она еще успѣла замѣтить, какъ свѣтлый огонекъ пробѣжалъ поспѣшно по вздрогнувшему ряду верхней кучи, она еще успѣла почувствовать первую волну тепла, пахнувшего ей въ лицо и руки, но она не помнила, какъ ей удалось невредимой очутиться внизу.

— Скажутъ, что пивозчикъ папиросу бросилъ, — подумала она, стоя у открытыхъ воротъ, но точно очарованная, не умѣя переступить ихъ.

И вдругъ ей сдѣлалось легко, младенчески свѣтло на душѣ.

— Домой, домой, — прокричала она про себя, — домой, безумная, не оставайся здѣсь. Теперь всѣ спасены; слава Богу, слава великому Богу.

Она смѣло переступила ворота и имѣла терпѣніе, силу воли пройти не торопясь и не оборачиваясь первый кварталъ. На углу она остановилась и оглянулась. Что-то красное иногда сверкало вдали. Она понюхала воздухъ, и почувствовавъ, что пахнетъ дымомъ, повернулась и побѣжала, что есть духу домой...

## XIV.

Огонь дѣлалъ свое дѣло. Съ необычайной быстротой онъ обжигалъ всѣ углы чердака, зажигая по пути разсыпанные клочья сѣна, жадный, неумолимый.

Когда обгорѣли верхніе слои и охватило крышу, изъ раскрытаго окна чердака повалилъ тяжелый, черный дымъ, тотчасъ же поглощаемый разъяренной пастью вѣтра. Но дымъ не унимался и валилъ тучами, безпрестанно и равномерно, пытаясь установить длинную струю, которую подхватывалъ завывавшій вѣтеръ, на мгновеніе разстилалъ тонкимъ полотномъ и тутъ же разрывалъ на тысячу кусковъ, разметая ихъ по двору. И пока продолжалась у окна эта борьба между двумя стихіями, огонь, охватившій деревянную крышу и усиленный красными языками разгоравшагося сѣна, уже забирался въ сухія балки, проникая въ ихъ сердцевину. И онъ разгорался, краснѣли, шипѣли, напѣвая дикую пѣсню... Потомъ захватились и нижніе слои сѣна, и огонь перешелъ къ потолкамъ. Словно дрожь пробѣжала по всему флигелю, когда загорѣлись всѣ его части...

Взбѣсившійся вѣтеръ гудѣлъ надъ домомъ долгими томительными завываніями, слѣпо ударялся грудью о его стѣны и разносилъ вылетавшія искры, озарявшія печальнымъ свѣтомъ мертвую темноту. И это красное, горящее несчастье, угрожавшее смертью мирно спавшимъ людямъ, эта слѣпая, неподкупная, огненная гроза, разыгравшаяся надъ головой ни въ чемъ неповинныхъ бѣдняковъ, насильно заставляла думать о той божественной справедливости, по которой невинные обязаны искупить грѣшныхъ...

Ветхая, полустлѣвшая крыша, пока еще держалась, ежеминутно готовая сорваться съ своихъ раскатенныхъ гвоздей, и въ прогорѣвшія мѣста ея свободно врывался холодный вѣтеръ, одушевляя замиравшій подъ пепломъ огонь. Обожженная земля, лежавшая надъ потолкомъ

зданія, еще боролась со стихіей, отставная подгнившія, неуклюжія балки старинныхъ построекъ, и до слухъ поръ ни одно человѣческое существо не подозрѣвало о приближавшемся несчастіи. Но когда огонь подобрался къ сосѣднему флигелю, когда сильнымъ порывомъ вѣтра съ грохотомъ сорвало часть крыши, полетѣвшей во дворъ, словно гигантская огненная птица, вопли страха и отчаянія вдругъ раздались со всѣхъ сторонъ.

Изъ зіяющей пасти горѣвшаго дома вырывались красныя тучи и видно было, какъ надъ ними зловѣще кружилъ черныи дымъ, подымавшійся надъ дворомъ. По краямъ крыши, словно въ дни торжества, зажглись веселые огоньки, освѣтившіе страшнымъ, таинственнымъ свѣтомъ эту картину разрушенія, которая выдѣлялась изъ слѣпой темноты и страшнаго холода; какъ пріютъ ликовапія, тепла и радости. При каждомъ толчкѣ, точно по чьему-то приказанію, свѣтъ исчезалъ, и наступавшій на мгновеніе мракъ порождалъ отчаяніе; мгновеніе уходило — и появившійся въ другомъ мѣстѣ свѣтъ измѣнялъ картину, придавая ей новое фантастическое очертаніе, но уже угрожающее, гнѣвное. Центральныи огонь разросался все шире, отбрасывая неуклюжія тѣни на улицу, въ широкии дворъ, заполненный дрожавшими отъ холода людьми. Среди этой суматохи вопли отчаянія женскихъ голосовъ и дѣтей, плакавшихъ отъ горя и страха, наводили папику на распоряжавшихся мужчинъ, которые метались, какъ полоумные, по двору, не чувствуя холода, хотя они были безъ сюртуковъ, босые, въ одномъ бѣльѣ.

Въ наступавшей изрѣдка тишинѣ можно было слышать зловѣщій звонъ и грохотъ спѣшившей помощи, а кучка постороннихъ, ни вѣсть откуда собравшихся любопытныхъ, кричала съ улицы о ея приближеніи. Въ другомъ концѣ двора, населенномъ частью болѣе состоятельной, чѣмъ эти бѣдняки, вопившіе въ отчаяніи посреди двора о разореніи, о смерти, и почти не пѣвшіе

что спасать—шла дѣятельная работа для встрѣчи со стихіей. Тяжелыя хозяйственныя вещи: шкапы, комоды, сундуки, столы, все такое добро, нѣкогда купленное путемъ жертвъ и лишеній, о какихъ не всякій имѣеть представленіе, впопыхахъ безжалостно выбрасывалось во дворъ, сваливалось въ кучу, безъ заботы о томъ, что съ нимъ сдѣлается. И старики, и молодые, и жепщины, всѣ, кряхтя и потѣя, безъ усталы перепосили на плечахъ, на рукахъ, въ одиночку, или вдвоемъ и свое, и чужое, безжалостно ломая его при первомъ препятствіи, лишь бы поспѣть убрать отъ огня.

Теперь уже горѣлъ второй флигель, ближе къ воротамъ, угрожая сосѣднему дому, и мутное пламя освѣщало цѣлую улицу, бросая столбы копоти на красныя лица людей, которые медленно отодвигались отъ дома, не будучи въ состояніи вынести адскаго жара, шедшаго отъ раскаленныхъ камней. Но все пламя сконцентрировалось пока въ первомъ, снизу до верху горѣвшемъ флигелѣ, и видъ съ улицы на эту огромную, пылавшую стѣну былъ потрясающій. Гигантскіе красные языки, казалось, взлетали, лизали и вслѣдъ бѣжали за желтоватыми тучами низко нависшаго дыма и создавали иллюзію прямолинейнаго горизонта, за которымъ изрѣдка видѣлись пловучіе зажатые міры. Подъ свистъ яростнаго вѣтра огонь нетерпѣливо заканчивалъ свое дѣло ревниво уничтожая безславную добычу, между тѣмъ какъ второй флигель уже горѣлъ неугасимымъ пламенемъ, образовавъ съ сосѣднимъ домомъ одну безформенную горящую массу. Крики, плачь, вопли все разрастались, и людямъ въ страхъ казалось, что наступилъ конецъ міра. Слышны были молитвы, проклятія невѣрующихъ, гнѣвные рыданія потерявшихъ надежду бѣдниковъ, и гулъ, точно пеходившій изъ глубины сердець вдругъ потерявшихъ все людей...

Пожарная команда нѣсколькихъ участковъ осадила храпѣвшихъ отъ скачки лошадей, и черезъ минуту

установленная помпа начала свое дѣло спасенія. Яростное шипѣніе воды, вступившей въ борьбу съ огнемъ, крики пожарныхъ, устанавливавшихъ лѣстницы въ разныхъ пунктахъ, хриплые звуки, вылетавшіе изъ горла ихъ начальника, приказывавшаго ломать крышу, сообщавшуюся съ сосѣднимъ, еще не тронутымъ домомъ, говоръ толпы, слѣдившей съ замираніемъ за этой борьбой, вой вѣтра, — все слилось въ неразборчивый, безсвязный ревъ. Но за этимъ шумомъ неслышно и невидимо въ концѣ двора происходила другая драма, — не менѣе потрясающая, человѣческая драма, — шла расплата за чужую нужду.

Розеновы, извѣщенные о пожарѣ, стояли въ сторонѣ, окруженные пострадавшими, образовавъ отдѣльную кучку, которой, казалось, не было дѣла до того, что дѣлалось у воротъ. Старикъ былъ блѣденъ, дрожалъ отъ страха, и сердце его разрывалось отъ жалости.

— Такъ, такъ, — думалъ онъ, — несчастье влечетъ за собою преступленіе, иначе и быть не можетъ.

Съ ужаснувшимъ его отвращеніемъ къ самому себѣ онъ оглядѣлъ эту кучу знакомыхъ, но теперь искаженныхъ лицъ, такъ вѣрившихъ въ его честность, которые ни одной минуты не могли заподозрить его. Предъ нимъ стоялъ мясникъ Зейлингъ и что-то говорилъ, жаловался, и голосъ его прерывался отъ слезъ. Онъ выкладывалъ тутъ передъ людьми, предъ небомъ свою жалкую повѣсть страданій. У него была семья изъ семи человѣкъ. Старшій сынъ, помощникъ и опора семьи, въ прошломъ году ушелъ въ солдаты. Дочь, бывшая три года замужемъ, вернулась домой, такъ какъ мужъ ея, работавшій на табачной фабрикѣ, нажилъ чахотку и умеръ, истощивъ въ конецъ силы бѣдной женщины. Она вернулась къ отцу, держа на рукахъ двоихъ дѣтей, прося помощи, пріюта, хлѣба. Какое существованіе вела эта мученица безъ вѣры въ жизнь, не жсялая этой жизни, какимъ мученіемъ было для нея жить на хлѣбахъ

у бѣднаго отца, объ этомъ знало только ея сердце, бѣдное, покорившееся сердце темнаго существа. И она стояла тутъ же, рядомъ съ отцомъ, и протягивала Розенову свои безсильныя руки...

Зачѣмъ Соня рѣшилась, зачѣмъ онъ допустилъ? Кто придетъ на помощь этимъ несчастнымъ, которыхъ самъ Богъ не пожалѣлъ, и которыхъ люди, навѣрно, не пожалѣютъ.

Въ сердцѣ Розенова подымался глухой протестъ, и гнѣвное негодованіе противъ себя грызло его душу. Пятьдесятъ лѣтъ прожить честно, не имѣть пятна преступленія на своей совѣсти и стоять теперь предъ этимъ несчастнымъ человѣкомъ, не смѣя произнести слово въ утѣшеніе.

Сапожникъ Іюйна, сѣдой старикъ, стоя подлѣ Зейлига, молилъ о своемъ, наивно думая, что одного только присутствія Розенова достаточно для того, чтобы несчастье его не коснулось. Онъ что-то быстро говорилъ, безъ жестовъ, каждый разъ вытирая глаза, на которые набѣгали слезы, а подлѣ него хриплымъ голосомъ вопила жена его, что пропали они, старики, совсѣмъ пропали, и даже задолго приготовленные саваны ихъ тоже сгорѣли, „да, да и саваны“, а трое старухъ дѣвушекъ, дочери сапожника, начинавшія сѣдѣть въ ожиданіи жениховъ, стояли, одѣтыя въ тряпье, подлѣ матери и безсмысленно повторяли вслѣдъ за нею, покачивая головами: „да, да, сгорѣли и саваны“.

Съ другого бока протолкнулся старьевщикъ Лейба, жившій въ домѣ Розенова сорокъ лѣтъ—товарищъ дѣтства Розенова. Онъ кричитъ, чтобы Розеновъ осмотрѣлъ его сверху до низу, и тащить свою жену, уже три года какъ ослѣпшую—и тащить большихъ и малыхъ оборванныхъ дѣтей своихъ, все напоказъ, чтобы всѣ люди видѣли его несчастье.

— Посмотри, Исаакъ, посмотри на мое несчастье,—кричалъ онъ,—а, Исаакъ, теперь уже ты не полѣзешь

со мной на крышу. Помнишь, какъ мы здорово лазили вдвоемъ—но это уже прошло, Исаакъ, а теперь всѣ мои вещи сгорѣли, всѣ сгорѣли, и остались только голодные рты.

Розеновъ не выдержалъ и отвернулся въ другую сторону. Ни одного враждебнаго лица: все тѣ же знакомые бѣдняки, все добряки, любившіе его, всѣ молятъ, всѣ просятъ. Вотъ перевозчикъ Юдель, у котораго лошади и повозка сгорѣли, вотъ Ривка, старая вдова, у которой кормилица корова сгорѣла, вотъ еще и еще несчастные...

Розеновъ повернулся къ женѣ и бросилъ на нее такой взглядъ, что та сразу поняла, что дѣлалось въ его душѣ. Она тѣсно придвинулась къ нему и прошептала:

— Держись, Исаакъ, держись, не допускай всего къ сердцу. Слушайся жены, слушайся ея, какъ Бога, и все будетъ хорошо.

Сѣтованія и жалобы вокругъ все росли и переходили въ какой-то плачевный вой, въ скорбное причитаніе, въ которомъ нельзя было разобраться; только видно и слышно было, что эти люди вырывали свои сердца, выбрасывали ихъ въ Божій міръ, чтобы не пропала неразслышанной ни одна жалоба, чтобы не потерялась ни одна капля страданія.

Розеновъ не раскрывалъ рта. Что онъ можетъ сказать этимъ несчастнымъ, что онъ можетъ сказать въ свое оправданіе? Что ему угрожало разореніе? Но они, эти бѣдняки, развѣ не были несчастіе его? Что у него взрослые и малыя дѣти, которыя требовали помощи? Но развѣ здѣсь не требовало того же каждое существо? Что онъ былъ старъ и слабъ и надрывался отъ работы? Но развѣ здѣсь былъ хоть одинъ цѣлый человѣкъ, одна здоровая кость, одна неусталая спина? Растрогаетъ ли онъ ихъ тѣмъ, что его бросили двое сыновей, двѣ надежды, двѣ опоры? Но развѣ здѣсь нѣтъ нужды въ опорѣ, и развѣ эти опоры не уходятъ въ солдаты, не уми-

раютъ отъ чахотки, не разбѣгаются всякими путями изъ родного гнѣзда? Развѣ печеловѣческій, бездонный трудъ позволяетъ здѣсь думать о кровной связи?

Какъ жалко, ничтожно его горе предъ этимъ огромнымъ горемъ. Какой ужасъ, совершить преступленіе на спинѣ беззащитныхъ, беспильныхъ людей.

Розеновъ схватился за грудь, чувствуя, что вотъ, вотъ онъ крикнетъ, чтобы связали его, преступника, чтобы бросили на этотъ костеръ, который онъ самъ зажегъ.

Но жена, грозная, стойкая, какъ рулевой въ бурю, смѣло направлялась къ видѣвшимся берегамъ.

Пусть не дрожитъ Исаакъ. Она, она стоитъ на стражѣ, и нѣтъ той дорогой цѣны, которой она не дала бы за спасеніе своей семьи. Довольно уже страданій, бессонныхъ ночей, страховъ, мученій. Пусть горитъ этотъ проклятый, старый домъ, ибо съ нимъ сгоритъ все ужасное прошлое. Здѣсь погибли люди, и вотъ они окружили ее, они молятъ, стонутъ,—но развѣ она мало выплакала въ жизни? Пусть каждый думаетъ о себѣ. Пришелъ ли ей на помощь въ горѣ тотъ, кто унесъ деньги Исаака, проигранныя на биржѣ, на хлѣбѣ, пришли ли ей на помощь ростовщики, высосавшіе ея мозгъ, пришли ли ее утѣшить, успокоить, когда она молила, плакала? Развѣ надъ ея семьей они не совершили преступленія? Нѣтъ, всѣ отвернулись отъ нея, всѣ отошли отъ нея, потому, что она была беззащитна. Зачѣмъ же эти стонутъ? Развѣ не всякій самъ для себя, развѣ не всякій борется со всѣми? Взялся ли кто-нибудь вернуть ей дѣтей, связать старую семью? Нѣтъ, нѣтъ, каждый думаетъ о себѣ, о своемъ углу, о своемъ несчастіи. Пусть же не жалуются эти, что она сегодня счастлива. И если бы она сегодня, обнищавшая, пришла къ этимъ людямъ, то никто изъ нихъ, стонущихъ, корки хлѣба не выбросилъ бы ей, потому что у каждого есть голодные рты, а голодные рты ожесточаютъ сердце. Но теперь, ставъ а погн, она можетъ смѣло, съ поднятой головой, смо-



трѣть всѣмъ въ глаза, и никто не посмѣетъ ее заподозрить, и каждый будетъ выпрашивать подачки, какъ просятъ эти. Быть богатой, какой другой Богъ пуженъ человѣку, какая другая сила сильнѣе богатства? Она пожертвуетъ тысячу, другую этимъ бѣднякамъ,—что это для нея значить теперь? Но зато внутри у нея, въ ея домѣ наступитъ миръ, и ея семья попрежнему подниметъ голову. Опять оживетъ Розеновъ, опять услышать про его жену, и каждый вездѣ съ честью уступить ей первое мѣсто. Опять прослыветъ Розеновъ умнымъ, и всѣ снова начнутъ спрашивать его совѣта для дѣлъ, и если каждый про себя подумаетъ, что Розеновъ поджигатель, то тѣмъ съ большимъ почетомъ, опустивъ голову, онъ дастъ ему дорогу. И оставшіяся дѣти пойдутъ по ея пути, и до смерти не будетъ заботъ. Слава Богу, слава великому Богу.

Она повернулась въ другую сторону, глухая, равнодушная къ мольбамъ бѣдняковъ, думая, что поплачетъ завтра объ ихъ горѣ, и стала караулить мужа, чтобы тотъ себя не выдалъ.

А пожаръ разгорался все больше подъ вліяніемъ нестихавшаго вѣтра и, казалось, грозилъ сжечь до корня эти дома безпредѣльной нищеты и горя. Все небо было освѣщено его пламенемъ, и видно было, какъ быстро уходили облака, зажженные по краямъ.

И точно гигантскія скорбныя руки, слетаясь и разнимаясь, столбы огня поднимались вверхъ все выше, чтобы умиловить божество, молить его о спасеніи, умиротворить его всегда карающую десницу—передавая небу своимъ горячимъ дыханіемъ огонь мукъ и страданій, сжимавшій эти бѣдныя сердца, ихъ жажду о каплѣ счастья, о кускѣ обезпеченнаго хлѣба; а между тѣмъ внизу, тамъ, гдѣ стояли уставшіе и обезсиленные люди, крики о спасеніи, плачь, стоны не переставали смѣшиваться съ воемъ вѣтра, хищнымъ воемъ праздновавшаго побѣду чудовища.

## НЕВИННЫЕ.

• (1900).

— Безъ сомнѣнія,—началь Гершонъ, отвѣчая на мысль, высказанную къмъ-то изъ насъ,—жизнь такъ сложна и мучительна, что рѣдко кто-нибудь въ состояніи противопоставить ей нѣчто сильное, могучее, исходящее изъ глубины потрясеннаго духа. Точно стальной, закаленный молотъ, мѣрно и неослабно жизнь падаетъ на человѣческую волю и, раздробляя, дѣлаетъ ее мягкой и покорной. Но бываютъ случаи, когда сдавленная чрезмѣрно, она доходитъ до предѣла своей сжимаемости, и тогда истинное величіе человѣческой души вырастаетъ вмгѣ. Нѣтъ больше стоновъ, нѣтъ слезъ. Истерзаный, измученный—но поднялся человѣкъ. И въ такую минуту, точно пелена спадаетъ съ глазъ, и еще больше дивишься премудрости Творца, слившего въ человѣкѣ воедино и малое и великое, которое никакими силами отдѣлить нельзя, но которое существуетъ и въ нужный моментъ вспыхиваетъ, какъ вспыхиваетъ искра при ударѣ желѣза о желѣзо.

Онъ обвелъ насъ всѣхъ своимъ проникательнымъ взглядомъ и началъ свой разсказъ.

— Никто изъ васъ, конечно, не зналъ той широкой и заброшенной стороны, которая нѣкогда называлась Еврейскимъ рядомъ, и гдѣ теперь раскинулась длинная и, какъ думаютъ, красивая улица съ большими высокими и новыми домами и рядами акацій по обѣимъ

сторонамъ тротуара. Но какъ теперь утверждаютъ, что улица красива, что высокіе и широкіе дома прекрасны, и люди въ нихъ превосходные, такъ и я съ своей стороны утверждаю, что Еврейскій рядъ былъ для меня красивѣйшей и пріятнѣйшей улицей въ мірѣ, что запахъ, который въ ней носился отъ одного конца до другого, казался мнѣ такимъ же ароматнымъ, какъ запахъ благоухающаго сада, и что всѣ эти бѣдняки, торговцы евреи, были для меня такъ же дороги, какъ будто они были самыми умными, красивыми и хорошо одѣтыми людьми.

Улица была широкая, какъ поле, и по ней всегда бродили мужчины и женщины, мальчики, дѣвочки, собаки, куры, гуси, утки, и все это шумѣло братски, любовно, ибо въ простотѣ своей не видѣло разницы между живыми существами. Курицъ и гусей рѣзали, собакъ душили, людей сгоняли въ кучу и другимъ путемъ не давали жить, но въ сущности это было все равно, ибо живущее подвергается и должно подвергаться гоненію, должно кричать, обливаться кровью, мучиться, и это въ порядкѣ вещей, противъ котораго ни у самаго умнаго, ни у самаго глупаго не найдется слова.

Къ этому шуму, который былъ такъ же естествененъ, какъ шумъ отъ вѣтра или дождя, съ самаго ранняго утра присоединялся шумъ отъ хедеровъ, гдѣ десятками наши маленькіе евреи изучали законъ съ такимъ усердіемъ и крикомъ, точно это должно было спасти ихъ отъ будущихъ бѣдъ,—присоединялся шумъ отъ споровъ десятка женщинъ, такъ какъ наши добрыя еврейки никогда не могли пачать утра, чтобы хоть съ ближайшей сосѣдкой не побраниться; и всѣ эти голоса, какъ много рѣчекъ въ море, сливались въ оглушающій шумъ. А надъ всѣмъ этимъ стояло вѣчное небо, кроткое и спокойное, и добродушно посматривало на насъ, своихъ избранныхъ, и снисходительно прислушивалось ко всѣмъ клятвамъ, невиннымъ обманамъ, зная, что

правда, и ложь, и крики, и мольбы, и желаніе продать выгодно, и желаніе ѣсть, все есть суета-суеть и скоро пройдетъ, и исчезнетъ, и утихнетъ, какъ все стихало, проходило, исчезало, что было хорошаго, веселаго, сквернаго и ужаснаго на этомъ клочкѣ земли, на которомъ люди считаютъ себя первѣйшими. И солнце играло и блистало надъ нами и посылало дожди самыхъ золотистыхъ и свѣтлыхъ лучей, чтобы хоть немного одушевить и принарядить наши низенькіе, старые и темные дома, и вызвать немного крови на наши съ дѣтства старческія и сѣроватыя лица, и тихо улыбалось, какъ мать, гогочущимъ гусямъ и кудавтавшимъ курицамъ, которыхъ съ крикомъ гоняли наши ребята, которыхъ съ крикомъ гоняли ихъ отцы, которыхъ съ крикомъ гоняла добрая смерть къ мѣсту вѣчнаго успокоенія. И облака тихо плыли высоко надъ нашими домами, надъ нашими криками, надъ нашей суетой и незамѣтно исчезали гдѣ-то далеко за нашимъ небомъ, какъ тихо, неслышно и незамѣтно исчезаютъ всѣ люди, сколько ихъ есть въ мірѣ.

Но подобно тому, какъ въ малой и большой лужицѣ воды на нашей улицѣ одинаково ярко отражались и курицы, и собаки, и ребята, и наши старенькіе дома, и вѣчное небо со всѣми своими прекрасными чудесами и цвѣтами, такъ и въ оторвавшемся кусочкѣ загнаннаго народа, населявшемъ дома Еврейскаго ряда, отражались борьба, заботы, радость и стремленія всего человѣчества.

У края первой улицы, подъ всегда раскрытымъ чернымъ зонтикомъ, укрѣпленнымъ на тонкомъ стволѣ засохшаго деревца, съ самаго ранняго утра во всякую погоду скромно и безшумно сидѣла худая женщина, одѣтая во все черное. Явившись, она не спѣша устанавливала въ рядъ двѣ неглубокія корзинки, на днѣ которыхъ лежали аккуратно сложенные парами черныя тулкі. Затѣмъ она вытаскивала изъ-за пазухи самую

большую пару очковъ, которые кто-либо видѣлъ, запрягала въ нихъ свой длинный и тонкій носъ, важно и строго оглядывала Еврейскій рядъ съ одного конца до другого, и когда убѣждалась, что все въ порядкѣ и каждый уже на своемъ мѣстѣ, готовый затащить длинную пѣснь дня, она доставала изъ корзинки недоработанный чулокъ и принималась съ суровымъ видомъ быстро двигать спицами. И столько величія и уваженія къ себѣ лежало въ ея строгихъ плотно сжатыхъ губахъ, такъ серьезно глядѣли большія выпуклыя стекла ея очковъ, столько печальныхъ морщинокъ лежало около ея глазъ, что самыя бойкія сосѣдки не осмѣливались безъ нужды заговорить съ ней. Такъ она сидѣла, словно каменная, съ одними живыми быстро двигавшимися руками, и даже на вопросы торговавшихся покупателей она отвѣчала, не подымая глазъ и продолжая работать.

— Тридцать копеекъ, добрая женщина, пара, ни одной копейки меньше не могу; 16, 17, 18,—считала она вслухъ стежки.—Что подѣлываетъ вашъ мужъ? Здоровъ, 13, 14, 15, слава Ему, не всѣ еврейки достойны стариться со своими мужьями, 5, 6, 7, 8; не меньше 30 копеекъ.

Ровно въ 10 часовъ утра приходила ея дочь, худенькая, вялая, съ большими черными глазами, дѣвушка, приносила чайничекъ съ чаемъ, кусокъ хлѣба, и Марьямъ принималась за завтракъ. Она пила задумчиво и молча, не спѣша закусывала, и когда трапеза кончалась, она задавала дочери неизмѣнный вопросъ, повторяемый ежедневно и съ той же особенной мягкостью, и ласковостью, которая была такъ удивительна при ея суровомъ лицѣ.

— Гершеле здоровъ?

И когда черные глаза дѣвушки движеніемъ вѣкъ отвѣчали, что здоровъ, Марьямъ запрягала носъ и, заигравъ спицами, сверкавшими на солнцѣ, какъ только что отточенные ножи, такъ погружалась въ работу, что,

казалось, была создана не для того, чтобы быть человекомъ, т. е. жить, думать, смѣяться, славить Бога, а сидѣть въ Еврейскомъ ряду и считать 1; 2, 3, 4... Мало что памѣнялось въ теченіе цѣлаго дня до вечера. Крики и шумъ понемногу стихали вокругъ нея и медленно зампрали въ невозмутимой и досадной тиши полудня; улица погружалась въ полусонное, мечтательное состояніе; сосѣдки уставшими голосами рассказывали свои исторіи другъ другу, ребятишки звонко шептались гдѣ-то въ тѣни подлѣ стѣны собаки, широко раскрывая рты, лѣнливо зѣвали и равнодушно слѣдили за хлопотавшими курицами, едва жужжали мухи, грѣясь на солнцѣ, и это оцѣпенѣніе еще больше оттѣняло унылую живучесть продавицы чулковъ. Часамъ къ тремъ-четыремъ опять, какъ вѣтеръ отъ тучъ, срывалась жизнь, и опять все приходило въ движеніе, а она все вертѣла неустанно своими единственно живыми въ этой каменной фигурѣ руками, а солнце, какъ вѣрный стражъ, мѣрно обходило большой, черныи зонтикъ, еле осмѣливаясь заглянуть въ лицо Марымъ, умѣвшей страдать тихо, безъ слезъ и безъ криковъ.

Вечеромъ она складывала работу на дво корзинки, закрывала свой зонтикъ, бросала въ послѣдній разъ испытующій взглядъ въ оба конца улицы и тихими шагами отправлялась домой.

Такъ жила улица Еврейскаго ряда, такъ изодня въ день проходила жизнь продавицы чулковъ и такъ кончался день во всемъ мірѣ, неизвѣстно для чего созданный, и неизвѣстно для чего ушедшій.

Не нужно думать, что суровая внѣшность выражала дѣйствительное состояніе души Марымъ. Подобно тому какъ вывѣска, не совершенно точно и о многомъ не упоминая, указываетъ только, что здѣсь, подѣ ней, находится лавка, такъ и наружность Марымъ говорила,

что за ней скрывается человекъ. Суровость, смѣшанная съ печалью, давала только путь, по которому догадка могла слѣдовать, но не договаривала обо всемъ прекрасномъ, что таилось въ этомъ сердцѣ, скрытомъ отъ людей. Въ дѣйствительности Марьямъ была тихая, поработанная, покорившаяся женщина, съ золотымъ нѣжнымъ сердцемъ, которое, какъ скрипка, могло издавать всѣ трепещущіе, печальные и любовные звуки, какіе когда-либо слышало человѣческое ухо. Если бы рассказать, какъ въ теченіе 50 лѣтъ терзала ее жизнь, то это была бы потрясающая повѣсть о томъ, какъ радостная, вѣчно готовая умиляться, цвѣтущая душа медленно, отъ времени до времени, сбрасывала съ себя частицы своей свѣжести, чтобы очиститься отъ суеты, которая такъ нѣмнуетъ глупаго, живого человека, забывающаго, что ему, какъ смертному, только въ памятку были даны и умъ, и сердце. Съ 16-ти лѣтняго возраста насильно выданная замужъ за человека кинги, не желавшаго вникнуть въ дѣйствительность, да еще оказавшагося чахоточнымъ, она всю свою жизнь провела въ какой-то глупой, безцѣльной борьбѣ за кусокъ хлѣба, за каплю отдыха душѣ, рукамъ, спинѣ, за все то ничтожное, чего обыкновенно лишены каждый бѣднякъ. И когда, послѣ 20-лѣтняго ада, семья растаяла, когда мужъ умеръ и отъ десяти дѣтей остались только хилая и никуда негодная здоровьемъ дочь и такой же хилый 13-ти лѣтній мальчикъ, еле державшаяся на ногахъ, она была уже совершенно притихшая, поработанная и покорившаяся. Теперь вся ея жизнь, уже не имѣвшая для нея никакой цѣны, сосредоточилась на одномъ чувствѣ любви къ этому болѣзненному мальчику, ради котораго она жертвовала безъ оглядки всѣмъ послѣднимъ, чтобы отвратить отъ него тягость существованія. Такъ же чувствовала, такъ же поступала и чахоточная дѣвушка, не видѣвшая для себя въ жизни ничего радостнаго и понимавшая, что она по какому-то странному недораз-

нiю остается въ живыхъ. Жилъ еще съ ними прадѣдъ Гершеле, старикъ 90 лѣтъ и какъ бы олицетворялъ собой живой укоръ Тому, Кто править вверху, что и старый, и никуда не годный, и составлявшiй обузу для этой семьи, онъ, какъ на зло, жилъ, жилъ и никакъ не могъ умереть, переживая сыновъ, дочерей, внуковъ, правнуковъ, жилъ, точно онъ одинъ всосалъ въ себя живучесть цѣлаго рода, а потомкамъ передалъ только крохи своего здоровья. И его жизнь была невесела, жизнь дряхлаго, никому ненужнаго человѣка, растерявшаго своихъ сверстниковъ, пережившаго всѣхъ и все, что давало смыслъ его существованiю, жизнь человѣка вѣчно согнутаго, съ окаменѣвшими позвонками, человѣка, у котораго ежеминутно мутится разумъ. Иногда онъ вспыхивалъ и съ беспильной яростью, удерживаясь отъ проклятiй, гнѣвно бормоталъ:

— Всѣхъ пережилъ, всѣхъ, всѣхъ!

А Гершеле, задумчивый, худой, съ глубокими ямами надъ ключицами, глядя на старика, спрашивалъ:

— Зачѣмъ онъ думаетъ, мать?

Въ его словахъ всегда слышались отдаленныя мысли, которыя пугали Марьимъ.

— Вѣдь онъ живой,—осторожно отвѣчала она,—а живой долженъ думать.

— Но почему онъ живой?—допытывался мальчикъ, какъ бы спрашивая самого себя.—Кому онъ нуженъ? Потому ли онъ живой, что нужно было ему родить дѣтей, внуковъ, правнуковъ и пережить ихъ? Но вѣдь въ этомъ нѣтъ смысла. Или, можетъ быть, нужно было, чтобы мы съ тобой сидѣли и спрашивали объ этомъ? Тогда тутъ другой вопросъ: зачѣмъ дѣду жить и намъ спрашивать. Объ этомъ нужно серьезно, серьезно подумать.

И поставивъ локти на колѣни, онъ клалъ голову на руки и углублялся въ свои думы, которыя были всегда



такъ странны и ужасны для Марьямъ, когда онъ ихъ высказывалъ.

— Зачѣмъ мнѣ ѣсть, мать? — спрашивалъ онъ, оставляя ѣду, и глядя на Марьямъ, сидѣвшую подлѣ него и ловившую его малѣйшее желаніе.

И по привычкѣ онъ уже складывалъ руки, чтобы положить на нихъ голову.

Но Марьямъ дѣлала умоляющіе знаки дочери, и та, отражая волненіе матери, съ притворною веселостью отвѣчала:

— Ёсть, Гершеле, нужно, чтобы быть здоровымъ; когда ты будешь здоровымъ, то вырастешь и станешь мужчиной. Тогда уже ты будешь вести дѣла, а мать отдохнетъ. Тогда, Гершеле, уже ты будешь кормить ее, какъ она тебя теперь кормитъ. Кушай, голубчикъ.

— Конечно,—прибавляла Марьямъ;—по самое главное, чтобы ты былъ здоровымъ, крѣпкимъ, какъ дѣти, которыя бѣгаютъ по улицѣ, кричатъ и смѣются.

— Зачѣмъ мнѣ быть здоровымъ, мать,—монотонно возражалъ онъ своимъ нѣжнымъ пѣвучимъ голосомъ,—и зачѣмъ нужно, чтобы ты меня или я тебя кормилъ? Какой смыслъ въ этомъ, мать? Каждый день похожъ на другой, а въ концѣ смерть. Что ты тутъ понимаешь?

— Кушай же, дорогой,—умоляла Марьямъ, дрожа отъ страха и дѣлая знаки отчаянія дочери,—ты совсѣмъ еще не начиналъ обѣда. Кушай же, радость моя!

И послѣ просьбъ, онъ принимался за ѣду, но ѣлъ равнодушно, какъ волъ жуеъ сѣно.

А когда послѣ обѣда онъ засыпалъ на своей кровати, Марьямъ знаками, чтобы не разбудить его, рассказывала дочери, какъ она дрожитъ за жизнь мальчика, какъ ее мучаютъ его мысли, его худоба, его слабость, и что только Тотъ, Кто думаетъ за всѣхъ, знаетъ, что изъ этого выйдетъ. И въ тишинѣ, какой-то святой и благоговѣйной, подъ шумъ торопливаго дыханія дѣда, который никакъ не могъ набрать въ легкія столько

воздуха, сколько ему нужно было, дѣвушка пантомимой отвѣчала, что Гершеле такой странный и дивный мальчикъ, подобнаго которому она еще въ жизни не встрѣчала. Онъ уменъ, говорили ея глаза, но быстро разсѣкавшіе воздухъ пальцы съ трепетомъ утверждали, что такіе долго не живутъ на землѣ, и что ангелы нужны Тому, Кто правитъ вверхъ.

Иногда, когда погода бывала сухой и теплой, и день предъ концомъ, на мгновеніе замѣшкавшись на небѣ, бросалъ послѣдній взглядъ на міръ, чтобы подобно всѣмъ прежнимъ скатиться въ вѣчность, вся семья выходила гулять. Впередѣ выступала дѣвушка съ корзиной въ рукахъ, въ которой лежало нѣсколько ломтиковъ хлѣба съ масломъ, сзади нея, держа Гершеле за руку, шла Марымъ, но безъ очковъ, а еще дальше позади муравьиными шагами, съ выпуклой спиной и вытянутой шеей, упираясь обѣими руками о палку, передвигался дѣдъ, каждый разъ задыхаясь.

Шли молча, не обращая вниманія на прохожихъ, съ любопытствомъ провожавшихъ ихъ глазами, и, добравшись до большого пустыря, поросшаго травой, усаживались на большомъ кускѣ гравита, лежащаго здѣсь десятки лѣтъ. А дѣдъ все плелся, плелся и своей вытянутой шеей и круглой спиной издали казался большой черепахой.

— Ну вотъ мы и пришли,—весело говорила Марымъ, усаживая мальчика какъ можно удобнѣе,—а теперь нужно немного покушать,—правда, Либба?

— Гершеле навѣрно голоденъ, какъ слонъ,—въ томъ же тонѣ и быстро взглядывая на мать, отвѣчала дѣвушка.

— Какъ слонъ,—смѣялся Гершеле, и отъ этого смѣха обѣ женщины расцвѣтали,—ну дай, мать, я покушаю что-нибудь.

Но долго онъ не ѣлъ,—смѣхъ не держался на его лицѣ,—и возвращался къ своимъ мыслямъ,

— Вотъ, мать,—начиналъ онъ, и при этомъ мопотонномъ, немного пѣвучемъ голосѣ мать уже что-то съ отчаяніемъ начинала рассказывать дочери,—я сегодня весь день думаю, что такое любовь. Любовь?—Онъ задумался.—Я сижу съ вами, и тутъ, въ сердцѣ что-то чувствую, чувствую, и знаю, что для васъ сдѣлалъ бы больше, чѣмъ для дѣда, хотя и его люблю. Что же есть это чувство, и для чего оно пужно? Если для того, чтобы для васъ что-то сдѣлать, то зачѣмъ нужно, чтобы вы въ этомъ нуждались. Значитъ, мать, тутъ нѣтъ смысла. Но все-таки любовь есть, а камень, на которомъ мы сидимъ, земля, что лежитъ подъ нами, не знаютъ любви, и мы, когда умремъ, то тоже станемъ землею и любить не будемъ. Куда же это любовь дѣнется, которая существуетъ и неизвѣстно для чего? Объ этомъ, мать,—заключилъ онъ своей любимой поговоркой и махая пальцемъ,—пужно подумать, подумать, подумать!

Пока онъ говорилъ, мать и дочь знаками переговаривались, и обѣ знали, что если бы можно было, то кричали бы и ломали пальцы отъ страха.

— А потомъ, мать,—продолжалъ онъ своимъ меланхолическимъ голосомъ, выпивъ воды,—я вотъ еще о чемъ думаю. Помню я сестеръ своихъ и люблю ихъ, помню я дядю Саула и тетю Симу, и они умерли, а я все люблю ихъ. Что же я люблю? Землю? Но земля одна, и, можетъ быть, мы теперь топчемъ ногами дядю Саула? А какъ земля можетъ быть моей сестрою или дядей, или тетей? Когда же я умру и ты, мать, умрешь, то мы оба будемъ землею. Какъ же одна земля можетъ быть матерью, а другая сыномъ? Какъ это непонятно все, какъ непонятно. И объ этомъ, мать, нужно крѣпко, крѣпко подумать.

Онъ опираясь на плечо Марыинъ и, тихо вздыхая,

устремлялъ свой серьезный вопрошающій взглядъ на небо.

— О, Гершеле,—едва сдерживая рыданія, отвѣчала ему Марьямъ нѣжно, лаская поцѣлуями его щеку,— о чемъ, и почему ты всегда задумываешься. Если бы ты могъ быть веселымъ, беззаботнымъ, какъ всѣ мальчишки твоихъ лѣтъ! Вѣдь такихъ вопросовъ, Гершеле, даже задавать нельзя, потому что не въ нашей власти отвѣтить на нихъ. Мы, Гершеле, должны быть слѣпы, глухи, глупы во всемъ, что выше нашего пониманія. Мы должны, Гершеле, тихо, безъ шума провести нашу жизнь, подаренную намъ Тѣмъ, Кто правитъ сверху, работать, чтобы не занимать даромъ мѣста на землѣ, и любить, любить людей, быть добрыми, милосердными.\* А все остальное, дорогой мой, само собою приложится, ибо обо всемъ и за всѣхъ уже подумалъ Тотъ, Кто правитъ сверху!

— И объ этомъ, мать,—уныло отвѣчалъ онъ,—нужно подумать, подумать да подумать.

А дѣдъ, сидя подлѣ нихъ, все тянулъ воздухъ въ легкія, устремляя глаза, уже десятки лѣтъ не видѣвшіе солнца, неба, на землю, свою мать, въ которую онъ долженъ былъ обратиться, и точно уставшій отъ годовъ борьбы и жизни, все ниже склонялся къ ней, какъ бы умоляя, чтобы она прибрала его къ себѣ, гдѣ онъ, наконецъ, выпрямится и крѣпко отдохнетъ на ея груди. И изъ города несся тихій ропотъ наработавшихся людей, и все было такъ полно унынія и безропотной печали оттого, что надъ всѣмъ этимъ нужно было подумать, подумать, подумать, что хотѣлось плакать надъ рокомъ человѣка.

И все кругомъ, какъ звѣзды во тьму наступавшей ночи, погружалось въ тишину.

И вотъ однажды мальчикъ слегъ. Какъ послѣдняя капля для переполненнаго сосуда то же, что и океанъ, такъ и послѣдняя капля страданія для измученнаго сердца то же, что и смерть. Гершеле, облаченный въ бѣлье, столь же свѣжее и чистое, какъ пушилки перваго снѣга, еще летающія въ воздухѣ, лежалъ на своей кровати и безкровнымъ лицомъ и задумчивыми, ушедшими глубоко глазами казался похожимъ на ангела, нечаянно попавшаго на землю. Марьимъ съ новой складкой скорби на губахъ, строгая и насторожившаяся, не отходила отъ мальчика, угадывая его мученія, его желанія... У окна неподвижная, какъ могильный памятникъ, сидѣла дочь, такая же скорбная и постарѣвшая, и даже дѣдъ, лежавшій на печи, не подавалъ признаковъ жизни.

Дни шли и какъ будто долго, и какъ будто незамѣтно, но улучшенія не наступало. Наоборотъ, съ каждымъ днемъ, съ каждымъ часомъ Гершеле все меньше говорилъ, ѣлъ и чаще впадалъ въ забытѣе.

— Что же съ тобой, дорогой мой, — тоскливо спрашивала Марьимъ у мальчика въ тѣ минуты, когда онъ приходилъ въ себя, — что ты чувствуешь? Отчего ты не говоришь со мной больше, отчего ты не спрашиваешь меня, какъ прежде: почему, мать, то, почему другое!

— Не знаю, — уныло отвѣчалъ онъ. — Ничего я не чувствую, и ничего я не хочу. И о чемъ думаю — не помню, не знаю. А тебя, мать, — прибавлялъ онъ, махая пальцемъ, — я люблю крѣпко, крѣпко.

Когда онъ улыбался ей, всѣ притихшія и окаменѣвшія тѣни въ комнатѣ оживали и, казалось, мрачные и серьезные стулья, и столъ, и строгая, большая деревянная кровать Марьимъ тихо вторили ему.

— Знаешь, мать, — однажды сказалъ онъ ей, — если бы люди со всего міра пришли сюда и стали умолять меня быть здоровымъ, я бы отказался. Ты не понимаешь, мать, какъ мнѣ хорошо, когда я лежу непо-

движно, и никакого вопроса, никакой мысли нѣтъ у меня. И когда я просыпаюсь и нахожу все прежнее такое же непонятное и неразрѣшимое, мнѣ хочется опять забыться, чтобы не испытывать своего старого ужаса. Не плачь, я вѣдь такъ люблю тебя. И подумай, мать,—безъ упорства убѣждалъ онъ ее,—для чего бы я жилъ? Для чего ты жила, для чего дѣдъ жилъ? Изъ земли сталъ человѣкъ, изъ человѣка стала земля. Какъ это глупо! Вотъ ты станешь землею, и не будетъ ни матери, ни сына. И оттого, мать, чѣмъ скорѣе вернуться назадъ, тѣмъ лучше, и этому нужно радоваться.

И когда онъ чувствовать, что ея теплая, нѣжная руки уже ласкаютъ его лицо, онъ цѣловалъ ихъ и тихо засыпалъ.

Однажды кто-то изъ сосѣдей посоветовалъ Марьямъ переѣзжать съ Гершеле за городъ, гдѣ чистый воздухъ могъ его исцѣлить.

Марьямъ сейчасъ же распродала и заложила все, что имѣла, и, оставивъ дѣла на квартирѣ, перевезла мальчика въ ближайшую деревню. Прошла недѣля, другая, и Гершеле какъ будто началъ поправляться. Но радость продолжалась недолго. Въ одинъ день вдругъ все переменялось, и онъ сталъ быстро терять силы. Ни слезы, ни молитвы Марьямъ уже не дѣйствовали. Мальчикъ угасалъ. Какъ-то поздно вечеромъ Марьямъ, вздремнувшая подлѣ него, внезапно проснулась въ испугѣ. Казалося ли ей, спилось ли ей, по было такъ, какъ будто какой-то странный голосъ разбудилъ ее.

Гершеле сидѣлъ на кровати и звалъ и смотрѣлъ на мать, и когда Марьямъ на мигъ встрѣтилась съ его взглядомъ, она внезапно все поняла. Она задержала крикъ, чтобы не испугать его, и дрожа спросила:

— Что, Гершеле?

— Пить, пить!—попросилъ онъ,—какъ горитъ внутри у меня!

Напившись и какъ будто успокоившись, онъ сказалъ:

— Зачѣмъ, мать, нужны страданія? Не плачь, сядь вотъ здѣсь и обними меня, Знаешь ты, зачѣмъ нужны страданія? Есть ли въ мірѣ, мать, кто-нибудь, кто теперь насъ слышитъ, жалѣетъ? Всѣ спятъ вездѣ, и никто, даже на нашей улицѣ не знаетъ, какъ мы тутъ мучимся. И покойная сестра не знаетъ, и отецъ не знаетъ. И все тутъ кругомъ такъ непонятно, такъ необходимо!

— Но страданія смѣняютъ счастье, — вмѣшалась проснувшаяся дѣвушка, — и какъ намъ хорошо любить тебя, цѣловать, смотрѣть за тобой!

— Нѣтъ, все равно, если и это должно исчезнуть! Гдѣ счастье всѣхъ людей, которые жили въ мірѣ? — вдругъ вскричалъ онъ, садясь. — Если оно было, то гдѣ оно, если его не было, зачѣмъ оно обманывало насъ? И все это безцѣльно, глупо, непонятно. И объ этомъ уже не надо больше думать, — прошепталъ онъ, косясь на стѣну.

Марьямъ, обезсиленная, наклонилась къ нему.

— Пить, пить! — просилъ онъ, ловя что-то въ воздухъ рукой.

Либа уже стояла подлѣ Марьямъ и съ безмолвнымъ ужасомъ торопливо помогала ей.

Но было напрасно: онъ отходилъ.

Въ окна, какъ бы прислушиваясь, глядѣла тѣма своими загадочными глазами; а вѣтеръ, сорвавшись, словно отъ досады хлопнулъ заднею дверью и побѣжалъ въ поле выть и стонать. Маленькій человѣкъ пересталъ жить и, изъ земли ставъ человѣкомъ, опять превратился въ землю.

У Марьямъ сейчасъ же пропасть голосъ. Шопотомъ она крикнула обезумѣвшей дочери, бросившейся на тѣло мальчика, чтобы та не рыдала.

Не нужно слезъ, не нужно рыданій.

Бываютъ минуты, когда надломленная воля доходить до предѣла своей сжимаемости, и тогда истинное величіе человѣческаго духа вырастаетъ вмгъ, и царственный смыслъ его владычества надъ міромъ становится яснымъ и неотразимымъ.

Какія мысли озабочивали Марьинъ? О, не то, что со смертью сына умерло ея сердце и сразу оборвалась та нить, что привязывала ее къ жизни. Надо было, послѣ того какъ душу сына взялъ Тотъ, Кто правитъ вверху, отдать долгъ праху. Но какъ? Вдали отъ города, безъ свидѣтельства о смерти тѣло должно было лежать и оставаться поруганнымъ. Вдали отъ города похороны должны были совершиться оскорбительныя для праха, такъ какъ покойникъ стыдится, если его не сопровождаетъ народъ. Везти же мертвое тѣло теперь, ночью, въ городъ никто не согласится. Что было дѣлать? Плакать, стопать, убиваться она успѣетъ и позже, прахъ же нужно спасти отъ позора... Вдругъ она напала на мысль: она отвезетъ ребенка, какъ живого...

И подавивъ въ себѣ страданія, она побѣжала къ знакомому мужику, сторговалась съ нимъ и, вернувшись назадъ, одѣла мальчика съ помощью Либы, бросила на него шаль, и обѣ, поддерживая трупъ за руки и спину, пѣжно потащили его, чтобы было похоже, будто онъ передвигаетъ ногами.

— Тебѣ дурно, — громко говорила Марьинъ, обращаясь къ мальчику? — Либа, вспрысни его водою. Взяла ты вино съ собою? Теперь легче, ну, слава Богу, только бы скорѣе домой пріѣхать. Видите, Иванъ, какъ моему мальчику плохо, правда, я васъ не обманула? Ребенку стало скверно, и я боялась остаться здѣсь еще цѣлую ночь. Можетъ быть, вы выпьете вина. Дай имъ, Либа, бутылку, они изъ бутылки выпьютъ.

Она говорила просто и свободно, и казалось, что ничего не случилось. Но и она, и дѣвушка дрожали, какъ



въ лихорадкѣ, и разговаривали о своемъ отчаяніи пожатіями рукъ.

Какъ тяжело было втащить его въ телѣгу! Отъ усилій у нихъ пропадало дыханіе и крупный потъ катился по лицу, но одна не забывала кричать другой:

„Осторожно, ты его задушишь, потише, ты его цапнишь! Лучше ли тебѣ, Гершеле? Вспрысни его водою. Вы уже выпили, Иванъ, дайте мнѣ бутылку, я дамъ ребенку подкрѣпиться!“

Наконецъ онѣ успѣлись, устроивъ его между собой, и эта дорогая головка безсильно упала, стукнувшись о плечо Марьимъ.

— О, мой дорогой, мой дорогой,—прошептала она.— Можете ѣхать,—громко сказала она,—мы готовы.—И, все держась руками, Марьимъ и Либа съ силой стискивали ихъ, чтобы не выдать себя крикомъ.

Волны вѣтра, свѣжаго и благоухающаго, словно толпы людей, каждый разъ догоняли телѣгу и, какъ бы спѣша первые отдать долгъ покойнику, пѣли своими голосами прощальную пѣснь невпипному ребенку. Спѣлые колосья хлѣба низко наклоняли свои головы и о чемъ-то шептались между собой, и было это похоже на ропотъ и на стоны. Луна, точно не въ силахъ наблюдать за печальнымъ поѣздомъ, спряталась за облакомъ и робко выглядывала своимъ краемъ туда, гдѣ уже вспыхивала заря. И только скрипъ телѣги, какъ большой, глубокій вздохъ, смѣло раздавался вокругъ, рождая эхо, откликавшееся каждый разъ въ одномъ мѣстѣ.

— О, какъ мнѣ хочется кричать,—шептала Либа,—вѣдь онъ умеръ, и никогда мы его уже не увидимъ.

— Не пужпо,—огозвалась Марьимъ,—прижмись къ нему крѣпче, какъ я, цапни его, расскажи ему на ухо, какъ намъ больно, и прости съ нимъ. Дома поплачемъ. О, Либа, какъ мудро, что люди смертны. Скоро и мы умремъ и больше ужъ не разстанемся. Та

Либа, не будетъ болѣзни, которая убила его, онъ будетъ веселъ, крѣпокъ, тамъ соединится съ нами для вѣчной радости и отецъ твой, уже не больной, тамъ и сестры встрѣтятъ насъ, и всѣ, всѣ горести мы оставимъ здѣсь, какъ и нашъ прахъ, данный душѣ для испытанія.

Такъ онѣ разговаривали, утѣшая другъ друга, вдругъ вспоминая дѣйствительность и готовые кричать и говорить самыя пѣжнѣйшія и трогательныя слова, вдругъ обращаясь къ трупу и предлагая ему вино, то умоляя мужика, чтобы онъ скорѣй ѣхалъ. А лошадь плелась тихой, печальной рысью, досадуя, что ей и ночью не дадутъ покоя, и робко фыркала каждый разъ, когда мужикъ хлесталъ ее кнутомъ.

Когда они вѣхали въ улицу Еврейскаго ряда, тамъ было такъ тихо, что всѣ дома ея казались большимъ временнымъ кладбищемъ, гдѣ люди спали въ ожиданіи, пока ихъ перенесутъ въ вѣчное жилище, въ которомъ никакія заботы, никакія чувства, никакія опасности уже не будутъ ихъ тревожить.

Телѣга остановилась у дома, гдѣ жила Марымъ, и съ тѣми же мученіями, и съ тѣми же дрожаніемъ тѣла и мускуловъ онѣ сняли Гершеле и поволокли его во дворъ. Но какъ только онѣ добрались до своей комнаты, то зажегши свѣчу, Марымъ шепнула Либѣ:

— Теперь кричи, плачь, разбуди сосѣдей. Нужно, чтобы знали, что онъ только что умеръ.

И она первая ударила себя въ голову руками и залилась долгой, печальной и жуткой пѣснью надъ покойникомъ...

## ПОРТНОЙ.

(1896).

Вотъ уже съ мѣсяць, какъ портной Герохимъ шьетъ у себя на дому. Въ этотъ день, когда начинается разсказъ, онъ съ минуты на минуту ожидаетъ хозяина дома, который еще вчера обѣщался зайти за квартирными деньгами, и каждый разъ тревожно выглядываетъ въ окно,—не идетъ ли?

Онъ успѣлъ уже облить водою кончики пальцевъ, паскоро помолиться, продумать цѣлый рядъ грустныхъ мыслей и нѣсколько разъ разсердиться на докучливыя приставанія дѣтей.

Сидитъ онъ теперъ, заложивъ одну ногу на другую, непричесанный, въ одной рубахѣ, босой, и лицо его сонное, помятое.

Онъ шьетъ нервно, торопливо, но часто мигаетъ глазами, и потому работа его подвигается медленно.

На другомъ концѣ комнаты возится съ дѣтьми жена его, Ципка, худенькая, заморенная женщина, съ сосредоточеннымъ и скорбнымъ лицомъ. Она стоитъ надъ корытомъ и моетъ восьмилѣтней Ханкѣ голову горячею водою, думая свою однообразную, печальную думу, не подозревая, что горячая вода жжетъ Ханкину голову, и что почти ея чуть не до крови царапаютъ у Ханки кожу. Она моетъ, моетъ, скребетъ и зорко вглядывается въ воду, почерпѣла ли она отъ грязи.

Ханка худенькая, тоже заморенная, но умная дѣвочка. Она твердо знаетъ, что кричать нельзя, и потому употребляетъ геройскія усилія, чтобы легко подаваться во всѣ стороны, куда мать гнетъ ее. Ханка знаетъ, что самое ужасное въ этой операціи только впереди, когда Ципка начнетъ расчесывать ея густые волосы. Вотъ когда будетъ настоящее горе!

— Пусти же,—вдругъ раздался надъ ней голосъ Ципки,—долго я надъ тобой тутъ стоять буду. Слава Богу, ты не одна у меня.

Ханка съежилась и, какъ резиновая, стала поворачиваться, подниматься и опускаться подъ умѣлыми руками Ципки.

— Ты сказала что-нибудь,—очнувшись, спросилъ Иерохимъ, и потеръ кулакомъ глаза,—или мнѣ послышалось?

— Ничего, я сказала только, что, славу Богу, Ханка у меня не одна; ты, бѣдненькій, никогда не знаешь, что вокругъ тебя дѣлается? Развѣ ты зналъ, почему у меня Ханка не одна, думалъ ты когда-нибудь объ этомъ? Конечно, если человѣкъ шьетъ сюртукъ, развѣ онъ можетъ еще что-нибудь знать?

— Ты, вѣроятно, встала съ лѣвой ноги, Ципка: нашла время о чемъ говорить. Развѣ ты не знаешь, что вотъ, вотъ онъ зайдетъ за деньгами, и у меня просто сердце кончается отъ заботы. Развѣ я имѣю чѣмъ ему уплатить? Другая жена хоть вздохами помогла бы, а ты ругаешься.

— Ну, конечно, конечно, я непременно должна молчать. У насъ вѣдь такъ хорошо, что я могу сложить руки и ничего не дѣлать. Я прикажу моей служанкѣ убрать наши великолѣпныя комнаты. Потомъ я съ дѣточками и моимъ дорогимъ мужемъ сядемъ пить чай. Потомъ мой дорогой мужъ пойдетъ въ свою лавку, а я съ нашими дѣточками отправлюсь, какъ всѣ богатныя дамы, погулять. А кухарка въ это время приго-

товить намъ прекрасный обѣдъ. Конечно, я должна молчать, конечно!.. Несчастный дурень, калѣка негодный,—вдругъ набросилась она на него,—изачѣмъ, изачѣмъ только ты женился. Если мужчипа не умѣеть зарабатывать, то онъ жить не смѣетъ, а ты женился... ты дѣтей цѣлыхъ восемь душъ имѣешь!

— Ну, для чего, скажи, для чего ты мучаешь меня теперь? Развѣ это поможетъ? Развѣ я не хочу или я отказываюсь отъ работы? Но когда Богъ наказываетъ человѣка, то Онъ наказываетъ его уже во всемъ! Ты только посмотри на меня, развѣ такія руки могутъ хорошо работать? Ну посмотри же, отчего же ты не смотришь?

Іерохиѣ всталъ съ мѣста, протягивая ей руки, державшія сюртукъ,—такой худой, узкій, съ всклокоченной сѣдовой бородкой; торчавшей на бокъ, герой труда и страданій! Ципка мелькомъ взглянула на него и быстро отвернулась. Слезы защекотали ей глаза, и тихая скорбь охватила ее.

— Я и думала,—спокойнѣе начала она,—чѣмъ мнѣ служанкой оставаться,—лучше я за кого-нибудь замужъ выйду. Нельзя же вѣчно не имѣть своего угла? Развѣ я дурное хотѣла? Мнѣ говорили, что ты можешь зарабатывать копейку, что ты тихій, добрый. Что я могла знать? Я думала: работаю же я у чужихъ, такъ я эту работу лучше для себя сдѣлаю. Я буду работать, ты будешь работать. Пока годы идутъ, можно и копейку отложить. Сколько дѣвушекъ я знала такихъ же, какой и я была. И онѣ вышли замужъ. Конечно, онѣ отъ того не стали богачками, потому что отъ этого не становятся богатыми. Но все-таки онѣ живутъ, да! Богъ и мнѣ такъ. Онѣ и работаютъ, онѣ и отдыхаютъ. А я, знала ли я хоть одну спокойную минуту у тебя, субботу я знала, праздникъ я знала! Работай для чорта и ничего больше. Сегодня вымыла, вычистила, сегодня починила, завтра починила, а отложила ли я хоть копейку, спроси? Когда я служила, то знала, что каждый мѣсяцъ у меня че-

тыре рубля останется. Иначе, откуда я бы взяла дать тебѣ къ свадьбѣ 50 рублей, если бы не откладывала? Попробовала бы я теперь откладывать. Я бы вѣчно въ дѣвушкахъ осталась. А почему все это? Потому что ты калѣка, а не портной; ты умѣешь только пословицу сказать, а не сшить сюртукъ.

Ципка ядовито усмѣхнулась, вылила въ ведро грязную воду и взялась за хромоногую Любку. Семилѣтняя Любка со страхомъ ожидала своей очереди, а за ней шли Давидка, Левка, Берка, Софка, Розочка.

Іерохимъ отъ природы былъ человѣкъ тихій и не задорный и спорить не хотѣлъ. Развѣ споры чему-нибудь помогаютъ. Пусть Ципка немпожко не права, но развѣ ему-то отъ этого легче?

А Ципка все не унималась. Теперь она уже свернула на то, что вообще происходило въ то время, когда она еще дѣвушкой была; потомъ на то, что Іерохимъ сейчасъ же послѣ свадьбы поселился съ молодой неопытной женой у своей сестры, которая съѣдала ежедневно у Ципки то, что она еще у матери изъ груди высосала; потомъ шли воспоминанія о томъ, какъ ихъ гнали изъ квартиры на квартиру; далѣе шли жалобы на то, что теперь она, Ципка, должна жить рядомъ со старшей сестрой Іерохима, такой же змѣей, какъ и младшая. Іерохимъ не зналъ, куда спрятаться отъ ея уколовъ.

— Ну довольно уже, довольно,—бормоталъ онъ.— Умывай своихъ дѣтей. Развѣ непременно нужно говорить, когда работаешь. Тише, вотъ онъ идетъ.

Іерохимъ вдругъ замолчалъ, точно внезапно задвленный. Ципка тоже замолчала и затрепетала. Судорога пробѣжала по ея тѣлу, и дыханіе упало. Что они теперь будутъ дѣлать? Несчастная дура, и зачѣмъ, зачѣмъ только она вышла замужъ!

А хозяинъ входилъ уже. Не вѣдая и не подозрѣ-

вая, что вызывалъ въ этихъ бѣднякахъ его приходъ, онъ спокойно потребовалъ денегъ.

Іерошимъ стоялъ навтыжку, и коснѣющимъ языкомъ просилъ отсрочки.

Онъ еще вчера относилъ работу, но ему не уплатили и просили подождать нѣсколько дней. Что Іерошимъ могъ сдѣлать: портные вѣдь всегда должны ждать. Но это ничего, это совершенно ничего. Вѣдь, хозяинъ такой добрый. Онъ всегда жалѣлъ Іерошима. А Іерошимъ исправный человѣкъ, Іерошимъ всегда былъ и будетъ исправнымъ. Только бы Богъ далъ, чтобы ему честно платили за работу, а Іерошимъ чужой копейки не замотаетъ, нѣтъ, нѣтъ!

— Съ вами всегда больше возни, чѣмъ со всякимъ, — пахмурился хозяинъ. — Жди да жди, всегда одна нѣсня; великое дѣло четыре рубля собрать за мѣсяцъ.

— Я развѣ не хорошъ? — затревожился Іерошимъ. — Ну я днемъ позже плачу, ну что же тутъ такого? Я вѣдь исправный, я всегда исправный, я чужую копейку не люблю мотать. Вотъ только, Богъ дастъ, получу и первому вамъ, вамъ первому, самъ вѣсть не будемъ. Правда, Ципка?

Іерошимъ дрожалъ, выпаливая эти слова, и съ тревогой думалъ, что хозяинъ, пожалуй, уже и сдалъ другому квартиру. А куда онъ пойдетъ съ своими дѣтьми? Кто приметъ его съ кучей дѣтей за четыре рубля въ мѣсяцъ? А денегъ на перевозку рухляди гдѣ онъ возьметъ, гдѣ взять на задатокъ? Ципка давно уже бросила Любку, такъ и оставшуюся у корыта, и при послѣднихъ словахъ Іерошима подошла вплотъ къ нему, какъ бы желая защитить его и подтвердить его слова.

— Такъ когда же, однако? — спросилъ хозяинъ.

— Завтра, завтра, — быстро отвѣтилъ Іерошимъ, — конечно, завтра, ну, самое позднее, такъ послѣзавтра. Я исправный человѣкъ, ей-Богу, я ничѣмъ копейки не замочу, нѣтъ, нѣтъ!

Хозяинъ, не отвѣчая, вышелъ.

— Вотъ кто меня доканаетъ, — пробормоталъ Иерохимъ, — вотъ гдѣ моя смерть!

Ципка съ ненавистью глянула на Иерохима и принялась опять за Любку.

— Знаешь, что я тебѣ скажу, — прибавилъ Иерохимъ, — я, кажется, скоро ослѣпну. Я положительно перестаю видѣть. Каждый разъ у меня темнѣетъ въ глазахъ, и я не вижу, куда ткнуть иголку. Прямо Богъ наказываетъ насъ.

И онъ кулакомъ принялся протирать глаза. Ципка взглянула на него и съ силой вонзила гребень въ волосы Любки. Любка завизжала.

Въ послѣднее время, по одному довольно важному обстоятельству, вопросъ о платѣ за квартиру выступилъ въ жизни Иерохима во всей своей жестокости и принудительности.

Младшая сестра Иерохима, Фейга, та самая, которая съѣдала ежедневно у Ципки то, что она еще у матери изъ груди высосала, лѣтъ восемь тому назадъ вышла замужъ за портного, человѣка достаточномышленаго и дѣльнаго. Этотъ веселый человѣкъ, своимъ умѣньемъ отыскать заказчика, ладить съ нимъ, угодить ему, за два года усидчиваго и упornaго труда сколотилъ сотню рублей и на эти деньги открылъ лавочку готовыхъ платьевъ на толкучемъ рынкѣ. Ему и тамъ повезло. Тогда онъ расширилъ дѣло и устроилъ при лавочкѣ мастерскую. Вотъ къ нему-то послѣ многихъ просьбъ и униженій Ципки попалъ Иерохимъ, работникъ неважный, но человѣкъ, съ которымъ можно было сдѣлать рѣшительно все. Иерохимъ пробылъ тамъ шесть лѣтъ, едва-едва сводя концы съ концами, и каждый годъ втягивался все больше въ разореніе, благодаря своей семьѣ, которая распложалась съ неизбежной по-



слѣдовательностью изъ года въ годъ. Не мало горькихъ и тяжелыхъ минутъ пережилъ Іерохимъ въ этой средѣ, гдѣ каждый считалъ нужнымъ поглумиться и надъ его неспособностью къ работѣ, и надъ его умомъ, и надъ тѣмъ, что каждый годъ онъ обогащается наслѣдникомъ или наслѣдницей.

Іерохимъ всегда молчалъ, не отвѣчая ни на издѣвки, ни на глумленія, и все больше уходилъ въ себя, думая о своей женѣ, о своихъ дѣтяхъ, которыхъ по своему любилъ и обожалъ, никогда, однако, не обнаруживая предъ ними своихъ чувствъ.

Въ послѣдніе два года, словно спѣлъ на голову, упала на Іерохима и новая, болѣе крупная и грозная бѣда. У него испортилось зрѣніе. Глаза стали слезиться и закисать, и что-то сѣрое, какъ рѣдкій туманъ, прозрачное разъ навсегда повисло предъ его зрачками. Вскорѣ появились и сильные головные боли, которыя разъ отъ разу становились невыносимѣ.

Но онъ былъ настолько хитеръ, что въ мастерской никому не говорилъ объ этомъ, хотя и чувствовалъ, что дѣло его съ каждымъ днемъ становится все хуже и опаснѣе. Такая долгая, мучительная внутренняя борьба не прошла для него безнаказанно. Онъ сталъ мнительнъ и тревоженъ. Раздражавшіе и пугавшіе его образы потихоньку обращались въ особыя, живой міръ, начинавшій бороться съ его дѣйствительнымъ міромъ, въ которомъ онъ жилъ и страдалъ. Но чувство правды и мѣры оставалось въ немъ еще достаточно сильнымъ, и чѣмъ страшнѣе и несомнѣннѣе становился фантастическій міръ, тѣмъ съ большей ревностью онъ стремился убѣжать изъ него, тѣмъ горячѣе онъ оберегалъ свои будничныя мысли, съ которыми все же ему жилось и легче, и безопаснѣе. А зрѣніе продолжало упорно слабѣть. Работа уже выходила теперь хуже, какъ будто небрежнѣе, а главное медленнѣе.

— Ты когда-нибудь кончишь шить сюртукъ, Іер

химъ?—спрашивалъ хозяинъ.—Я еще не видалъ, чтобы человекъ съ такимъ холоднымъ сердцемъ работать. Ты вѣдь такъ зарѣжешь мою торговлю, Іерохимъ! Слава Богу, лавокъ довольно въ городѣ; такое счастье, какъ у меня, „они“ вездѣ найдутъ!

Іерохимъ такъ и замиралъ отъ этихъ словъ. Вотъ чего онъ боялся, вотъ какой минуты страшился!

— Что значить? Я развѣ не шью, Хаимъ, я вѣдь шью! Какъ можно! Я развѣ даромъ буду брать у тебя деньги! Нѣтъ, нѣтъ, Хаимъ, я твоей копейки не заматаю.—И потомъ, занекиваяще улыбаясь, прибавлялъ:—Я немпожко задумался, Хаимъ,—слава Богу, заботъ у меня не мало! А сюртукъ, я сейчасъ, вотъ сейчасъ кончу. Какъ же, какъ же!

Хаимъ презрительно отходилъ прочь отъ него. А Іерохимъ опять погружался въ свою неотвязную думу.

— Пропадутъ мои дѣтки, пропадетъ Ципка!

А тутъ наскочило и это важное обстоятельство. Пошла однажды Фейга къ Ципкѣ. Пришла, поздоровалась, сѣла, толстая такая, претолстая. Ципка, пламенно ненавидѣвшая ее, но беспильная проявить свою ненависть, послала Ханку заварить въ лавочкѣ чай, чтобы угостить гостью.

Любка въ углу возилась съ Розочкой, миленькой, черноглазой дѣвочкой и шила ей куклу изъ тряпокъ. Давидка сидѣлъ на полу и шопотомъ рассказывалъ Левкѣ о томъ, что прачкинь Васька поймавъ большого паука и понесъ его продавать въ аптеку, но что въ аптекѣ Ваську выгнали, и потому карамелей сегодня не будетъ.

А паукъ Васька потопилъ въ бочкѣ, что стоитъ подлѣ конюшни, и похоронилъ въ ямкѣ, въ глубокой такой, даже смотрѣть страшно, а Петька, другой мальчикъ, рассказывалъ, что людей тоже закапываютъ въ ямѣ, и что это очень, очень страшно. Левка, четырехлѣтній мальчуганъ, слушалъ, выпуча глаза, и часто глоталъ

слюну, внимательно и сосредоточенно слѣдя за разсказомъ.

— А большой лопатой Васька копалъ? — наконецъ, спросилъ онъ и проглотилъ слюну.

— Нѣтъ, ножичкомъ, знаешь, такой маленькій ножичекъ, красивенькій такой.

Между тѣмъ, Фейга, оглядывая беременную Ципку, не утерпѣла-таки, чтобы не уколоть ее.

Такой ужъ день сегодня у Фейги. Зашла она мимоходомъ къ длинной Песѣ, а та вдругъ—на четвертомъ мѣсяцѣ. Что Ципка скажетъ на это? Какъ это только выдержать можно. Онѣ съ ума сошли эти женщины и ничего больше. Гдѣ это видано, чтобы женщины изъ года въ годъ рожали. Не успѣла еще одного выкормить, ого! уже опять тяжелая!

Фейга быстро разстегнула верхнюю кофту, точно ей сдѣлалось чрезвычайно жарко, и, не слыша возраженій Ципки, продолжала дальше.

— Я понимаю еще, если это дѣлаетъ богатая дама. Но Песи, Песи, длинная дура, которая пеленки не умѣетъ выстирать, у которой даже и этой послѣдней пеленки не имѣется, и та туда же съ животомъ; какъ же, пропустите и ее впередъ, вѣдь она длинная Песи! Конечно, развѣ безъ нея міръ будетъ стоять? Откуда возьмутся люди, если длинная Песи не позаботится объ этомъ? Положимъ, еще Песи, у той хоть мужъ на табачной фабрикѣ работаетъ и пѣтъ-пѣтъ, а въ субботу 5, 6 рублей принесетъ домой. Но что ты, Ципка, скажешь о Дворкѣ, пѣтъ, что ты, Ципка, скажешь о Дворкѣ, вотъ что я хочу знать! Какъ! ты не вѣришь? — Ципка ничего не сказала — да чтобъ я не встала съ этого мѣста, на которомъ сижу. Какъ это? Почему Дворкѣ не быть беременной? У нея, бѣдняжки, развѣ мужа пѣтъ? Ципкѣ можно быть беременной, а Дворка не можетъ! Подумаешь.

Фейга совсѣмъ разгорячилась, и послѣднія слова

вылетали изъ ея устъ наподобіе сухихъ, короткихъ выстрѣловъ.

Ципка давно догадалась, куда мѣтитъ Фейга, но заранѣе дала себѣ слово крѣпиться. Іерохимъ и такъ на волоскѣ виситъ: станеть она еще подвергать его опасности!

— Знаешь, что я тебѣ скажу, дорогая,—сладко начала Ципка,—если мы имѣемъ дѣтей и много дѣтей, то это ни отъ чего больше, какъ отъ Бога. А если Богъ чего-нибудь хочетъ, то ты вѣдь знаешь, что такъ уже и будетъ. Оттого я не ропщу. Богъ посылаетъ дѣтей, онъ пошлетъ и для дѣтей. Иначе свѣта бы не было. Правда, это-таки тяжело прокормить восемь ртовъ, но все же, мучаешься, мучаешься, и вдругъ тебѣ придетъ въ голову, что когда-нибудь, а кончится же эта каторга. Мы развѣ не видимъ примѣровъ? Мальчикъ учится. Вдругъ у него хорошая голова. И всѣ, всѣ его хвалятъ, и сколько намъ радости. Придешь съ нимъ въ гости, сидишь, разговариваешь, и вдругъ ему говорятъ: „а ну, скажи-ка намъ что-нибудь изъ ученыхъ книгъ...“ И вотъ онъ беретъ какой-нибудь кусочекъ Геморы и начинаетъ припѣвать и качаться, прямо какъ настоящій ученый, и говоритъ, говоритъ... Ну, а ты съ мужемъ,—глупые, неученые,—сидишь и просто таешь отъ этихъ сладкихъ словъ. И тебѣ завидуютъ и благословляютъ утробу, что такого сына носила. А не то отдать мальчика въ контору. Вдругъ у него хорошая голова! И вотъ въ этой конторѣ онъ растетъ и растетъ. Съ какими господами имѣетъ дѣло, даже подумать страшно. И на павозчикахъ развѣзается, и одѣтъ, какъ картинка... Развѣ тогда нужно будетъ жить въ каторгѣ? Мы развѣ не видѣли примѣровъ? Нѣтъ, дорогая, дѣти—это Божій подарокъ, а хорошія дѣти—это сладко, какъ рай.

— Потому-то ты и теперь беременна,—рѣзко пропала Фейга, съ трудомъ дослушавшая Ципку.—Оттого-то Іерохимъ, чуть только женился, повѣсилъ тебя на мою шею, что рассчитывалъ на такихъ дѣтей. Какъ же, такіа

дѣти могутъ выйти отъ твоего несчастнаго дурака. Полюбуйся на нихъ, вотъ оно все твое добро.

— Что ты имѣешь къ дѣтямъ, — вспыхнула было Ципка, закусивъ губы, — у тебя на нихъ большіе глаза, Фейга! Посмотри на своихъ лучше!

— Что такое, — быстро забарабанила Фейга, — ты говоришь о моихъ золотыхъ дѣтяхъ. А что ты увидѣла на моихъ дѣтяхъ, спрошу я у тебя? Грязныя они, калѣки они, нищія, а! Они знали развѣ хоть капельку заботъ со дня своего рожденія? Они вѣдь у меня, какъ куколки. Развѣ есть хоть одинъ человѣкъ, который, увидя ихъ, не сказалъ бы: чьи это прекрасныя дѣти? И развѣ есть одинъ человѣкъ, который не сказалъ, что это Фейгины съ толкучаго! О твоихъ развѣ такъ скажутъ? Ихъ убить нужно, чтобы не распложались нищія. И тебя, и Иерохима убить нужно. Когда отецъ — калѣка, а мать только и дѣлаетъ, что ходитъ тяжелой, то такихъ людей убить нужно. Да, убить! Ты, можетъ быть, скажешь, что нѣтъ? Я думала, что ты скажешь — нѣтъ.

Фейга уперла руки въ бока и съ яростнымъ видомъ ждала отвѣта, чтобы растерзать Ципку. Въ это время на порогѣ показалась Бейла, старшая сестра Фейги, жившая ея подачками.

— Доброе утро, Фейга, что ты портишь свою грудь? Я не могла устоять въ комнатѣ отъ жалости. Вѣдь такъ же тебя и на годъ не хватитъ. Развѣ ты одна на свѣтѣ? У тебя такой мужъ, такія дѣточки — ангелы: вѣдь нѣтъ человѣка, который бы не зналъ ихъ, который бы не вышелъ своего хорошаго слова для нихъ, а ты тратишь свое здоровье на пустыя дѣла. Ты хочешь съ Ципкой добраться до грунта! Если калѣка Иерохимъ не докапалъ ее, что ты со своими умными словами подѣлаешь?

— Зачѣмъ ты еще явилась? — сдерживая рыданія, набросилась на нее Ципка и мимоходомъ шлепнула Любку по щекѣ. — Не обойдется безъ тебя. Тебѣ 30 копеекъ захотѣлось у нея выманить, такъ ты явилась святая и

добрая. А что ты вчера говорила о Фейгъ? Ты удивлялась, какъ она не лопнетъ отъ жиру. А о дѣтяхъ ея что ты говорила? Ты ихъ называла золотушными холерами. А теперь ты святая! О подлые, подлые люди! Когда и мнѣ уже Богъ поможетъ,—разрыдалась вдругъ она.—Вѣдь у меня сердце лопнетъ, сердце мое лопнетъ изъ-за васъ. Окружила меня ваша проклятая порода. Иерохимъ развѣ не вашъ? Въ моей крови течетъ умъ, совѣсть, а у васъ что? Еще дуракъ, еще калѣка! И за что только Богъ вамъ помогаетъ? За что вы 10 дѣтъ въ моей крови купаетесь? Кто меня сдѣлалъ несчастной, кто меня въ этотъ адъ завелъ, если не ваше добро!

— Ты это слышишь, Бейла,—совершенно свободно уже раскричалась Фейга,—мы се сдѣлали несчастной! Есть послѣ этого Богъ на небѣ? Какъ будто кто-нибудь, кромѣ нея, вышла бы замужъ за Иерохима? Вѣдь его весь городъ зналъ за калѣку. И какъ будто, кромѣ нашего дурака, кто-нибудь другой женился бы на Ципкѣ. А мы вамъ и помогай, точно только вы у насъ и были на головѣ. Думаешь, я не знала, что ты изъ Польши пріѣхала беременная, что твой любовникъ тебя бросилъ, что ты родила ребенка, а потомъ пошла въ мамки. Ты развѣ была честная, когда выходила замужъ? Я знала, что ты обманула Иерохима, но я не хотѣла мѣшаться. Дураку такъ и нужно было, и нечестной дѣвушкѣ тоже такъ и нужно. Чего же ты плачешься? Развѣ я должна помогать дураку и нечестной, да я лучше собакамъ выброшу, чѣмъ вамъ. Онъ еще смѣлъ привести тебя въ мой домъ, въ мой честный домъ, и я должна была молчать. Онъ думалъ, что я тебя тоже буду гладить по головкѣ, какъ и онъ, дуракъ. О! я все, все видѣла: и какъ онъ комнату подметалъ, и какъ онъ кровать убиралъ, и какъ онъ тебѣ башмаки одѣвалъ, а ты, какъ царица, сидѣла, не двигаясь. Но я знала, что все это нуфъ одинъ и ничего больше. Я знала, что вотъ-вотъ наступитъ нищета, и тогда про-

пай любовь, прощай уборка комнаты. Пока еще были свадебные подарки, еще была любовь, еще онъ пѣлъ тебѣ жалостливыя, портняжескія пѣсенки, а проѣли подарки и совсѣмъ другое запѣли. О! я все знала, все предвидѣла: и какъ ты сама начнешь подметать и прибирать, и какъ ты начнешь его гнать отъ себя, чтобы онъ хлѣба принесъ. Но тутъ-то ты и ошиблась. Калѣка Іерошимъ не могъ прокормить жены. Дѣтей наплодить, нищихъ наплодить—это его дѣло. Портняжескія пѣсенки пѣть, — опять-таки его дѣло, но не хлѣбъ, не хлѣбъ! Какъ же ты смѣешь говорить, что мы тебя сдѣлали несчастной. Мало я помогала вамъ? Пусть только я выгоню Іерошима, такъ вы вѣдь всѣ, поголовно, одинъ за однимъ съ голоду умрете, и хоронить васъ на казенный счетъ будутъ. На саванъ у васъ денегъ не останется. А ты на Бога надѣешься и дѣтей плодишь, дура несчастная! Вдругъ у мальчика окажется хорошая голова? Отъ кого, скажи мнѣ,—отъ тебя, отъ него?—Нѣтъ, не поможетъ тебѣ Богъ, Богъ дуракамъ не помогаетъ.

— Ну оставь уже, оставь, — съ притворнымъ участіемъ прервала ее Бейла, — развѣ не знаешь, куда идутъ твои слова? Зачѣмъ тебѣ такъ огорчаться изъ-за нея? Развѣ мы не знаемъ много такихъ примѣровъ? Гдѣ нечестно, тамъ нехорошо кончается, а гдѣ любовь, тамъ самъ Богъ наказываетъ. Развѣ ты вышла замужъ по любви? Сидѣла ли ты, какъ царница, и Ханъ твой, пусть онъ будетъ здоровъ, когда-нибудь тебѣ башмаки одѣвалъ? Дѣльный мужичина не занимается такими вещами. Оттого тебѣ, слава Богу, и хорошо. Куда онъ ни повернется, тамъ счастье и удача. А на Ципку не смотри. Оберегай себя, дѣвочекъ своихъ, своего мужа, а не Ципку. Довольно съ нея и Іерошима.

Ципка стояла уничтоженная, убитая, почти не смѣя отвѣчать. Сколько правды было въ этихъ укорахъ, сколько правды, самой чистой! У нея былъ возлюбленный, и онъ бросилъ ее. И ребенокъ былъ, и умеръ онъ отъ

голода на чужихъ рукахъ. Все, все это правда, но Іеро-  
хима она не обманула.

Ахъ, если бы можно было повернуть колесо жизни  
назадъ и начать жить по новому, какъ теперь отсюда  
видно! Сколько промаховъ, ошибокъ, вольныхъ и не-  
вольныхъ, лежить за ея спиной, ошибокъ, передъ ко-  
торыми ей теперь такъ невыразимо стыдно, противъ  
которыхъ она не смѣетъ спорить, если хоть капельку  
честна. Милые, дорогіе молодые годы! Почему, въ луч-  
шую пору свой жизни, когда такъ легко, когда такъ  
хочется жить, совершаются только ошибка за ошибкой,  
промахъ за промахомъ, такъ легкомысленно тратятся  
силы, что для будущаго остается одна печальная, труд-  
ная дорога, которую потомъ никакіе подвиги труда и  
терпѣнія не въ состояніи поправить? Если бы кто-нибудь  
научилъ ее тогда, если бы кто-нибудь, хоть изъ жесто-  
кости, приподнялъ бы передъ ней краешекъ будущаго  
и показалъ бы ей, во что она обратится, въ чьи руки  
попадетъ, какъ изъ нея, молодой, крѣпкой, по своему  
умной и проныцательной, выйдетъ какое-то жалкое го-  
лодное существо, окруженное полудюжиной голодныхъ  
дѣтей, имѣющее помощникомъ катѣку мужа, не сегодня,  
завтра готоваго ослѣпнуть! Такъ нѣтъ, — все опоздало...  
Пусть онѣ клеймятъ, позорятъ, бичуютъ ее: вѣдь, все  
это правда и правда... Но только не вся правда.

Она въ отчаяніи ломала руки, какъ бы умоляя этихъ  
бездушныхъ людей вѣрить тому, что не всю правду  
бросили онѣ ей въ лицо. Если бы онѣ знали, если бы  
можно было вывернуть предъ ними свое сердце, чтобы  
онѣ сразу прочли на немъ всю ея жизнь, такъ какъ  
словъ не хватить на человѣческомъ языкѣ расска-  
зать все!

Она не скрыла отъ Іерохима правды.

Раньше, когда она дрожала при мысли о возможности,  
что счастье ее оставить, она скрывала, прятала свое ужас-  
ное, подчасъ дорогое, выстраданное прошлое, — прош-



лое, въ которомъ лучшія въ ея жизни чувства и надежды были затоптаны въ грязи, открыты на позорнице всему родному городку, знавшему ее отъ мала до велика,—милое и страшное прошлое, когда молодой 15-лѣтней дѣвочкой, неопытной, боязливой, влюбленной въ каждый камешекъ своего города, въ людей, среди которыхъ жила, она должна была ночью одна бѣжать, навсегда проститься со всѣмъ, что вспоило и вскормило ее, и отдаться волнѣ, которая поведетъ ее невѣдомо куда, на какое дѣло. Тогда она боялась, скрывала, готова была на все, чтобы не раскрывать глазъ Іерохиму, но многія ли на ея мѣстѣ въ такую минуту поступили бы иначе?.. Но, когда она увѣровала въ любовь Іерохима, она все, все безъ утайки рассказала ему, и онъ пожалѣлъ ее, этотъ дуракъ Іерохимъ, онъ пожалѣлъ; этотъ калѣка не презрѣлъ ее. И тогда все, все такимъ яснымъ и свѣтлымъ ей показалось. Будто блеснуло что-то впереди далеко, далеко на ея пути, и все на этомъ пути показалось такимъ ровнымъ, гладкимъ, точно Богъ благословилъ. И отсюда уже пошла ея мечта. Но что за мечта! Многого развѣ она хотѣла? Многого ли хотѣть дѣвушки въ ея положеніи? Пусть мужъ будетъ хорошимъ работникомъ, пусть будетъ хлѣбъ для семьи, уголь, гдѣ поспать, чего же больше? Правда, на первыхъ порахъ она отдавалась своему счастью, но какая маленькая плата: три мѣсяца счастья за цѣлую жизнь труда и заботъ! Развѣ она не отдала потомъ всю свою энергію на этотъ трудъ? Пусть онъ посмотритъ на нее, узнаютъ ли въ ней теперь нѣкогда цвѣтущую, бойкую, крѣпкую женщину? Пусть посмотритъ на ея руки, вѣдь онѣ высохли на безплодной работѣ и готовы переломиться отъ перваго толчка; въ ротъ пусть посмотрятъ, есть ли тамъ зубы, много ли черныхъ волосъ осталось у нея на головѣ?

Ципка не въ силахъ устоять на ногахъ, повалилась на кровать и зарыдала. Бейла заглянула въ глаза Фейги и заискивающе улыбулась.

— Комедія, — съ ненавистью пропелесла Фейга, — вотъ такими комедіями она и привязала къ себѣ нашего калѣку. Я съ моимъ дорогимъ мужемъ такихъ штукъ не продѣлывала. Любовь, любовники — старія штуки, и ничего этимъ не разжалобишь. Попробовала бы я до свадьбы имѣть ребенка. Я бы сама на себя наплевала. Я, честная, слышишь, Ципка, и это тѣло никто, кромѣ Ханма, не трогалъ. Когда человѣкъ честенъ, онъ имѣетъ право на все, и ему Богъ помогаетъ; мнѣ Богъ помогъ, а ты никогда изъ нищеты не поднимаешься. Ты думала, что пошла во мнѣ дойную корову. Забудь тебѣ; копеечки не получишь отъ меня. Семь лѣтъ не даю и до твоей смерти не дамъ, хоть вытянись.

— Ну, такъ убирайся же вонъ отсюда, — сверкая глазами, вдругъ сорвалась Ципка. — Пусть Богъ преслѣдуетъ тебя отъ моего порога до твоей смерти. Куда бы ты ни повернулась, пусть это идетъ на тебя спереди и сзади. Пусть слезы мои падутъ на тебя, на семью твою, пусть люди ужасаются, услышавъ о твоей судьбѣ. Пусть бѣгутъ всѣ отъ дома твоего, отъ семьи твоей, какъ отъ чумы. Пусть...

Ципка вдругъ очутилась на полу животомъ внизъ, точно кто-то съ силой ударилъ ее по затылку, и своими распростертыми и судорожно вздрагивавшими руками напоминала огромную птицу при послѣднемъ издыханіи.

Фейга и Бейла, перепуганныя на смерть, выбѣжали изъ комнаты. Ханка бросилась помогать Ципкѣ, вскрикивая надъ ней, какъ надъ покойникомъ.

Вскорѣ комната наполнилась людьми.

На слѣдующее утро, въ то время какъ Ципка, стоя предъ Іерохиномъ, въ сотый разъ съ изступленіемъ вспоминая вчерашнюю исторію, и грозилась, и проклинала ненавистную Фейгу, неслышно отворилась дверь, и старикъ Зефлингъ, пенсіонеръ мѣстной общины, во-

шелъ въ компану. Вошелъ онъ, по своему обыкновению, не прямо, а какъ-то особенно, по-зефлиговски. Сначала показалась его голова, потомъ съ усилениемъ, точно проходя быть чрезвычайно узкій, онъ втискалъ плечи и потомъ только переступилъ порогъ. Произнеся: миръ вамъ!—онъ взялъ стулъ, усѣлся, заботливо приподнялъ полы своего длиннаго сюртука и бережно положилъ ихъ на колѣни. Потомъ, также не спѣша, досталъ изъ кармана табакерку и большой цвѣтной платокъ, засыпалъ въ носъ двѣ порядочныя щепотки, отчего лицо его на минуту сдѣлалось чрезвычайно сосредоточеннымъ, высморкался и, такъ какъ Ципка все не унималась, вмѣшался въ разговоръ.

— Отчего же ты молчишь, — надрывалась Ципка, обращаясь къ Іерохиму, сидѣвшему противъ нея съ опущенной головой, — развѣ отъ этого хоть кусочекъ хлѣба вырастетъ? Ты вѣдь мужчина, а не я: развѣ я должна думать о заработкѣ. Боже мой, наплодить столько дѣтей и ни на что, ни на что не быть годнымъ! Что я дамъ дѣтямъ ѣсть сегодня? мясо свое, старую кожу свою? Уговоришь ты Ханочку не быть голодной или Любку, или Розочку? А мы что будемъ дѣлать, мы вѣдь тоже живые. Изъ того, что ты сидишь, развѣ выйдетъ что-нибудь? Мужчина ходить, нюхаетъ, въ воздухѣ ищетъ заработка, у него голова ни одну минуту не отдыхаетъ. Но ты вѣдь, Іерохимъ, вѣчный калѣка, Іерохимъ! Развѣ ты способенъ на что-нибудь, тебя развѣ трогаетъ что-нибудь? Ну, и пусть Ханка умереть съ голоду. Тебѣ еще лучше: меньше однимъ ртомъ будешь.

— Что же я могу сдѣлать, — смиренно отозвался Іерохимъ, — я вѣдь теперь, какъ въ воду брошенный. Куда я пойду? Развѣ меня знаетъ кто-нибудь? Когда я работалъ у Ханма, я зналъ порядокъ, свой часъ, я зналъ, что это нужно было сдѣлать, а это нѣтъ. А теперь что? Для чего мнѣ вставать раньше или вовсе не вставать, когда мнѣ некуда пойти? Развѣ я изъ

себя могу сдѣлать заказчиковъ? Такъ хорошо, такъ хорошо было, когда я работалъ у Ханма... Не было смерти, такъ ты отыскала ее. Почему ты выгнала Фейгу? Вѣдь въ мастерской они живые куски съ меня сдирали, а я молчалъ и терпѣлъ. Что значить не терпѣть? Развѣ у меня нѣтъ семьи на плечахъ? При томъ человѣкъ долженъ знать, что нужно иногда потерпѣть... Я не хозяинъ, я вѣдь только рабочій, ну такъ какой же я голосъ имѣю? Этого ты не хотѣла знать, а теперь, когда вышло скверно,—я виноватъ.

Ципка слушала нетерпѣливо, съ едва замѣтной злой усмѣшкой на губахъ. Будто она о томъ хлопочетъ, чтобы знать—нужно или не нужно человѣку терпѣть?

— Это мнѣ нужно знать, это? Нѣтъ, скажите, Зефлигъ, видѣли ли вы еще человѣка съ такой головой? Конечно, онъ правъ; я сдѣлала ошибку, что выгнала Фейгу. Ну, я дура, все, все, что онъ хочетъ. Но я вѣдь о другомъ спрашиваю? Я вѣдь говорила про то, что онъ не дѣльный, что голова его спитъ, что самъ онъ ни на что не годится. Хорошо было, когда онъ уцѣпился за Ханма, но человѣкъ не живетъ только Ханмомъ? Развѣ каждый мужчина имѣетъ своего Ханма? А что бы Іерохимъ сдѣлалъ, если бы Ханмъ, въ такой часъ пусть я выговорю, умеръ? Значить я должна съ нимъ и съ дѣтьми идти топиться. Что же другое? Охъ, Зефлигъ, нѣтъ ничего хуже, когда жена умиѣ мужа. Будь я дура, такъ, что ни случись, я все приняла бы за хорошее. Когда чего не понимаешь, то не такъ больно. Онъ развѣ тронется пойти отыскать работу. Теперь я уже должна быть мужемъ. Я буду бѣгать искать заказчиковъ.

— Никто не знаетъ завтрашняго дня, Ципка,—оняты осторожно вставилъ Іерохимъ.—Мы развѣ знаемъ, что съ нами будетъ? На небѣ есть великій Богъ, ты развѣ этого не знаешь?

— Не хватай, Іерохимъ,—вмѣшался, наконецъ, Зеф-

лигъ,—Тотъ, имя Котораго мы недостойны произносить, есть на небѣ, по это послѣ, послѣ. Не хватай же, я тебѣ говорю,—еще разъ съ жаромъ повторить онъ.— Это разъ. А что означаетъ то, что Іерохимъ лишился работы? Нужно искать указанія сверху. Вотъ вчера хоронили Гедаліа. Это что означаетъ, я тебя спрошу? Тоже восемь дѣтей оставить и большую жену. Да, да, восемь дѣтей и большую жену. Скажи же, Іерохимъ, Тотъ, имя Котораго мы недостойны произносить, есть же на небѣ!.. Ну, иди и пойми это: почему Іерохимъ безъ работы остался, а Гедаліа умеръ? Это два значить уже. Еще одна вещь. Лейзеръ Скоробогатый купилъ на прошлой недѣлѣ 100 тысячъ четвертей шпеницы и въ одинъ часъ заработалъ 20 тысячъ рублей. Что это означаетъ? Человѣкъ бездѣтный, богатый, дай Всевышній каждому еврею, и вдругъ еще 20 тысячъ рублей. Къ чему это относится? Долженъ же быть какой-нибудь смыслъ въ томъ, что Гедаліа умеръ, что Іерохимъ безъ работы остался, что Лейзеръ 20 тысячъ заработалъ! Потому я и говорю, ищи указанія сверху, не въ вещахъ, а надъ вещами. Вѣроятно, такъ и должно быть. Тотъ, Который живетъ вѣчно, знаетъ, что дѣлать, и Ему загадокъ не нужно задавать. „Ты, говоритъ Онъ, Гедаліа, что имѣешь восемь дѣтей и большую жену, ты иди ко Мнѣ, ты Мнѣ нуженъ, а ты, Скоробогатый, заблудившійся скупецъ, ослѣпленный деньгами, сиди внизу и царствуй, твой часъ тоже пробьетъ, а ты, нищій Іерохимъ, останься безъ работы, такъ Я хочу, и такъ должно быть“. Я же тебѣ, Ципка, скажу, что это хорошо и мудро. Люди вѣдь совсѣмъ Всевышняго забыли. Сказала ли ты хоть разъ: слава Всевышнему, повѣрила ли ты хоть разъ въ мудрость Его дѣла? Все по тебѣ было плохо и нехорошо. Ну, такъ вотъ, Всевышній тебѣ и показалъ, что то еще не было плохо, и что есть еще и хуже. Что же это должно означать? Это должно означать: какъ человѣку ни плохо, ему могло быть еще

хуже, и оттого онъ долженъ всегда благодарить. А ты это забыла.

Зефлигъ на минуту передохнулъ.

— Когда у царя Давида заболѣлъ единственный сынъ,—продолжалъ онъ,—онъ плакалъ и молился Всевышнему, чтобы Онъ даровалъ жизнь его ребенку, а когда этотъ сынъ все-таки умеръ, великій царь Давидъ игралъ и пѣсни пѣлъ хвалебныя Всевышнему. Что это означаетъ? Въ этомъ лежитъ великій смыслъ, и только стѣпы не видятъ его. Когда несчастія еще не было, онъ плакалъ, молился; слышишь, Ципка: великій царь плакалъ и молился, а когда оно совершилось, онъ радовался. Кто намъ это сказалъ? Объ этомъ говорятъ наши святые книги, въ которыя и ты вѣруешь. Понимаешь теперь?

Зефлигъ откинулся назадъ и потянулся къ табакеркѣ. Иерохимъ сидѣлъ уже съ поднятой головой, и что-то свѣтилось въ его глазахъ, обыкновенно апатичныхъ. Это были и его мысли. Кто знаетъ Божьи дѣла? Такъ оно и должно быть; такъ, вѣроятно, при рожденіи его было записано въ большой книгѣ судебъ.

Въ Ципкѣ, очевидно, происходила борьба. Глаза ее то разгорались, то меркли, но внутренній бунтъ взялъ верхъ.

— Я не забыла Бога, Зефлигъ,—тихо, но горячо, начала она,—нѣтъ, я не забыла Бога. Не говорите мнѣ этого. Но если желудокъ хочетъ ѣсть, то это значитъ, что онъ хочетъ ѣсть и больше ничего. И если у меня нѣтъ 30 копеекъ въ карманѣ, чтобы сварить обѣдъ, то это значитъ, что мои дѣти будутъ голодны и ничего больше. Я не забыла Бога, Зефлигъ, но Богъ забылъ меня. Въ большой книгѣ судебъ разъ навсегда записаны каждый мой шагъ, каждая мысль, и больше обо мнѣ никто не заботится. Дѣлай себѣ, что хочешь и какъ можешь. Что же это значитъ? Это значитъ, что я должна сама о себѣ заботиться. А для этого мнѣ Богъ далъ

голову. Что вы мнѣ рассказываете о Лейзерѣ? У меня развѣ большіе глаза? Это ему, значить, такъ было написано, и иначе оно быть не можетъ. А если я думаю и ищу, гдѣ бы мнѣ копейку заработать, чтобы не голодать; если я хочу знать, что значить праздникъ; если я ищу лучшаго, т. е. чтобы Іерохимъ былъ дѣльный, чтобы не бояться квартирнаго хозяина,—то и это записано въ большой книгѣ судебъ, и этого, значить, хочетъ самъ Богъ. И если я не говорю: слава Богу, — когда нехорошо, то это тоже записано въ большой книгѣ, и этого хотѣлъ Богъ. Все, что я ни дѣлаю здѣсь, идетъ отъ Бога, значить, я Его не забываю и исполняю Его волю. О, я вѣрую въ Бога, но когда мнѣ больно, я не виновата, что кричу. Но я ничего не имѣю къ Богу. Вѣрно, такъ и нужно, чтобы мнѣ было больно. Я имѣю только къ Іерохиму. Богъ его сдѣлалъ портнымъ, а это уже дѣло Іерохима — быть хорошимъ портнымъ. И этого я именно хочу отъ него. Когда у человѣка куча дѣтей въ комнатѣ, то нужно работать и работать, а не быть калѣкой.

— Ты говоришь, какъ дура, Ципка,—отозвался Зейлигъ.—Ну, возьми и убей Іерохима и дѣтей тогда. Это вѣдь тоже окажется записаннымъ въ книгѣ. Отчего же ты не убиваешь? Ты просто не понимаешь, что говоришь. Человѣкъ долженъ идти только по хорошему пути. У насъ есть и другія книги, которыя учатъ, какъ жить. Тебѣ говорятъ: не укради, не убей, не прелюбодѣйствуй, люби и хвали Всевышняго. Ты этого развѣ не знаешь?

— Перестанемъ ужъ лучше говорить объ этомъ, — вдругъ разсердилась Ципка, — изъ этихъ разговоровъ ничего не выйдетъ. Я дура, что начала: я бы уже, Богъ знаетъ, гдѣ была теперь. Несчастная жизнь моя! Бросить дѣтей и идти, искать этому дураку работы.

Всѣ въ комнатѣ замолчали. Каждый сидѣлъ, опустивъ голову, какъ бы стыдась взглянуть другому въ глаза.

Ципка быстро одѣлась, набросила шаль на голову и, наказавъ Ханкѣ смотрѣть за Розочкой, вышла.

— Не знаю, куда она побѣжала! — обратился Іеро-  
химъ къ Зейлигу. — Бросила дѣтей и пошла! Что я буду  
съ ними дѣлать?

Хромоногая Любка, сидѣвшая, по своему обыкно-  
венію, на подоконникѣ, подлѣ Іерохима, при словахъ  
послѣдняго вспомнила, что она еще не ѣла, и рас-  
плакалась. Іерохи́мъ при видѣ слезъ вдругъ съежился  
и засуетился подлѣ дѣвочки.

— Ну, что вы скажете о моей жизни, Зейлигъ, —  
произнесъ онъ, — а? Былъ ли еще одинъ человѣкъ на  
свѣтѣ несчастнѣе меня?

— Ты говоришь, какъ дитя, Іерохи́мъ, — примпри-  
тельно отвѣтилъ Зейлигъ. — Развѣ здѣсь есть жизнь.  
Здѣсь развѣ наша жизнь? Тутъ только вещи и ничего  
больше. Вещи немножко хуже, немножко лучше, но  
это все равно, Іерохи́мъ. Если Лейзеръ ѣстъ серебря-  
ными ложками рыбу и мясо, а ты только селедку, то  
развѣ это что-нибудь значить? И селедка, и мясо, и  
ты, и Лейзеръ — все, все обратится въ ничто. Это  
есть ничто, и въ ничто обратится. Вверхъ, только вверхъ  
нужно смотрѣть.

— Э, — махнулъ рукой Іерохи́мъ, — видно, вы никогда  
дѣтей не имѣли, если такъ говорите! Если сердце болитъ,  
такъ оно болитъ! Несчастная эта Ципка и дѣти. Развѣ  
она не права? На что я гожусь? Работникъ ли я хо-  
рошій, голова ли у меня хорошая? Если бы я только  
Бога не боялся, я бы давно уже на себя руки нало-  
жилъ. Когда человѣкъ не умѣетъ зарабатывать, онъ не  
долженъ жить.

Іерохи́мъ поникъ головой. Нѣсколько секундъ дли-  
лось тяжелое молчаніе. Зейлигъ засыпалъ новую ще-  
потку въ носъ и на этотъ разъ глубоко затынулся.

— Все это слова, Іерохи́мъ, и больше ничего, — на-  
конецъ, произнесъ онъ. — Слова или вещи, не все ли



равно? Я же тебѣ сказать, что и въ горѣ, и въ радости надо стоять надъ вещами. Никогда не нужно забывать, что все, что ни дѣлается здѣсь, проходить, какъ день, и никогда уже больше не вернется. Никогда уже не вернется, Иерохимъ. Зачѣмъ же убиваться надъ этимъ. Главное, только не нужно забывать, что во всемъ, что бываетъ, нужно искать руку Всевышняго. Въ этомъ цѣль нашей жизни! Нужно искать Его и Его. А для этого тебѣ даны вещи. Все, что дѣлается здѣсь, на землѣ, все это тайна безъ начала и безъ конца, и весь смыслъ, вся радость человѣческая, чтобы понять эти тайны, ибо вездѣ и во всемъ Тотъ, имя Котораго мы не достойны произносить. Одинъ мучается, другой радуется, одинъ боленъ, другой здоровъ, одному холодно, голодно, другой сытъ, обутъ, одѣтъ, но это, Иерохимъ, все равно. Все это вещи и ничего больше. Такъ, значитъ, хотѣлъ Всевышній, и такъ оно должно быть. Сегодня ты безъ работы, — это хорошо, мудро. Дѣти твои будутъ голодать и мучиться — это тоже хорошо; Ципка будетъ бѣгать, искать и, можетъ быть, напрасно — и это, Иерохимъ, хорошо; все, все хорошо, все имѣетъ великій смыслъ, и этотъ смыслъ нужно стараться уловить. Въ этомъ — смыслъ жизни человѣка. И тогда только ты побѣдишь временное, бренное и станешь приближаться къ вѣчному. Что такое голодъ, болѣзнь, смерть? Это ничего, говорю я, Иерохимъ, и мнѣ хорошо, ибо ничего оно и есть. Я стою надъ вещами и ищу въ нихъ единый смыслъ, и когда мнѣ иногда случается собрать всѣ нити, я знаю, что я человѣкъ, и радуюсь постиженію Всевышняго. Напримѣръ, въ домѣ пожаръ. Вещи начинаютъ горѣть, и, если люди не ушли, то они тоже сгораютъ. Что это значитъ? Глупые люди плачутъ, а я стою надъ вещами и знаю, что Всевышній сдѣлалъ такъ, чтобы вещи сгорѣли, чтобы этотъ домъ сгорѣлъ и люди его. Но что за бѣда? Это горитъ, — пусть, пусть; что возможно — то все равно будетъ спасено, но этого

хотѣлъ Онъ, а Онъ развѣ что-нибудь дѣлаетъ на вѣтеръ? Такъ и съ тобой. Почему ты портной, а не купецъ; и плохой портной? Я стою надъ вещами и знаю, что это все Онъ дѣлаетъ, и такъ, значитъ, и нужно. Ципка тутъ руки ломаетъ, дѣти плачутъ, а я нищу Его: можетъ быть, это для того, чтобы ты завтра нашелъ мѣшокъ золота и больше обрадовался? Развѣ я знаю!

Зеѣлигъ, сильно утомленный, замолчалъ. Іерохимъ не сводилъ съ него глазъ.

— Я не хорошо понимаю, что вы мнѣ сказали, Зеѣлигъ, но если бы было такъ, какъ я понимаю, то свѣта не было бы. Развѣ я могу не чувствовать, когда мои дѣти голодны?.. Для чего же бы я работалъ тогда? Хорошее было бы дѣло! Я этого не понимаю, Зеѣлигъ, у меня голова разболѣлась отъ вашихъ словъ... Что значить „хорошо“, если мнѣ больно, или если мои дѣти умираютъ съ голода. Самъ Богъ вѣдь плачетъ надъ этимъ. Развѣ вы этого не знаете? Хорошо это говорить вамъ, а не мнѣ. У васъ никогда не было дѣтей, не было жены, вы всегда сидите въ синагогѣ и о хлѣбѣ вамъ не приходится думать, ибо о васъ думаютъ другіе. А кто обо мнѣ думаетъ? Какъ же вы можете знать, что случается съ людьми? У меня со всѣмъ голова разболѣлась отъ вашихъ словъ.

Іерохимъ отвелъ глаза, точно ему чего-то стыдно стало. Потомъ вдругъ выговорилъ съ тоской:

— Богъ знаетъ, гдѣ теперь Ципка.

Зеѣлигъ бережно поднялся, спустилъ полъ сюртука, смахнулъ платкомъ съ груди табакъ и, подойдя къ дверямъ, пронзесъ:

— То, что ты сказалъ, Іерохимъ, не стоитъ и мѣднаго гроша, я тебѣ это говорю... Все, что дѣлается здѣсь, на землѣ, два раза не повторяется, и потому нужно не плакать, а ловить это и стараться понять, ибо, кто хочетъ быть подлѣ Всевышняго, долженъ во всемъ

искать Его указаній. Все же, кромѣ этого — вещи и ничего больше.

Зейлигъ высунулъ сначала голову, потомъ съ усиленіемъ просунулъ плечи, точно Іерохи́мъ втискивалъ его въ проходъ, а затѣмъ уже и вынесъ ноги.

Іерохи́мъ долго слѣдилъ въ окно, какъ медленно удалялась фигура Зейлига.

И вотъ началась эта каторжная жизнь: Ципка безъ устали съ утра до вечера хлопотала въ средѣ такихъ же бѣдняковъ, какъ и она, рассказывала имъ о своемъ несчастіи, передавая и чѣмъ она была, и что такое Іерохи́мъ, и сколько у нея дѣтей, и чѣмъ она больна, и чѣмъ болѣли дѣти, и кто такое Бейла и Фейга, вызывая своими стонами, слезами и глубокой искренностью участие и ласку. Перепадала ли ей кой-какая работа, она сейчасъ же, хотя бы это и было на другомъ краю города, бѣжала домою, передавала ее Іерохи́му, быстро осматривала дѣтей, хозяйство, все это продѣлывая пѣступленно, почти съ ненавистью, и убѣгала опять просить, унижаться. Іерохи́мъ тоже помогалъ ей и, въ свою очередь, искалъ работы, но изъ его посплосковъ никогда не выходило толку. Если онъ находилъ что-нибудь, то непременно у такого бѣдняка, который, навѣрно, не уплатитъ.

За хозяйствомъ теперь присматривала Ханка.

Но какъ ни билась дѣвочка, чтобы поддержать какой-нибудь порядокъ въ комнатахъ и не дать упасть хозяйству, — она неизбежно уступала натиску нищеты. Помощи ждать ей неоткуда было. Хромоногая Любка неизмѣнно сидѣла молча на своемъ мѣстѣ подлѣ Іерохи́ма и, рѣдко выглядывая во дворъ, постукивала своими худыми пальчиками по стеклу. О чемъ думала эта молчаливая дѣвочка по цѣлымъ днямъ? Тоже о голодѣ, о нищетѣ или о своемъ недостаткѣ, навсегда пригво-

здившемъ ее къ одному мѣсту? Думала ли она о будущемъ, о прошедшемъ? Она всегда молчала, такая серьезная и недоступная, и только, когда голодъ сильно донималъ ее, она начинала безъ жалобъ плакать.

А бѣдная Ханка надрывалась надъ хозяйствомъ и мало-по-малу становилась злой, ѣдкой, похожей на мать.

Теперь они уже во-время не пили и не ѣли, питались случайно. Комнатка опустилась какъ-то и загрязнилась. Каждый уголокъ по своему плакалъ. Тамъ Розочка валялась на полу, одѣтая въ одну рубашонку, пачкаясь въ грязи, которую жевала вмѣстѣ съ коркой хлѣба, положенной въ ея ручку Ханкой. Немножко поодаль сверкала лужица грязной воды, вылившейся изъ корыта, въ которомъ стирала та же Ханка; въ другомъ углу всегда сушилось какое-нибудь бѣлье; Іерошимъ сидѣлъ грязный, полуодѣтый, босой, съ ввалившимися щеками, молчаливый... Кратковременное оживленіе и кой-какой порядокъ наступалъ все-таки вечеромъ, съ приходомъ Ципки... Заморенная, едва держась на ногахъ, она съ послѣдней энергіей набрасывалась на ненавистную ей грязь и чистила, выметала, купала дѣтей, понукая всѣхъ въ комнатѣ помогать ей. Потомъ начинались разговоры, знакомые разговоры, долгіе, бесполезные, раздражавшіе.

А поговорить, дѣйствительно, было о чемъ.

За квартиру за прошлый мѣсяцъ не было уплачено, а теперь подвигался и второй. Хозяинъ выходилъ изъ себя, грозилъ выбросить на улицу и даже собирался прибѣгнуть для этого къ законной власти. На Ципку эта мысль дѣйствовала, какъ удары палкой по головѣ. Она вызывала въ ней судороги, упрямое желаніе кричать, вопить, драться. Но какъ ни билась она, какъ ни урѣзывала расходы, пужныхъ денегъ не удавалось собрать. Одно время она бѣгала по городу съ дикой мыслью найти четыре рубля на улицѣ и, какъ помѣшанная, табрасывалась на каждую цвѣтную бумажку, попа-

давшуюся ей на пути. Иерохима въ эту пору она ненавидѣла до изступленія. Видъ дѣтей вызывалъ въ ней одно только желаніе — перерѣзать ихъ до единого, чтобы не распложились нищіе. Минутами на нее находилъ столбнякъ. Тогда ей падоѣдало двигаться и слоняться, и по цѣлымъ часамъ она оставалась на одномъ мѣстѣ, подперевъ подбородокъ руками, и куда-то безцѣльно глядѣла.

Но самое главное несчастье ожидало ее только впереди. Иерохимъ съ каждымъ днемъ все хуже и хуже различалъ предметы. Ему часто уже приходилось напирать зрѣніе изъ всѣхъ силъ, чтобы разсмотрѣть что-нибудь. Ципкъ онъ изъ жалости не рѣшался сообщить правды, чтобы въ конецъ не сразить ее, и предпочиталъ мучиться про себя, въ одиночку, терзаясь мнительностью и отчаяніемъ. Вся картина страшнаго будущаго представлялась ему, какъ на ладони. Тутъ было все, что запуганное воображеніе могло сплести изъ догадокъ. Ему слышались плачь, проклятія Ципки, вой обезумѣвшихъ дѣтей и разговоры, долгіе, бесполезные, раздражавшіе, на что Ципка была такая мастерица. Потомъ дѣти, спія, распухшія отъ голода, протягивали къ нему руки и требовали хлѣба. Въ его испуганномъ воображеніи мѣшались люди и, задумавшись, онъ забывалъ: онъ ли Иерохимъ, Ханмъ ли Иерохимъ, Ципка ли Фейга или Ципка не Ципка, не Фейга, а что-то третье, чужое.

Въ послѣднее время его стала преслѣдовать мысль о самоубійствѣ. Родилась эта мысль чрезвычайно просто и естественно, какъ выходъ изъ обстоятельствъ. Всѣ назойливыя думы какъ-то сразу потеряли свою жгучесть и серьезность, отодвинулись назадъ, и онъ полюбилъ эту мысль. Когда Ципка и дѣти засыпали, онъ начиналъ слоняться изъ угла въ уголъ, босой, чтобы не потревожить спящихъ. Ему приходилъ на память Зейлигъ, съ его поисками Божьей руки, и онъ старался

думать, что все хорошо и мудро, и что мысли его также мудры и хороши. Иногда валясь его падалъ на Ципку, съжившуюся въ своемъ углу, и его влекло постоять и поглядѣть на нее. Щемлящая жалость стискивала его сердце, и онъ долго простаивалъ на одномъ мѣстѣ, стараясь не разогнать своего настроенія, многое вспоминая изъ ихъ долгой совместной жизни. Въ другія минуты что-то очень знакомое ему, что-то въ родѣ духовенія любви пронеслось въ его сердцѣ, и тогда такъ хотѣлось ему погладить ее по лицу, сказать ей что-нибудь ласковое, пріятное, какъ встарину... А затѣмъ, опять прогулка изъ угла въ уголъ, опять тѣ же мысли о хлѣбѣ, о квартирѣ, о заработкѣ, о смерти...

Однажды,—это было спустя день послѣ приговора судьи, по которому хозяину давалось право согнать ихъ съ квартиры и продать ихъ имущество въ свою пользу,—Іерошимъ доканчивалъ спѣшную работу. Отъ горя ли, или отъ думы, но онъ въ этотъ день такъ плохо видѣлъ, что принужденъ былъ украдкой отъ Ципки часто прерывать работу. Ципка никуда не выходила въ этотъ день, ибо пойти было уже некуда. Она не приступала ни къ какой работѣ и все время сидѣла не двигаясь, какъ каменная. Дѣти съ утра ничего не ѣли и плакали. Ханка утѣшала ихъ, какъ умѣла, и разрывалась на части, чтобы всюду поспѣть... Вдругъ Іерошимъ вскочилъ съ мѣста, что-то крикнулъ не своимъ голосомъ, всплеснулъ руками и, ухватившись за голову, повалился на стулъ.

Ципка вмгъ очутилась подлѣ него.

— Что, что такое,—раскричалась она,—что ты ска-  
заль?

Она пристально взглянула на его дрожавшее тѣло, и капельки пота сѣчасъ же выступили на ся вискахъ. Страшные звуки, вырвавшіеся изъ горла Іерошима, по-

казались ей чужими, безсердечными, а то, что дѣти окружили его и кричали на всѣ лады, наводило на нее безумный ужасъ.

— Говори же, что съ тобой, — безсознательно кричала она. — О, глупый, несчастный человѣкъ, даже рассказать толкомъ ничего не умѣешь!

— Я ослѣпъ, Ципка, я ничего уже не вижу, — рыдалъ Іерохи́мъ. — О, Богъ, Богъ! Гдѣ ты, Ципка, сердце мое, душа моя? Гдѣ дѣточки? Стойте подлѣ меня, — я боюсь.

Онъ плотно усьлся на стулѣ и сталъ искать и шарить вокругъ себя руками, — жалкій, дрожавшій.

У Ципки кожа заходила на головѣ. Дикимъ, пронзительнымъ взглядомъ она еще разъ оглядѣла его фигуру, какая-то странная мысль мелькнула въ ея головѣ — она это вспомнила послѣ — и вдругъ она завопила изступленно:

— Не смѣй, не смѣй, слышишь, не смѣй быть слѣпымъ. Я не пушу тебя. Ты не долженъ. Когда у человѣка восемь душъ дѣтей, онъ не долженъ быть слѣпымъ. Онъ долженъ видѣть и хорошо видѣть. Ты этого не знаешь развѣ? Богъ мой! Богъ!

Она заломила руки, расшвыряла дѣтей, видѣ которыхъ изнурялъ ее, и опять очутилась подлѣ Іерохи́ма.

— Не смѣй, не смѣй, — упрямо кричала она, — ты не долженъ быть слѣпымъ. Когда человѣка выбрасываютъ на улицу, онъ долженъ видѣть, куда ему идти. Куда мы пойдемъ? Завтра мы будемъ на улицѣ, и все наше добро продадутъ. Куда же мы пойдемъ? Вокругъ насъ соберется толпа, но намъ и гроша не подадутъ... Что же я съ дѣтьми буду дѣлать? О, калѣка проклятый, и зачѣмъ только ты женился! Не говори, молчи, молчи же, я тебѣ говорю, я перерѣжу дѣтей и себя зарѣжу. Только ты останешься жить. Богъ мой, Богъ! Молчи, молчи, я тебя къ Фейгѣ отправлю. Пускай она тебѣ палочку купитъ, чтобы ты могъ переходить чрезъ улицу

И за тобой смотрѣть не буду. Хорошіі я ей подарочекъ пошлю!

Она вдругъ взглянула на Іерохима, и вся злость ея моментально исчезла. Тревожная, раздражающая жалость, точно сладкое чувство примиренія, захлестнуло ея кипѣвшее сердце, и она почувствовала себя вдругъ слабой и безсильной предъ неисповѣдимиыми путями Бога. Эта мысль и вначалѣ мелькнула у нея, но гнѣвъ пересилилъ ея чувство къ Богу. Теперь наступило иное. Зейлигъ, какъ живой, стоялъ въ ея сознаніи, она слышала его слова о примиреніи со всѣмъ:

— Все, все хорошо и мудро, такъ хочетъ великій Богъ. И голодъ хорошъ, и болѣзнь хороша, и смерть,— все, все хорошо.

Странная дрожь пробѣжала по ея тѣлу, и что-то возвышенно-радостное снизошло въ ея душу.—Но когда больно, такъ больно,—растерянно соображала она.

— Да, когда больно, то больно, но Іерохиму развѣ не больно? И есть ли хоть одинъ человѣкъ, которому когда-нибудь не было больно?.. Пусть Іерохимъ калѣка, слѣпой, но видитъ же это Богъ, допускаетъ вѣдь, значить надобно же это для чего-нибудь. Вѣчно развѣ они будутъ жить. Когда-нибудь да кончится же эта каторга, и тогда ничего не будетъ: ни Іерохима, ни Ципки, ни дѣтей, ни мученій. Помнить ли она вчерашній голодъ, вчерашнюю усталость? И завтра она не будетъ помнить, что было сегодня...

Іерохимъ продолжалъ шарить вокругъ себя руками, точно онъ никогда не былъ зрячимъ.

— Ципка, Ципка,—умолялъ онъ,—подойди же ко мнѣ, дай мнѣ свою руку и не кричи на меня. Развѣ я недостаточно наказанъ Богомъ... Прежде все же я видѣлъ тебя, моихъ дѣточекъ; я могъ пойти куда хотѣлъ. Теперь я совсѣмъ пропащій. Отчего ты сердитъ? Развѣ я когда-нибудь не слушался тебя? Ты хотѣла



такъ—было такъ; ты хотѣла иначе—было иначе. Что же я буду дѣлать у Фейга? Она вѣдь съѣстъ мое тѣло. Зачѣмъ тебѣ Фейга. Я буду сидѣть дома и беречь дѣточекъ!

Онъ опять заплакалъ, свѣсивъ руки, опустивъ голову. У Ципки дрогнуло сердце. Развѣ Іерохимъ теперь не ея плоть и кровь? Развѣ десятилѣтнія страданія не выковали цѣпь, на которую оба привязаны?

И со страстью, которая у нея во всемъ преобладала, она бросилась къ нему, присѣла подлѣ, собрала дѣтей и приказала ощупать ихъ руками.

— Не плачь, не плачь же,—утѣшала она его,—вотъ мы опять всѣ вмѣстѣ. Узнаешь эту руку? Это Ханочка, а это Любка, вотъ Розочка, возьми ее на руки, ну, не плачь же. Мы вѣдь имѣемъ еще великаго Бога на небѣ. Можетъ быть, ты еще поправишься! Богъ, Богъ! Ну, глупый, не плачь же; дѣти, стойте подлѣ отца. Ну, вотъ они, цѣлуй ихъ,—о, несчастный, несчастный человѣкъ!

Ей теперь вспомнилось, какой онъ былъ бодрый и веселый, когда былъ женихомъ. Какія славныя пѣсни онъ пѣлъ ей. Не даромъ же она плакала отъ этихъ пѣсень. И кто бы не заплакалъ отъ такихъ словъ:

„Одному такъ хорошо, другому—еще лучше, пьетъ онъ кофе съ сахаромъ. Отчего же прошли мои лучшіе годы такъ печально, такъ горько?..“

Точно для нея эту пѣснь выдумали. — Отчего же прошли ея лучшіе годы такъ печально, такъ горько? Умиленное состояніе мало-по-малу разсѣвалось, и обыкновенныя чувства и мысли замѣтно овладѣвали ею.

— Развѣ это зло, что ты ослѣпъ, Іерохимъ,—спокойно начала она.—Конечно, это зло, я не говорю, и собака тебѣ не позавидуетъ. Но не это главное зло. Если бы Хаимъ ослѣпъ, особеннаго ничего не случилось бы. Фейга бы его лѣчила, такъ какъ Хаимъ оставилъ бы много денегъ. А ты развѣ приготовилъ что-

нибудь? Когда я стала твоей невѣстой, я вѣдь не знала, какъ себя завидовать? Шутка ли сказать: портной! Вѣдь я думала, что съ тобою мнѣ не страшно обойти весь міръ. Но, могла ли я знать?

Она начинала опять сердиться.

— На что годятся теперь эти слова, Ципка, съ кѣмъ и о чемъ ты говоришь? Ты вѣдь говоришь съ мертвецомъ, хуже чѣмъ съ мертвецомъ. Развѣ это не все равно, что хотѣть вернуть вчерашній день? Ты таки права: хорошимъ работникомъ я никогда не былъ, но все же кусокъ хлѣба я могъ заработать. Конечно, теперь я уже никуда не гоюсь. Я сталъ старъ, слабъ, я надорвался. Но вспомни, вѣдь это не одно и то же: двухъ людей накормить или десять. А я всѣ 12 лѣтъ десять ртовъ кормилъ.

— Ты всегда хочешь быть правымъ, — вскипѣла Ципка, — какъ же люди живутъ? Когда человѣкъ умный, онъ не имѣетъ восьми дѣтей, сколько я разъ тебѣ это говорила? Когда человѣкъ дѣльный, онъ ищетъ, по почамъ не спать, чтобы заработать что-нибудь. А ты что дѣлалъ?

Она махнула рукой и замолчала.

Дѣти разбрелись по угламъ. Наступившія осеннія сумерки сообщили всему въ комнатѣ печальный колоритъ. Грустно притихли побѣжденные борцы. Шумъ, допосившійся со двора, отдавался здѣсь гулко, таинственно, точно проклиналъ кто-то. Въ этой синеватой и дрожавшей тьмѣ несчастье какъ бы нависло, угрожало. Никто не произносилъ ни слова и, казалось, чего-то ждалъ.

Такъ и настигла ихъ ночь.

На слѣдующій день въ комнатѣ Ципки толпилась кучка людей. Была тутъ и Фейга, сидѣвшая противъ Іерохима, съ мелькавшимъ выраженіемъ торжества на

лицѣ, которое она тщетно пыталась скрыть за соболѣзвующей миной.

Сѣровая шаль часто сползала у нея съ головы, и она помпунтноправляла се, не прознося при этомъ ни слова. Возлѣ нея, пригорюнившись, стояла Бейла и что-то часто шептала ей на ухо. Зейлигъ сидѣлъ на своемъ любимомъ мѣстѣ подлѣ стола, по обыкновенію подобравъ полы сюртука, съ табакеркой въ одной рукѣ и съ цвѣтнымъ платкомъ въ другой. Іерохимъ помѣстился на кровати подлѣ Ципки,—оба присмирѣвшіе за долгую ночь тяжелыхъ думъ, пуганные и покорные. Въ углу Ханка почему-то стирала теперь бѣлье, и всплески воды непріятнымъ шумомъ разносились по комнатѣ. Любка уже забралась на свое мѣсто и со страхомъ оглядывала толпу. У дверей толпилось нѣсколько женщинъ, сосѣдокъ по двору; онѣ стояли со сложенными на груди руками и сердобольно покачивали въ тактъ головами,—такія серьезныя, удрученныя. У окна толпились любопытные всѣхъ возрастовъ,—мужчины, женщины, дѣти.

Собралась эта толпа просто, какъ-то съ вѣтра. Никто никому не объявлялъ о катастрофѣ, и все-таки всѣ въ переулкѣ къ вечеру знали о ней. О Іерохимѣ не толковали только одни глухіе. До поздней ночи толпа безцеремонно входила и выходила изъ комнаты Іерохима, и никакая сила не удержала бы этихъ людей отъ того, чтобы не поглазѣть на него, не сказать нѣсколько сочувственныхъ словъ ему, не помочь Ципкѣ вздохами и оханьями. Болѣе участливые вспоминали слѣпыхъ, которые должны были доказать Іерохиму, что болѣзнь его пустяшная, что стоитъ сдѣлать только что-то, чтобы слѣпоту какъ рукой сняло. Они ссылались на примѣры, на факты. И до того всеобщее ослѣпленіе было велико, что каждый находилъ въ себѣ капельку вѣры въ чудо. Только бы слѣпые явились!

И они явились, эти старые, сѣдобородые, толстые.

худые, высокіе и малые люди, каждый съ своимъ особеннымъ и непремѣнно убѣдительнымъ доказательствомъ, съ фактами въ рукахъ. Усѣвшись въ кружокъ подлѣ Іерохима, съ слабой надеждой на то, что авось надъ ними сжалятся и возьмутъ да покормятъ ихъ, они начинали рассказывать шопотомъ какія-то дивныя, необычайныя исторіи, приводя неслыханное множество примѣровъ чудесныхъ исцѣленій. Іерохимъ слушалъ исторіи, и лицо его выражало почтеніе и вниманіе. Въ результатъ же отъ всего этого волненія получилось что-то чрезвычайно странное. Въ моментъ высокаго психическаго настроенія, выставлявшаго несчастіе одной только стороною, всѣ какъ-то вдругъ позабыли, что слѣпота Іерохима являлась одними цвѣточками, и что ягоды были только впереди. Одна Ципка не теряла этого изъ виду, но она одна была безсильна противъ этого натиска хотя и хорошихъ, но бесполезныхъ чувствъ, и только про себя думала свою горькую неразрѣшимую думу о завтрашнемъ днѣ.

Когда утромъ въ комнатѣ появилась Фейга, и вслѣдъ за нею съ чрезвычайными усиліями протиснулась въ свободный проходъ фигура стараго Зейлига, у нея нѣсколько отлегло отъ сердца. Безпокойло ее, впрочемъ, отсутствіе Хаима, но и это сейчасъ же уладилось, такъ какъ Фейга еще на порогѣ объявила, что Хаимъ идетъ за ней съ дѣточками. Въ комнатѣ, хотя толпились по-прежнему, по все же какъ-то совѣстливѣе, осторожнѣе, точно вдругъ догадались, что шумѣть и беспокоить по этому случаю совсѣмъ не зачѣмъ; за то весь центръ оживленія перешелъ во дворъ, къ окну. Ципка все-таки не выдержала, замѣтивъ, что на свадьбѣ Дворки не было столько народу, и что Дворка была бы первой счастливицей, если бы увидала у себя хоть половину этой толпы, что въ свою очередь вызвало саркастическій отвѣтъ Бейлы.

— Что подѣлаешь? Развѣ всѣ люди имѣютъ такія

твердые сердца, какъ у нѣкоторыхъ. Ну, и собрались. Но развѣ на это нужно смотрѣть. На доброе сердце пужно смотрѣть. Ципка выгнала Фейгу, почему же Фейга пришла, и почему Хаймъ, пусть онъ будетъ здоровъ, придетъ? Какъ будто бы кто-нибудь можетъ не догадаться — почему? Очень просто. У Фейги и у Хайма, пусть они будутъ здоровы, золотыя сердца!

Ципка съ ненавистью взглянула на Бейлу, но сдержалась.

— Что ты такъ смотришь на меня, Ципка?—задорно сорвалась Бейла,—развѣ я не правду сказала? Развѣ ты могла выгнать Фейгу, и она послѣ этого пришла, то она просто праведница... Видѣла?

— Перестань, Бейла,—кротко перебила ее Фейга.— Мы имѣемъ великаго Бога на небѣ, Который видитъ все, что дѣлается здѣсь. Когда я Ципку предупреждала, тогда она меня ругала и выгнала. Не значитъ ли это, что Богъ ее отвелъ отъ правды. Чѣмъ же она виновна?

— Къ чему намъ объ этомъ говорить, Фейга,—примирительно и покорно перебила ее Ципка.—Какой прокъ выйдетъ изъ этого? Будемъ лучше говорить о дѣлѣ!

— О чемъ же я говорю, Ципка? Я развѣ о чемъ-нибудь другомъ говорю. Ты подстерегаешь каждое мое слово, Ципка, хоть бы теперь удержалась!

— Довольно, женщина! — внушительно произнесъ молчавшій до сихъ поръ Зейлигъ.—Вотъ идетъ Хаймъ!

Никто не тронулся съ мѣста при этомъ извѣстїи... Ципка рванулась было встать, но тотчасъ же передумала и осталась, какъ сидѣла. Иерохимъ раза два дернулъ ее за рукавъ, но она только терпѣливо задержала плечами въ отвѣтъ и сидѣла ему какой-то знакъ глазами, забывъ, что Иерохимъ не можетъ его увидѣть. Хаймъ, между тѣмъ, сопровождаемый жужжаніемъ разступавшейся предъ нимъ толпы, вошелъ въ комнату. Тутъ онъ осмотрѣлся, поздоровался, отыскавъ глазами

свободное мѣсто и, не выпуская изъ рукъ своихъ мальчугановъ Ицку и Берку, усѣлся.

Съ приходомъ Хаима всѣ подбодрились, оживились, но посидѣли нѣсколько минутъ молча. Такъ какъ вся надежда была на него, то и ожидали, что онъ скажетъ. Зейлигъ приказалъ Ханкѣ оставить работать, такъ какъ изъ-за плеска воды нельзя было ничего слышать. Хаимъ одобрительно мотнулъ головой и протянулъ два пальца къ жилеткѣ Зейлига.

Зейлигъ вытащилъ табакерку, подsunулъ ее подъ пальцы Хаима, потянулся и самъ за шепоткой и, держа два пальца въ воздухѣ, произнесъ:

— Пусть съ твоимъ приходомъ, Хаимъ, наступитъ радость въ этомъ домѣ. Въ семьѣ, гдѣ есть мертвецъ, все же лучше, чѣмъ здѣсь!

Ципка начала плакать.

— Не плачь, Ципка,—продолжалъ старикъ,—плачутъ только глупые. Развѣ раньше кто-нибудь заболѣлъ объ Иерохимѣ? Развѣ въ мірѣ было лѣкарство противъ его несчастья? Кто бы подумалъ объ его женѣ, его домѣ, его дѣтяхъ? Никто, ибо каждый имѣетъ свою жену, свой домъ, своихъ дѣтей. Когда человѣкъ здоровъ и еще плетется на ногахъ, то будь онъ во сто разъ несчастнѣе, никто не захочетъ его пожалѣть. Что же это значить? Это значить, что Иерохимъ долженъ былъ ослѣпнуть ради своей семьи, и Тому, имя Котораго мы не достойны произносить, не нужно задавать вопросовъ? Это должно было такъ сдѣлаться, и объ этомъ печего больше говорить.

Хаимъ одобрительно покачалъ головой. Только Фейга хмурилась и подозрительно завѣшивала каждое его слово.

— Вы говорите очень сладко, Зейлигъ,—пропѣдила она,—но сладкими словами вы меня не растрогаете. Я знаю, что знаю, и больше ничего. Если Иерохимъ сталъ калѣкой, значить, Богъ знаетъ, что дѣлается,

и конецъ. Меня же это совсѣмъ не касается. Мало ли калѣкъ и нищихъ на свѣтѣ? Послѣ этого можно думать, что я должна имъ всѣмъ помогать. Развѣ Іерохи́мъ былъ человѣкъ, какъ другіе люди? О чемъ думать онъ всю свою жизнь, спросите его? Плодилъ нищихъ. Видѣли вы — сколько онъ высосалъ у меня? Послѣ свадьбы гдѣ Іерохи́мъ поселился? у меня. Гдѣ онъ ѣлъ и пилъ съ своей женой цѣлый годъ? у меня. У кого Іерохи́мъ работалъ цѣлыхъ шесть лѣтъ въ то время, когда у другого его и шести дней не держали бы? у меня? Чего же еще отъ меня хотятъ? Я просто праведница.

— Дорогая Фейга, не огорчайся же такъ, — вмѣшалась Бейла, — ты вѣдь разстроишь свою грудь. Бога поборись.

— Не мѣшайте вы хоть здѣсь, Бейла, — разсердился Хаимъ. — Откуда вы взялись? Звалъ васъ кто-нибудь? Нужны вы кому-нибудь? Стойте тамъ на своемъ мѣстѣ и молчите...

— Не кричи, пожалуйста, Хаимъ, — вспыхнула Фейга, — никто тебя не боится. Ея слова колятъ тебя. Ты бы хотѣлъ, чтобы она имѣла твое каменное сердце въ груди!.. Она мнѣ, бѣдненькая, больше предана, чѣмъ ты. Ты бы взялъ да сейчасъ же отдалъ бы все свое добро этому калѣкъ?

— Зачѣмъ ты все сердишься, Фейга? — умоляюще вмѣшалась Ципка. — Кто думаетъ отнимать у тебя твое добро? У кого есть такія мысли, пусть у того добра во вѣкъ не будетъ. Что ты? Развѣ оно тебѣ легко пришлось самой, или ты его украла у кого-нибудь? Ты вѣдь, бѣдненькая, довольно работала для этого. Говорятъ же по-человѣчески. Соидутся люди, переговарятъ, тотъ дастъ что-нибудь, другой дастъ, — соберется нѣсколько рублей, а на эти деньги можно уже будетъ какое-нибудь мѣсто купить для меня на базарѣ. Іерохи́мъ вѣдь тебѣ не чужой. Ты бы могла развѣ видѣть, какъ

онъ съ голоду будетъ умирать? Ну, а дѣти? Я не говорю о себѣ,—о себѣ я уже буду молчать.

Ципка дернула Іерохима за рукавъ,

— Я тебѣ тоже это хотѣлъ сказать, Фейга, — съ трудомъ произнесъ Іерохимъ, привставъ. — Ты видишь мое положеніе, — онъ махнулъ безнадежно рукой, — много я не могу говорить, — но Богъ меня довольно наказалъ. Я былъ честный человѣкъ, Фейга, и никогда ничьей копейки не замоталъ. Теперь я долженъ руку протягивать...

Онъ махнулъ опять рукой, что-то еще собрался сказать, но не найдя словъ, пошарилъ вокругъ себя руками и осторожно усѣлся на прежнее мѣсто. Въ это время сосѣдки, стоявшія у дверей, слышавъ, что дѣло касается подачки, стали безшумно одна за одной исчезать изъ комнаты. Фейгу передернуло отъ злости.

— Видишь, какъ поступаютъ умные люди, — обратилась она къ Бейлѣ, — только я дура сижу здѣсь и не ухожу. Положимъ, я бы давно уже ушла, но у меня есть дуракъ, который здѣсь останется. Ему развѣ больше нужно будетъ? Это человѣкъ, на котораго можно положиться? — Это теленокъ и ничего больше. Богъ меня тоже славно съ нимъ благословилъ.

— Что тебѣ сдѣлалъ этотъ несчастный Іерохимъ, — вскипѣлъ Ханмъ. — Если бы я имѣлъ брата, я бы, кажется, ему душу отдалъ, а ты Іерохима готова утопить въ ложкѣ воды.

— Тише, тише, пожалуйста, тебя вездѣ хорошо знаютъ. Ты думаешь, что ты лучше Іерохима. Ошибаешься, мой дорогой, ты такой же калѣка, какъ и онъ. Гдѣ бы ты былъ теперь, если бы меня не было подлѣ тебя? Твою лавку растаскали бы за ничто... А потомъ ты пошелъ бы подъ окна просить на хлѣбъ. Нашли дойную корову. Не хочу я помогать никому, и конецъ. Что я за богачка такая, милліоны у меня лежатъ, дѣтей меня пѣтъ? Много найдется калѣкъ и нищихъ. Я не



Иерохимъ,—я думаю о завтрашнемъ днѣ. Это ты, можетъ быть, не думаешь. Умри ты—что я должна буду дѣлать? Тоже пойти просить на хлѣбъ? Никто не доживетъ до этого! Рубль я еще брошу, пожалуй, и то буду жалѣть. Нужно было ему умнѣй быть. Довольно насосались они у меня. Зачѣмъ еще и кому, спрашивается, я буду давать? Развѣ Иерохимъ былъ такой почтительный и послушный братъ? Пожалѣлъ онъ меня когда-нибудь, слыхала ли я отъ него ласковое слово? Онъ думалъ всегда только о себѣ. Портняжескія пѣсенки пѣлъ, когда у меня желчь разливалась. Башмачки своей царицѣ одѣвалъ. Кто мнѣ одѣвалъ башмачки? Ты, можетъ быть? Много ты на меня смотрѣлъ? Онъ дѣлалъ все, что хотѣлъ, а теперь опустил свою головку. О, глупый дуракъ, калѣка несчастный! Когда я разъ осмѣлилась ему сказать, что не велико счастье жениться на служанкѣ, то нужно было видѣть, какъ онъ мнѣ отвѣтилъ. Онъ вертѣлъ своей курчавой головочкой, какъ настоящій человѣкъ, и, я уже не знаю, гдѣ онъ этому тогда выучился, говорилъ: „мое сердце знаетъ, чего хочетъ.“ Ну, пусть онъ и теперь знаетъ, чего хочетъ!

Фейга разошлась до такой степени, что не было возможности ее удержать. Она упивалась своимъ гнѣвомъ и старалась перекричать всякаго, кто собирался возражать ей.

— Фейга, дорогая Фейга, довольно, пожалѣй своихъ дѣтей,—удалось-таки вставить Бейлѣ.

— Лежи въ землѣ съ дѣтьми, я не могу это перенести, понимаешь ты? Что вы всѣ наѣли на меня? Давай, давай, другого слова не знаютъ! Развѣ я дѣлаю фальшивыя деньги? Вѣдь у меня глаза вылѣзаютъ, пока я не увижу свободной копейки, чтобы отложить ее про черный день. Развѣ это легко приходится? А мой дурень сидитъ, какъ корова,—возьми да и выдои его. Я сказала, что дамъ рубль, и больше у меня ни-

кто копеечки не возьметъ. Я должна себя имѣть въ виду. У меня маленькія дѣти; маленькія дѣти стоятъ больше взрослыхъ. А тутъ давай да давай. Будто деньги мои краденныя!—Она гнѣвно вскочила съ мѣста, взяла Ципку на руки и такъ ужъ и осталась съ нимъ.

— Ну, что вы скажете, Зейлигъ?—вскочила Ципка, а за ней, трясясь, поднялся и Іерохимъ.

— О, Богъ, Богъ, какъ Ты можешь молчать, глядя, что дѣлается на землѣ! За что она купается въ моей крови? Что я сдѣлала ей? Или я ругала ее, или я украла у нея что-нибудь? Боже мой, Боже мой!

Ципка хотѣла еще что-то сказать, но плачъ, звѣнѣвшій въ ея голосѣ, вдругъ вырвался изъ ея горла и огласилъ комнату. Лицо ея судорожно передернулось, расширилось и приняло страшное выраженіе.

— Что я тебѣ скажу, дитя мое,—важнымъ и задумчивымъ голосомъ произнесъ Зейлигъ.—Знаешь, въ то время, когда мы еще имѣли свое собственное царство, существовалъ такой обычай наказывать преступника: его выводили далеко за городъ, раздѣвали наголо, обмазывали все тѣло свѣжимъ медомъ и оставляли въ такомъ видѣ на произволъ судьбы. Вскорѣ затѣмъ прилетали пчелы и, почуявъ запахъ меда, набрасывались тысячами на голое тѣло, и чрезъ нѣсколько времени преступникъ умиралъ въ мученіяхъ. Это было страшное наказаніе! Однажды случилось такъ, что преступника, обмазаннаго медомъ и пачинавшаго стонать отъ укусовъ первыхъ пчелъ, увидѣлъ проходившій мимо его старый другъ. Узнавъ казнимаго, онъ горестно всплеснулъ руками и, движимый глубокой жалостью, хотѣлъ было наброситься на пчелъ, разогнать ихъ и тѣмъ уменьшить страданія мученика. Но лишь только онъ приблизился, чтобы исполнить свое намѣреніе, какъ несчастный сталъ умолять его именемъ Бога не дѣлать этого. Въ великомъ смущеніи

онъ остановилъ свою руку и спросилъ несчастнаго о причинѣ этого запрета. „Я тебѣ скажу, — отвѣтилъ тотъ. — Эти пчелы, что усѣяли мое тѣло и вонзили въ него жало, совершили свое дѣло и больше причинить страданій ужъ не могутъ. Если же ты, поддавшись добротѣ своей, отгонишь этихъ, то ихъ тотчасъ же замѣнятъ новыя, и тѣмъ удвоятся страданія мои. Поэтому, прошу тебя, оставь все, какъ есть, и предоставь меня моей судьбѣ“. Вотъ что я хотѣлъ сказать тебѣ, Ципка. Понимаешь? Терпи свое наказаніе и не ищи друзей, чтобы избавили тебя отъ него. Такъ хочетъ Всевышній, а что Онъ хочетъ, то мудро и хорошо.

Слова Зейлига произвели замѣтное впечатлѣніе на Фейгу. Она присѣла, притихла и задумалась. Ханмъ съ трудомъ сдерживалъ свой восторгъ.

— Да, да, Зейлигъ, — заговорилъ онъ, — какъ вы это хорошо сказали. Это расхочется по всѣмъ косточкамъ. Конечно, человѣкъ долженъ быть всегда человѣкомъ. Что же, развѣ мы богатство въ землю возьмемъ съ собой? Правда, мы имѣемъ дѣтей. Ну что жъ такое? Слава Богу, мы молоды и имѣемъ великаго Бога. Это я всегда думалъ и говорилъ. Но подите-ка уговорите мою Фейгу. Развѣ я хотѣлъ выгнать Іерохима? Онъ бы у меня до самой своей смерти работалъ. Но жены поссорилась, и семья осталась безъ хлѣба. Что я могъ сдѣлать? Когда жена убѣдить себя, что она всему голова, такъ тутъ никто не поможетъ. Конечно, я отказалъ Іерохиму, но никто не зналъ, какъ у меня сердце болѣло о томъ. Развѣ шутка: жена и восемь человѣкъ дѣтей! Но я долженъ былъ молчать. Теперь же нельзя его такъ оставить, правда, Фейга?.. Нужно же ему помочь, Фейга! Но, конечно, по-человѣчески, а по-человѣчески не нужно и себя забывать. Что ты скажешь? Нѣтъ, я хочу знать, что ты скажешь?.. У тебя вѣдь бываютъ иногда очень хорошія мысли.

— Что я скажу, — со вздохомъ отвѣтила Фейга, — что я могу сказать? Дѣлай, какъ хочешь. Кричи, кричи, развѣ поможетъ? Я хотѣла къ лучшему. Если бы не ты помогъ, помогъ бы другой. Мало ли людей на свѣтѣ? Но если ты хочешь такъ, пусть будетъ такъ. Я не хочу мѣшаться. Пчелою я тоже не хочу быть.

— Такія сердца, такія золотыя сердца! — воскликнула Бейла, подавивъ свою злость и сложивъ руки предъ собою. — Ну, Ципка, что ты теперь скажешь про этихъ людей? Нужно было тебѣ ее ругать?

Она схватила Берку на руки и стала осыпать его ласками.

— Э, это все пустыя дѣла, — еще разъ заговорилъ Зейлигъ, — женщины всегда найдутъ о чемъ болтать. Я же говорю, что все это нужно умѣть понять, и ничего больше. Не хватай, — удержалъ онъ Бейлу жестомъ, — всѣ видятъ вещи и ничего — за ними. Задается загадка: на что Всевышнему нуженъ былъ слѣпой Іерохимъ? Зачѣмъ онъ такого бѣдняка обидѣлъ? И люди плачутъ, и люди горюютъ, а я говорю: не нужно плакать, ибо на всемъ лежитъ рука Того, Который живетъ вѣчно. Всѣмъ казалось, что глубже горя и быть не можетъ, а это были только вещи и ничего больше. И что же дѣлаетъ Всевышній? Онъ говоритъ: „ты, Іерохимъ, что имѣешь восемь дѣтей, голодныхъ и оборванныхъ, что имѣешь жену, слабую и немощную, ты, Іерохимъ, испей чашу горечи до дна, ибо такъ хочу Я, Господь, Богъ твой“. Онъ говоритъ: „ты, Фейга, что имѣешь домъ въ довольствѣ, что имѣешь мужа здороваго, дѣтей сытыхъ и обутыхъ, приди въ домъ слѣпому Іерохиму и отдѣли ему часть богатства твоего, ибо такъ хочу Я, Господь, Богъ твой“. И что невидимо хотѣлъ Всевышній въ своей мудрости, все сіе совершилось. Фейга пришла въ домъ слѣпому и подѣлится съ нимъ богатствомъ своимъ. А я говорю еще разъ: это хорошо

и мудро. Все, все хорошо, что здѣсь ни дѣлается,—все хорошо, все имѣетъ великій смыслъ. А теперь...

Зейлигъ не успѣлъ кончить изъ-за поднявшагося у дверей шума. Онъ поднялъ глаза и замеръ. Всѣ въ комнатѣ вскочили съ своихъ мѣстъ, а Ципка, понявъ, наконецъ, заголосила. Въ комнатѣ стояло лицо, которое чрезъ минуту всѣ разглядѣли. То былъ судебный приставъ.

— Приступаю къ исполненію своихъ обязанностей,— началъ онъ...

Ханмъ всплеснулъ руками и ухватился за Фейгу. А Ципка завопила надтреснутымъ, какимъ-то тоскующимъ голосомъ послѣднюю мольбу нищеты:

— Не пишите, не пишите,—задышалась она, поспѣшно утирая потъ, ручьями катившіяся съ ея лица.— Не падо, куда я пойду съ своими дѣтьми? Богъ, Богъ, пошли Ты мнѣ смерть!

Она металась по комнатѣ, ловя руку пристава для поцѣлуя, падала на колѣни предъ нимъ,—то непреклонная, то покорная.

— Не трогайте, не пишите,—упрямо повторяла она,—куда я пойду съ дѣтьми? У меня мужъ ослѣпъ! Богъ, Богъ, да проси же!—крикнула она дрожавшему Іерохиму,—о, калѣка проклятый, до чего ты насъ довель. Вотъ, вотъ твои дѣти, па, бери ихъ, берите ихъ, берите все, душу мою возьмите.

Іерохимъ, какъ стоялъ, такъ и опустился на колѣни. Странное впечатлѣніе производила эта фигура среди шума и гама, среди неряшливо набросанныхъ вещей, безмолвная фигура, съ протянутыми руками къ кому-то съ мольбой, съ глазами, широко раскрытыми, съ выраженіемъ мучительнаго недоумѣнія на лицѣ.

Ципка все еще металась—точно въ горячкѣ, всякій разъ патапкиваясь на Іерохима, который при каждомъ толчкѣ, стоя на колѣняхъ, переползалъ на другое мѣсто.

Зефлигъ, какъ привсталъ, такъ и остался въ согбенной позѣ. Полы его сюртука сползли внизъ, но онъ не замѣчалъ этого. Прижавъ обѣ руки къ груди, онъ все сморгѣлъ въ одну точку, нарѣдка прислушиваясь къ стenanіямъ Ципки, но больше думая о своемъ, о томъ, что есть надъ вещами, и губы его, казалось, шептали попрежнему: все хорошо, все мудро.

Хаимъ, Бейла, дѣти и Фейга сбились въ кучку, трепещущіе и неподвижные.

А Ципка все еще, какъ ей казалось, кричала, хотя она давно уже говорила хриплымъ голосомъ:

— Не надо, не дѣлайте, это вѣдь кровью все было куплено... Богъ, Богъ, пошли смерть мнѣ и моей семьѣ!

Въ дверяхъ подозрительно безмолвствовала толпа.

## УБІЙЦА.

(1900).

— Да,—началь могильщикъ Мпхель послѣ долгаго молчанія,—это было такъ:

— Въ числѣ многихъ другихъ примѣчательностей нашего города, тогда едва еще начинавшаго жить, какъ разъ посреди улицы, гдѣ помѣщалась еврейская больница, съ незапамятныхъ временъ стоялъ колодець.

Старые люди рассказывали, что колодець этотъ былъ нѣкогда вырытъ богобоязненными турками, въ память одного своего важнаго и вліятельнаго соплеменника. Но послѣ того, какъ турки были вытѣснены новымъ населеніемъ, слава объ этомъ колодцѣ сдѣлалась дурной. Стали находиться люди, которые рассказывали, что собственными глазами видѣли, какъ по ночамъ появлялся похороненный подъ больничнымъ фундаментомъ важный турокъ, шелъ къ колодцу, гдѣ оставался до утра и стоналъ. Нечего и говорить, что глупые люди перестали пользоваться водою изъ колодца, и даже днемъ со страхомъ проходили мимо него. Среди братьевъ водовозовъ того времени былъ, однако, одинъ старикъ, котораго такими сказками нельзя было напугать. Безстрашный старикъ этотъ былъ извѣстный водовозъ Нухимъ, выходець изъ Литвы, здоровый, какъ медвѣдь, и злой, какъ цѣпная собака. У этого Нухима былъ единственный сынъ, лѣтъ подъ пятьдесятъ, которому

вѣроятно, въ насмѣшку было дано при рожденіи имя Лейба. Впрочемъ, въ послѣдствіи люди исправили эту погрѣшность и даже въ 50 лѣтъ его называли не Лейбой, а Лейбочкой. Долженъ я сказать, что подобнаго несчастнаго неудачника я ни раньше ни позже уже не встрѣчалъ въ моей жизни. На отца своего, богатыря, онъ рѣшительно ничѣмъ не былъ похожъ. Нухимъ былъ могучій, отважный старикъ, передъ которымъ всѣ дрожали, и отъ громового голоса его самые смѣлые и здоровые блѣднѣли. Лейбочка былъ маленькій, мизерный человѣчекъ, трусливый, какъ трехлѣтній ребенокъ. Въ его фигуркѣ не было ничего крупнаго: маленькіе глазки, которые постоянно моргали, маленькія ручки, рѣдепекіе, коротенькіе волосы на лицѣ, тоненькая шейка на неровныхъ плечикахъ. Отцу во всемъ везло, а у Лейбочки даже жена обладала такимъ страннымъ характеромъ, котораго не пожелалъ бы и злѣйшему врагу своему. Дѣтей у Лейбочки было 11 душъ, и не даромъ это замѣчательное семейство служило въ городѣ примѣромъ того, какъ человѣкъ можетъ быть наказанъ, если даже ни въ чемъ не виновенъ.

По профессіи Лейбочка былъ скрипачемъ, и игралъ на скрипкѣ лѣвой рукою, такъ какъ отъ рожденія выказалъ себя лѣвшой. Какъ Лейбочка игралъ, это, конечно, другой вопросъ, но я могу поклясться всѣмъ святымъ, что если бы Лейбочка не игралъ на скрипкѣ хоть лѣвой своей рукою, то навѣрное половина нашихъ еврейскихъ дочерей засидѣлась бы въ дѣвушкахъ.

Лейбочка былъ первымъ скрипачемъ въ свадебномъ оркестрѣ Шмереля Кривого, тоже въ своемъ родѣ замѣчательнаго человѣка. Шмерель Кривой былъ единственный еврей въ нашемъ городѣ, который правой стороною своего лица смотрѣлъ на Божій міръ не глазомъ, а грязнымъ кускомъ чернаго пластыря.

У этого-то Шмереля, вѣчно раздраженнаго своимъ пластыремъ, застилавшимъ отъ него цѣлую половину



прекраснаго міра въ продолженіе четверти вѣка, и работаль Лейбочка. Работа была поистинѣ каторжная. Въ три часа собирались въ свободномъ залѣ въ ожиданіи приѣзда невѣсты, и съ этого момента начиналась игра, которая оканчивалась на слѣдующій день, часто вечеромъ. Все же это время, едва перекусивъ, нужно было пилить съ такимъ усердіемъ, будто на этотъ разъ Шмерель уже не отложитъ уплаты въ долгиі ящикъ, а сейчасъ же, по окончаніи, раскошелится. Часовъ въ 12 вечера, передъ свадебнымъ ужипомъ, начиналась величественная минута. Какъ мнѣ описать вамъ ее? Какими красками изобразить торжественность момента, когда почтенный Шмерель, поднявшись съ своего высокаго стула, откуда онъ, какъ одноглазый орелъ, наблюдалъ за веселившимися молодыми евреями, нарисовывалъ въ воздухѣ смычкомъ приказаніе, чтобы оркестръ сыгралъ приглашеніе на „ножницу“. А потомъ? Потомъ, утеревъ потъ съ своего взволнованнаго чела краснымъ фуляромъ, онъ дѣлалъ Лейбочкѣ глазомъ знакъ, который означалъ у него все, что угодно: и да, и нѣтъ, и убирайся къ чорту, и садись, Лейбочка, на мое мѣсто. И когда Лейбочка, взявъ лѣвой рукой смычекъ, смирнехонько усаживался на кончикъ стула начальника, а успокоенный и убоготворенный Шмерель начиналъ съ котелкомъ для складчины въ рукѣ пробираться среди взволнованныхъ кавалеровъ, о — какими непередаваемыми сладчайшими чувствами бывало разрисовано его лицо. Въ эту минуту казалось, что Шмерель забывалъ о своихъ легкихъ, такъ неподвижно покоилась рубанка на его широкой груди, — и еще казалось, что вся жизнь переходила въ этотъ единственный глазъ, который какъ будто стремился сорваться съ лица, чтобы полетѣть въ карманъ каждаго кавалера... А въ это время Лейбочка, голодный, полусонный, инстинктивно напирывалъ что-то печальное, точно тихими, жалобными

звуками своей пѣсни хотѣлъ разсказать всѣмъ, какъ невесела и ужасна его жизнь ..

Однажды вечеромъ—помню это было въ концѣ лѣта, когда луна бываетъ такой большой и ясной,—на скамьѣ подлѣ больничной аптеки сидѣли экономъ, смотритель и аптекарь и смертельно скучали. Я, служившій при больничной мертвецкой, по обыкновенію былъ съ ними, такъ какъ никто не умѣлъ этихъ пріятелей развеселить, какъ я. Тогда я умѣлъ отлично танцовать, былъ искусенъ на выдумки, зналъ много чудесныхъ еврейскихъ пѣсень, которыя пѣлъ такъ, какъ ни одинъ еврей въ мірѣ. Но въ этотъ несчастный вечеръ я былъ не въ ударѣ, и мнѣ никакъ не удавалось разсѣлать ихъ. Всѣ трое сидѣли злые и молчали, томясь видомъ пустынныхъ и какъ бы вымершихъ улицъ. Я уже держался поодаль, боясь ихъ гнѣва, и главнымъ образомъ слѣдилъ за экономомъ, который отъ скуки становился просто свирѣпымъ.

— Не поколотить ли намъ Михеля?—раздался вдругъ его жестокий голосъ, и онъ указалъ на меня.

Я даже подскочилъ отъ испуга. „Поколотить меня! У этого бѣшеннаго, мелькнуло у меня, все можетъ стать,—и лучше попасть подъ крылья вѣтряной мельницы, чѣмъ въ его руки“.

— Зачѣмъ вамъ меня колотить,—осторожно произнесъ я, на всякій случай, незамѣтно пятясь.

— Это меня развлечетъ, я умираю отъ скуки,—отвѣтилъ онъ.

— Не хотите ли,—вкрадчиво началъ я,—господинъ экономъ, чтобы я спѣлъ вамъ: „Какъ на печи бѣднякъ сидѣлъ“.

— Надоѣли твои пѣсни. Нисензонъ,—обратился онъ къ аптекарю,—что вы скажете на мысль поколотить Михеля?

— Подождите,—задрожалъ я.—Хотите я расскажу вамъ, какъ я прятался отъ солдатчины, когда мнѣ

было 10 лѣтъ, и провелъ двухъ самыхъ хитрыхъ сыщиковъ.

— Слышали уже эту исторію. Право, я тебя побью.

— Я и самъ готовъ броситься на перваго встрѣчнаго,—вмѣшался аптекаръ, потирая колѣни.

— Проклятый вечеръ,—пробормоталъ смотритель,—хоть бы чортъ какого-нибудь дурака послалъ.

— Постоите,—вдругъ вскочилъ экономъ, обрадовавшись блеснувшей у него мысли,—у меня явилась идея. Если чрезъ пять минутъ Михель ничего не придумаетъ, то я отрѣжу ему бороду. Возьми, Михель, часы и считай,—холодно сказалъ онъ, протягивая мнѣ руку.

Дѣло принимало скверный оборотъ. Экономъ не любилъ въ такихъ случаяхъ шутить, и я по глазамъ его видѣлъ, что мнѣ не сдобровать.

— Господинъ экономъ,—жалобно произнесъ я... и вдругъ остановился, прислушиваясь.

— Что такое?—спросилъ онъ, насторожась.

— Кажется, кто-то идетъ сюда. Слышите?

Всѣ мы начали прислушиваться. Дѣйствительно кто-то шелъ. Черезъ нѣсколько минутъ мы замѣтили, какъ человекъ, отдѣлившись отъ колодца, робкими и неровными шагами сталъ приближаться къ намъ.

— Не турокъ ли?—невинно произнесъ я.

— Убирайся къ чорту,—разсердился трусливый аптекаръ.

Человекъ приблизился, и я его сейчасъ же узналъ.

— Лейбочка,—вскрикнулъ я, пораженный.

— Лейбочка,—хоромъ закричали аптекаръ, экономъ и смотритель,—какими судьбами?

— Да, Лейбочка,—помотавъ головой, точно его что душило, печально отвѣтилъ музыкантъ.

— Что это ты здѣсь дѣлаешь?—спросилъ я его,—развѣ сегодня ты не играешь?

— Я пришелъ, Михель, попросить лѣкарство, какое-

нибудь лѣкарство, потому что второму моему ребенку сдѣлалось очень плохо.

— Что значить—второму,—сказаль я, подозрительно оглядѣвъ его.—Развѣ первому сдѣлалось лучше?

— Да, лучше, — со вздохомъ отвѣтилъ Лейбочка, пощипывая бородку,—вчера утромъ онъ кончился.

— Какъ, Лейбочка, у васъ ребенокъ умеръ?—спросилъ смотритель.

— Умеръ, господинъ смотритель, слава Богу, умеръ. И, можетъ быть, это къ лучшему,—прибавилъ онъ.

Онъ говорилъ какъ спросонокъ, вяло, монотонно, и видно было, что онъ страшно усталъ и еле держится на ногахъ. Но съ каждымъ словомъ онъ какъ бы оживлялся. Теперь, ободренный ласковымъ вопросомъ смсрителя, онъ дрожащимъ голосомъ рассказываль, что у него произошло.

— Какія жестокія слова подсказываетъ несчастье,—задумчиво произнесъ онъ.—Единственное, что я люблю въ жизни,—это моихъ дѣтей, но я столько горя перенесъ, пока моя дѣвочка умерла, что готовъ благодарить Бога за ея смерть. О, господинъ смотритель, если бы вы видѣли, какъ она мучилась, какъ она ручками рвалась ко мнѣ, чтобы я ей помогъ. Но вотъ она умерла, и я все-таки не знаю, что мнѣ дальше дѣлать, что, Господи, мнѣ дальше дѣлать? Заработки мои у Шмереля и такъ не кормятъ насъ, теперь нужно дѣвочку похоронить, а въ домѣ, клянусь вамъ, нѣтъ даже мѣднаго гроша. Отъ дѣвочки же такой запахъ пошелъ, что въ комнатѣ нельзя оставаться, и мы сидимъ во дворѣ. Похоронить ее не на что. Заболѣла уже другая. Гдѣ взять лѣкарство? На полу тоже пужно сидѣть 7 дней. Кто же будетъ зарабатывать? Скажу вамъ правду: мнѣ такъ скверно, что только что я хотѣлъ въ колодець броситься.

Мы всѣ молча слушали. Лейбочка положилъ руки

на бедра и смотрѣлъ на землю, которая казалась желтой отъ луннаго свѣта.

Вдругъ я увидѣлъ, какъ экономя поднялся, хлопнулъ аптекаря по плечу и, вынувъ изъ кармана десять рублей, сказалъ:

— Здѣсь, Лейбочка, десять рублей, и отъ тебя зависить, чтобы они стали твоими.

— Господи! экономя, — сорвалось у него восклицаніе.

— Отъ тебя зависить, — повторилъ онъ. — Ты, я знаю, не трусь и для тебя сходить за ними въ мертвецкую, гдѣ ихъ положить Михель, ровно ничего не стоитъ. Соглашаешься?

— Вотъ такъ мысль, — повеселѣлъ аптекарь, хлопнувъ въ свою очередь эконома по спинѣ. — Можешь покрасить, Михель. Ты же, Лейбочка, благодари Бога за счастье. Я съ своей стороны очень желаю тебѣ помочь и потому прибавлю еще три рубля.

Онъ засмѣялся, покопался въ карманъ, а смотритель прибавилъ:

— Это, положимъ, не совсѣмъ гуманно, но такъ какъ сходить въ мертвецкую все-таки пустякъ, то я присоединяюсь и для ровнаго счета даю еще 7 рублей.

Я такъ и подскочилъ. Двадцать рублей! Я бы за одинъ рубль отправился ночевать на кладбище. Лейбочка же просто присѣлъ отъ волненія.

— Двадцать рублей, — пролепеталъ онъ, то протягивая руки къ эконому, то отнимая ихъ, — несчастный я!

Пойти въ мертвецкую страшно вѣдь такъ, что не-земной холодъ уже трясетъ его тѣло и вызываетъ смертельное томленіе въ груди. Но пойти, — бояться и пойти, вѣдь это несмѣтное богатство, котораго онъ въ своей долгой жизни ни разу не держалъ въ рукахъ. Вѣдь это съ честью похоронить ребенка, купить лѣкарство заболѣвшей дѣвочки, спокойно просидѣть на полу с

дней, питаться нѣсколько дней горячей пищей, купить семьѣ что-нибудь на зиму теплое...

— Можетъ быть, можно такъ, — робко попросилъ Лейбочка, — дайте мнѣ пять рублей и отпустите. Я вѣдь боюсь, я, господинъ экономя, извините меня, трусь, и даже съ дѣвочкой своей боюсь остаться въ комнатѣ и не смотрю туда, гдѣ она лежитъ. Зачѣмъ вамъ мой страхъ? Подайте человѣку помощь, чтобы онъ благословлялъ васъ. Нѣтъ, лучше не давайте. Я вѣдь потомъ повѣшусь съ горя, что потерялъ 15 рублей. Дайте 10 рублей и отпустите. Вѣдь у меня мертвый ребенокъ и его не на что похоронить. Зачѣмъ вамъ мои мученія? Дайте 10 рублей и прогоните меня. Возьмите палку и бейте меня, чтобы я ушелъ. Я вѣдь тамъ умру отъ страха.

Онъ на минуту замолчалъ и какъ бы одумался.

— Нѣтъ, не давайте, — вырвалось у него съ какимъ-то звономъ. — Я пойду. Пусть Михель положить тамъ деньги. Я пересилю себя.

Онъ остановился, опять заговорилъ, опять оборвался и былъ ужасно жалокъ своими порывистыми жестами. Экономъ даже не слушалъ его, шепнулъ мнѣ пару словъ, и дѣло было слажено. Когда я вернулся изъ мертвецкой, гдѣ устроилъ, какъ мнѣ велѣли, Лейбочка держался уже, какъ помѣшанный. Онъ дрожалъ и что-то безсвязно бормоталъ и какъ будто спорилъ съ невидимымъ врагомъ.

— Можешь идти, Лейбочка, — сказалъ я, встряхнувъ его за плечи, — деньги твои ждутъ тебя. Онъ лежать на окнѣ, сейчасъ направо, какъ войдешь!

Тонкимъ, пропикновенымъ взоромъ посмотрѣлъ онъ на меня, какъ бы желая прочесть въ моихъ глазахъ свою судьбу.

— Иди, иди, — повторилъ я, отвернувъ отъ него лицо.

Я вывелъ его черезъ заднюю дверь аптеки и указалъ дорогу, ведущую къ длинному и темному, какъ могила, саду.

— Михель, дорогой Михель,—услышалъ я его дрожащій голосъ, и двѣ холодныя руки легли на мои плечи.

— Иди, иди,—сурово отвѣтилъ я, высвобождаясь отъ него.

Онъ вздохнулъ и пошелъ. Черезъ минуту всѣ мы уже были въ саду и слѣдили за каждымъ его шагомъ.

— Плохое дѣло затѣяли,—пробормоталъ вдругъ охладѣвшій къ этой забавѣ смотритель,—бѣдняга съ ума сойдетъ, это не гуманно.

— Э,—жестко произнесъ эконокъ,—вы просто невыносимы съ своими замѣчаніями. Нечего пятиться назадъ!

Мы остановились съ тяжелымъ чувствомъ. Что же это мы дѣлаемъ? Зачѣмъ мучимъ этого несчастнаго человѣка? Но Лейбочка отвлекъ наше вниманіе, и мы не успѣли сосредоточиться. Онъ стоялъ гдѣ-то во мглѣ и скороговоркой бормоталъ: „Слушай, Израиль“...

— Бѣдняга,—опять пробормоталъ смотритель.—Это прямо не гуманно.

— Молчите,—наконецъ, не своимъ голосомъ прошипѣлъ эконокъ у него надъ ухомъ.

Шаги Лейбочки слышались уже въ другомъ мѣстѣ, и страненъ былъ во тьмѣ этотъ удалявшійся дрожащій голосъ.

— Боже мой,—вдругъ раздался стонъ, и опять слышались его скачки по аллеѣ.

Посреди сада онъ опять остановился. Мы стояли за кустомъ сирени недалеко отъ него и наблюдали. Что онъ тамъ дѣлалъ? Что происходило въ его сердцѣ? О чемъ думалъ?

Деревья отъ легкаго вѣтра пѣжно защебетали, точно па ихъ верхушкахъ проспулись странныя, нездѣшнія птицы. Песокъ и сухія листья жалобно завывли у ногъ, закружились, какъ передъ бурей, и стаями полетѣли куда-то изъ сада, гдѣ было просторно и неугрюмо.

— Боже мой, дорогой Господь, — опять донесся до насъ его голосъ, и плаги его смѣло раздались въ тишинѣ. Мы поторопились, чтобы не потерять его, молчали и внимали. Вотъ и конецъ сада. Вотъ мрачный пустырь, отдѣленный отъ сада низенькой, ветхой стѣнкой, съ маленькой каморкою посерединѣ, а дальше въ глубинѣ печальный домикъ-мертвецкая.

Мы едва успѣли посторониться, такъ быстро Лейбочка повернулъ назадъ. Прошло нѣсколько тяжелыхъ мгновений. Что онъ дѣлалъ? Но вотъ онъ опять показался у калитки. Вотъ стоитъ, раздумываетъ и щиплетъ бородку. Внезапно онъ дѣлаетъ движеніе и входитъ въ пустырь. Мы уже стоимъ у калитки и слѣдимъ за нимъ. Тихими неслышными шагами, озираясь во всѣ стороны, идя то впередъ, то назадъ, онъ, наконецъ, приблизился къ роковому мѣсту. У дверей мертвецкой онъ опять помедлилъ, и вдругъ мы услышали, какъ онъ съ размаху открылъ ее. Но сейчасъ же за этимъ раздался нечеловѣческій вопль. Лейбочка отскочилъ отъ дверей и, разставивъ руки, застылъ, какъ вкопанный... Изъ мертвецкой выходилъ человѣкъ... Послышался еще разъ вопль, но уже надорванный, далекій, и Лейбочка, зашатавшись, упалъ... Когда мы подбѣжали къ нему, онъ уже уходилъ.

Старикъ Михель, окончивъ рассказъ, замолчалъ и задумался. Въ комнатѣ, гдѣ мы сидѣли, было тихо. Товарищъ мой кашлянулъ, и очарованіе нарушилось.

— Какъ же попалъ туда человѣкъ, котораго онъ увидѣлъ?—спросилъ кто-то изъ насъ.

Михель нахмурился и, вынувъ изъ кармана старинной формы табакерку, постучалъ по ней двумя пальцами, раскрылъ, и доставъ шенотку табаку, глубоко, глубоко втянулъ сначала одной ноздрей, потомъ другой.

— Какъ онъ попалъ туда?.. Какъ онъ попалъ?

Мы замолчали. Убійца быть съ нами.



## КАБАТЧИКЪ ГЕЙМАНЪ.

(1899).

Стукъ въ запертую дверь кабака становился все рѣже, неувереннѣе и, наконецъ, совсѣмъ затихъ.

Супруги Гейманъ тоскливо прислушались, переглянулись долгимъ томительнымъ взглядомъ и, какъ бы боясь докончить невысказанную взоромъ мысль, какъ бы боясь, что слово, кипѣвшее на сердцѣ и томившее языкъ, сорвавшись, совсѣмъ добѣтъ ихъ, опять утлубились въ прерванную стукомъ работу, не проронивъ ни слова.

Было 12 часовъ почи 31-го декабря 189... года, канунъ введенія водочной монополіи. Большой залъ кабака, закрытый со всѣхъ сторонъ сырыми стѣнами и удлиненный фантастическими тѣнями опрокинутыхъ на спинну столовъ и сложенныхъ въ горку стульевъ, мрачно выглядывалъ въ печальномъ освѣщеніи догоравшей висячей лампы. Изъ грязнаго пола и стѣнъ поднимались и насыщали острый сивушный воздухъ кабака тяжелыя испаренія, смѣшанныя съ проникающей сыростью. Въ казанкѣ догорала зола, и слышно было, какъ въ его трубахъ гулялъ вѣтеръ. Напротивъ выходныхъ дверей стояла стойка, на которой валялись старыя пробки, черствые кусочки солдатскаго хлѣба, сухія маслины, перемѣшанныя съ тутъ же разсыпанной толстой солью, и ломтики просоленныхъ огурцовъ. Сзади

стойки помѣщался такъ называемый буфетъ, теперь опустошенный, на которомъ задавала пиръ шайка таракановъ, расположившись на заржавѣломъ, безъ ручки, ножѣ. Буфетъ и стойку замыкали козлы, на которыхъ стояли двѣ пустыя бочки, безъ крановъ, старыя, отжившіе свидѣтели бывшаго здѣсь вѣчно праздника, веселья и многихъ тайнъ кабацкой жизни. На полу въ безпорядкѣ валялись побросанные и разставленные штофы, бутылки, рюмки, тарелки, ящики отъ пива, исписанные счетами бумажки и какая-то не сразу опредѣлявшаяся куча хлама изъ картузовъ, сапоговъ, пиджаковъ и всякаго другого тряпья.

И посреди всѣхъ этихъ обломковъ вчерашней жизни, какъ дополненіе къ картинѣ разрушенія, двѣ копошащіяся фигуры стараго порядка, кабатчики супруги, сортировавшіе молча и сосредоточенно погубленное добро, за которое еще можно было кое-что выручить. Тихо и важно шла работа. Аниска Гейманъ, полный челоуѣкъ, по замѣтно осунувшійся, съ картузомъ на головѣ, козырекъ котораго почти лежалъ на его добродушныхъ глазахъ, теперь помертвѣвшихъ отъ отчаянія, связывалъ длинной веревкой столы и стулья, поминутно кряхтя и сопя отъ натуги, а Маня, жена его, разложивъ на другомъ концѣ кабака, на полу грязную простыню, сваливала въ одну кучу рюмки и картузы, и пиджаки, и тарелки, лазая на колѣняхъ, чтобы достать ту или другую вещь. И ея лицо осунулось и испещрилось тѣми линіями, которыя говорятъ о свѣжемъ нагрязнушемъ горѣ. Она лезла, вскакивала, присаживалась, погруженная въ одну только мысль сдѣлать хорошо, по-хозяйски, то, что нужно было сдѣлать. Аниска же ни о чемъ не думала и только страдала. Опъ страдалъ, связывая веревками стулья, страдалъ, когда глядѣлъ на работу Мани, страдалъ отъ каждаго движенія своего, отъ каждаго шага, потому что все это лопилось къ одному, къ разрушенію его гнѣзда.

Въ продолженіе полугода официально даннаго срока, онъ ежедневно давалъ себѣ слово предпринять что-нибудь для защиты отъ грозившей бѣды, но до того былъ убитъ, испуганъ, растерянъ, что до послѣдняго дня не переставалъ метаться, не умѣя ничего сообразить, и только чувствовалъ, что пришелъ ему конецъ. Маня, растерявшаяся не меньше его, приходила въ отчаяніе отъ его разговоровъ, разспросовъ, которые мучили и пугали ея забитую голову, не знавшую ни на что толковаго отвѣта. Знакомые ихъ, тѣ же кабатчики, приходили, совѣтовались, толковали обо всемъ въ мірѣ, перебирали тысячи исторій, но расходились ни съ чѣмъ, ибо вначалѣ даже не предвидѣлось, кѣмъ какимъ дѣломъ, ремесломъ, торговлей ли, или чѣмъ-нибудь другимъ можно начать заниматься, когда нѣтъ ни въ чемъ опыта, знанія, пониманія чего-либо другого, что не есть водка, шкаликъ, патентъ, закуска. И результатомъ отъ этихъ собраній была еще большая смута и ужасъ и какое-то безнадежное одервенѣніе. Аниска со всѣми соглашался, не спорилъ, находясь въ остолебеніи, и только кивалъ утвердительно головой, когда говорили о лавкахъ табачныхъ, бакалейныхъ, галантерейныхъ, готоваго платья и Богъ знаетъ еще о чемъ; когда настаивали, что хорошо было бы, если бы авторъ проекта водочной монополіи сгорѣлъ и бумаги этого проекта сгорѣли, но сердцемъ онъ чувствовалъ, что все это не то, что наступилъ конецъ, конецъ.

Время между тѣмъ не стояло и наступило, наконецъ, 31 декабря. Аниска забился, какъ птица, раненая во время полета, и всѣ его дѣйствія въ этотъ ужасный день вплоть до его ухода изъ кабака навсегда, только по виду походили на что-то разумное, но въ сущности онъ падалъ, какъ и та подстрѣленная птица, безсознательно, можетъ быть, еще пытаясь что-то сообразить, но съ несомнѣннымъ и неуничтожимымъ чувствомъ боли.

Было уже два часа ночи, когда усталые супруги

окончили работу. Аниска, прежде чѣмъ потушить коптившую лампу и замѣнить ее свѣчей, которую носилъ въ карманѣ пиджака, еще разъ тревожно обѣжалъ всѣ углы кабака, мысленно простился со всѣмъ прошлымъ и, не найдя ничего стоящаго вниманія, подхватилъ съ помощью Мани приготовленный изъ всякой всячины узелъ, отворилъ дверь и вышелъ на улицу. Маня на минуту оставила узелъ, повѣсила замокъ на дверь и по привычкѣ прислушалась, не остался ли кто въ кабакѣ. Поймавъ себя на этомъ, она пожала плечами и съ сердцемъ взялась за тукъ. Аниска движеніемъ живота подтянулъ штаны и съ какимъ-то стыдомъ, точно онъ былъ виновникомъ введенія монополіи, взялся за другой конецъ и задумчиво заковылялъ за ней.

И такъ они пошли, раскачиваясь и мѣшая другъ другу. Было холодно, и сухой снѣгъ глухо вздыхалъ подъ ногами однообразно и безстрастно. На улицѣ было тихо и мертвенно свѣтло, и сонный рядъ домовъ, сдавливавшій желаемый сердцемъ просторъ, пугалъ воображеніе своей важной молчаливостью и, казалось, таинственно переговаривался съ бархатнымъ небомъ о грядущемъ. Звѣзды переливались, равнодушныя къ скорбной землѣ и облитыя серебряными лучами луны, иногда перелетали съ мѣста на мѣсто, оставляя на небѣ мгновенную, точно проведенную мѣломъ дугу. Гдѣ-то сторожъ билъ въ колотушку и казалось, что это апостъ лопочетъ, готовый тронуться въ дальній путь. И странно, и чудно пронесся этотъ звукъ въ холодномъ, неподвижномъ воздухѣ заснувшей улицы.

Аниска, лѣниво поддерживая узелъ, не раскрывалъ рта, глядѣлъ кругомъ себя, и все казалось ему какимъ-то новымъ, впервые увидѣннымъ. Согнувшаяся набокъ подъ тяжестью фигура Мани, низенькая, худенькая, завернутая въ шаль, смѣшно раскачивалась въ поискахъ за равновѣсіемъ, и онъ думалъ, глядя на нее, что монополія хуже сгибаетъ и никогда отъ нея нельзя подняться.

— Иди скорѣе,—прервала Маня его размышленія,— а то я упаду. Я уже не въ силахъ тащить.

Она на мгновеніе остановилась, чтобы передохнуть. Больное скверное сердце било, какъ молотъ, а въ затылкѣ ломало, точно кто-то раздавливалъ позвонки. Когда они опять пошли, Аниска попробовалъ заговорить о дѣлахъ. Но на поворотѣ ихъ встрѣтилъ городской съ поста Андрей и остановилъ. Супруги замолчали, а Маня, покосившись на мужа, прошептала:

— Его еще не хватало теперь.

Андрей поздоровался и, какъ старыи знакомый, сталъ рассказывать Анискѣ о томъ, что этой ночью была облава въ ночлежкѣ и открыли бѣглаго каторжника. Маня толкнула Аниску, чтобы онъ шелъ домой, но тотъ, чувствуя потребность поговорить о своихъ дѣлахъ съ свѣжимъ человѣкомъ, отослалъ ее, увѣряя, что сейчасъ придетъ. Потомъ, когда она ушла, они сѣли вдвоемъ у чьихъ-то воротъ на лавочкѣ и, заговоривъ о монополіи, закурили: Аниска папирску, а Андрей трубку.

Вечеръ былъ суровый и холодный. Съ моря дулъ рѣзкій вѣтеръ, и падалъ хлесткій, мелкій, какъ соль, снѣгъ. У Аниски казанокъ и трубы, выходившіе въ чей-то чужой дворъ, черезъ заднюю стѣну, раскалились докрасна. На казанкѣ кипѣлъ, парочно брошенный для очистки воздуха, кусочекъ сахара. Аниска, стоя посреди комнаты и держа маленькаго Шайку на рукахъ, съ нетерпѣніемъ слушалъ что-то говорившую Маню. Исакъ, старшій мальчикъ Геймана, сидѣлъ у окна и вырѣзывалъ корову изъ газетной бумаги и каждый разъ озабоченно вскидывалъ глазами то на отца, то на мать, и въ глазахъ его видѣлась тревога и страхъ. На деревянной большой кровати Сонька съ Шлемкой играли въ камешки, а немного поодаль отъ

нихъ, раскрасѣвшись отъ теплоты, спала самая маленькая—Роза. Около матери пріютился Абрамчикъ и дергалъ ее за юбку, требуя чего-то однообразнымъ хнычущимъ голосомъ.

— Не лети, —повторила Маня, не обращая вниманія на Абрамчика.—Одинъ есть пикто. Еще есть, слава Богу, люди, еще есть большой свѣтъ и свѣтъ еще не упалъ. Смотрѣть на то, что другіе убиты и плачутъ! Я еще не потеряла надежду. У насъ есть 300 рублей, и ты только крикни и у тебя будетъ сто дѣлъ. Возьми уже его отъ меня, я сегодня останусь безъ сердца.

— Сахаръ, сахаръ, сахаръ!—хныкалъ Абрамчикъ.

— Хорошо,—согласился Аниска,—будетъ сто дѣлъ. Развѣ я не знаю, что на свѣтъ много дѣлъ? Хорошо, но одинъ,—сапожникъ, другой портной,—ты уйдешь отъ нея, Абрамчикъ? ну. уйди же, я тебѣ говорю; ты не можешь отогнать его, Маня? ударь его. Я говорю, одинъ банкиръ, другой купецъ. Я же что? Чѣмъ я занимался? Чему меня учили? Въ какомъ дѣлѣ я работалъ? Такъ о чемъ же ты говоришь? Ты уйдешь, Абрамчикъ?

— Сахаръ, сахаръ,—однообразно жужжалъ мальчикъ.

— Абрамчика ты такіи переспоришь!—воскликнула Маня.

Аниска хотѣлъ было посадить Шайку на кровать, но тотъ заревѣлъ благимъ матомъ и уцѣпился руками за его жилетку.

— Что ты еще хочешь?—разсердился Аниска;—такой скверный мальчикъ. Ну, сиди уже у меня, только не кричи. Не кричи же, собака. Вотъ я тебя черезъ окно во дворъ выкину. Не кричи же. Вы идете тамъ, городской? Ну, не нужно, Шайка уже замолчалъ, онъ уже хорошій, очень хорошій мальчикъ.

— Э, что ты мнѣ рассказываешь,—возразила Маня и вдругъ, не вытерпѣвъ, отбросила отъ себя Абрамчика.

Абрамчикъ какъ будто этого ждать. Онъ бросился на землю и стать орать и топать ногами, какъ бѣшеный, и сейчасъ же весь посинѣлъ.

— Ну, ну, колоти его самъ,—разсердилась Маня,—надѣлилъ ты меня разбойникомъ...

— Исакъ,—раскричался Аписка,—вытащи его, сейчасъ же вытащи его, или я его убью. Замолчи, воръ, чортъ...

Онъ подбѣжалъ къ катавшемуся по полу мальчику и два раза съ наслажденіемъ ударилъ его носкомъ своего башмака въ бокъ.

— Если бы они хоть умерли, и то было бы легче! — прокричалъ онъ.

— Только ногами нужно бить!—возмутилась Маня.— Пусть у того ноги отсохнутъ, кто бьетъ ногами ребенка. У твоего отца тебя такъ учили. Разбойникъ!..

Она подошла съ Исакомъ къ ребенку и дала ему сахару. Исакъ заботливо и нѣжно поднялъ его съ пола и, что-то шепча на ухо, повелъ въ сосѣднюю комнату.

— Что ты мнѣ рассказываешь,—повторила Маня черезъ нѣсколько минутъ,—если есть деньги, то ничего знать не нужно. У насъ вѣдь есть 300 рублей. Вѣдь 300 рублей—это миллионъ денегъ. На нихъ можно даже 3 лавки открыть. Вотъ, напримѣръ, лавка со сладостями. Что нужно для этого? Варить медъ. Снимемъ помѣщеніе, сдѣлаемъ красивую выставку, купимъ орѣхи, миндаль, халву. Потомъ еще одну такую лавку откроемъ. Потомъ третью такую лавку откроемъ, потомъ четвертую... Смотри-ка, Аписка, какъ у меня руки расчесались. Нужно будетъ уже опять къ Басѣ пойти. Каждый разъ у меня на новомъ мѣстѣ чешется. Отъ меня уже скоро ничего не останется.

— Если ты уже умѣешь медъ варить,—возразилъ Аписка, укачивая засыпавшаго Шайку,—то я могу уже пойти плясать по улицамъ отъ радости. Съ тобой только съ ума сойти можно!

— Не нравится тебѣ, такъ можно что-нибудь другое. Купи баржу. Только купи, и мы разбогатѣемъ. Будешь уголь перевозить, песокъ, камни, доски, воловъ... Посмотри-ка, Исакъ, что это Сонька расплакалась?

— Баржу, баржу,—передразнилъ Аписка, укладывая осторожно Шапку на кровать,—тише, Сонька, ты его разбудишь.—Почему ты уже лучше могилу не выдумала?

— Ну, покупай старое желѣзо! Только я должна выдумывать. Что я—Богъ? Все тебѣ не нравится. Ты у своего отца лучше слышалъ? Видѣла ты такого помѣщика... Тебѣ нужно было бы другую жену имѣть, такъ бы уже все правилось. Ну, знаешь что? Поѣдемъ въ Турцію. Тамъ мы опять кабакъ откроемъ и конецъ.

— Можетъ быть, ты бы уже перестала говорить, Маня. Вѣдь съ тобой нужно быть безъ сердца. Я даже не знаю, что тебѣ отвѣтить. Что же? Мы будемъ разговаривать; ты скажешь одно, я—другое, и изъ этого ничего не выйдетъ. Оставь меня хоть немного въ покоѣ. Въ головѣ у меня такъ шумитъ, будто въ ней сто мухъ. Помолчимъ.

— Хорошо, хорошо,—обидчиво возразила Маня,—я знаю, что тебѣ ни слова нельзя сказать. Развѣ это въ первый разъ? Ты всегда былъ такимъ, и покойная мать твоя не любила тебя за то. Отчего ты не спрашиваешь, шумитъ ли у меня въ головѣ? Такая, такая больная. Сосѣдки меня больше жалѣютъ, чѣмъ ты. Какую болѣзнь я не имѣю? Сердце больное, нога хромая, больная и такая чесотка, что я изъ желѣза, если могу выдержать. И столько больныхъ дѣтей на моихъ рукахъ. А я вовсе не жалуюсь. Оставь ты меня уже лучше въ покоѣ. Дѣти, идите спать. Исакъ, раздѣнь ихъ.

Она со слезами отвернулась, а Аписка почесалъ затылокъ, молча ушелъ на мѣстѣ Исака, и машинально сталъ рѣзать пожнищами газетную бумагу.



— Ты уже накормила дѣтей?—наконецъ произпесь опъ.

— Не твое дѣло,—отвѣтила Маня, не повернувъ головы.—Добрый ты сдѣлался. Лучше бы жену свою пожалѣлъ!

— Что это ты говоришь, Маня,—онъ бросилъ ножницы,—развѣ я тебя не жалѣю, что ты только говоришь? Ну, не сердись уже. Знаешь, что мнѣ пришло въ голову? Уложи дѣтей спать и пойдемъ къ Азрилю. Можетъ быть, мы тамъ что-нибудь узнаемъ новаго...

— Иди самъ къ Азрилю!

— Нѣтъ, нѣтъ, Маня, я не пойду одинъ. Зачѣмъ намъ скучать весь вечеръ? Пойдемъ къ людямъ, поговоримъ, послушаемъ. Пойдемъ, Маня!

Маня вспомнила, какая пріятная жена у Азреля, и рѣшила согласиться.

— Помоги же Исаку раздѣть дѣтей, а я ихъ уложу.

И они втроемъ начали хлопотать. Черезъ полчаса дѣти уже спали. Аниска и Маня одѣлись и, наказавъ Исаку, чтобы онъ присматривалъ за дѣтьми и былъ остороженъ съ лампой, отправились.

Аниску встрѣтилъ самъ Азрель, устроилъ его за мужскимъ столомъ, Маню провелъ въ другую комнату, гдѣ сидѣли женщины. Въ мужскомъ отдѣленіи стоялъ шумъ отъ голосовъ, а воздухъ и теплота были невыносимы. За столомъ сидѣло нѣсколько человѣкъ и нѣкоторые изъ нихъ были ему знакомы. Сидѣли, какъ попало, кто въ шапкѣ, кто въ пальто и не церемонились. Какъ только Аниска усѣлся, его перехватилъ кабатчикъ Нухимъ, испуганное, худенькое существо, и сейчасъ же сталъ шептать ему о разныхъ ужасахъ, происходившихъ съ кабатчиками. Выходило такъ, что кабатчики убили всякую торговлю. Они бросались къ лавкамъ и разоряли себя и коренныхъ лавочниковъ; они бросались къ хлѣбу и разорялись, разоряя дру-

пхъ. Конкуренція горѣла въ городѣ и сжигала всякаго, кто начиналъ дѣло. И получалась такая картина ужаса и горя, что, казалось, городъ обратился въ кладбище и люди мертвыми падали на улицахъ, какъ во время эпидеміи.

Нухимъ все шепталъ, каждый разъ смачивая большой и указательный палецъ слюной, точно онъ собирался сдавать карты, и большой глазъ его слезился отъ волненія. Аниска внимательно слушала, но чей-то громкій голосъ каждый разъ заглушалъ шопотъ. Раздосадованный, но и заинтересованный, онъ, наконецъ, оглянулся и узналъ Мотю „шойхета“. Загнувъ рукава, такъ что видна была крѣпкая обросшая кисть руки, Мотя, съ круто спускавшимся носомъ, загороженнымъ отъ рта парюю густыхъ сѣдоватыхъ усовъ, ораторствовалъ, увѣренный, что говоритъ то самое, что нужно и что есть сама мудрость. Его могучія плечи безпрестанно двигались, поддерживая огромную голову съ низко выстриженными волосами, оставленными пучками у висковъ. Онъ легко раздражался, и тогда лицо его скашивалось на бокъ, какъ бы отъ невыносимой боли, а лобъ покрывался неисчислимыми морщинами и такими глубокими, что въ нихъ спрятались бы пальцы ребенка.

— Вотъ вы скажите,—обращался онъ поочередно ко всѣмъ глазами, словно передъ нимъ сидѣли мудрецы, а не простые кабатчики,—гдѣ тутъ есть смыслъ, и я вамъ дамъ себя въ куски изрѣзать.

Онъ краснорѣчиво помолчалъ, внимательно разсматривая крошки хлѣба, которыя перебирала его рука, и, достигнувъ эффекта своимъ молчаніемъ, продолжалъ:

— Гдѣ смыслъ,—крикнулъ онъ громче, морща свой удивительный лобъ, вдругъ обвисшій толстыми желваками изъ собранной кожи,—въ созданіи монополіи для трезвости народа? И, наконецъ, что оно означаетъ?

Одно изъ двухъ: или вы хотите, чтобы онъ былъ трезвъ, уничтожьте водку, но уничтожьте и чтобы 5 капель не нашлось во всей Россіи. Или вы хотите, чтобы онъ пилъ, не говорите о трезвости и не отнимайте у людей хлѣба.

— Хорошо,—пробурчалъ кто-то,—очень хорошо!

— Оставимъ трезвость,—грозно оглянуль онъ слушателей и искривилъ лицо.—Подойдемъ къ этому дѣлу съ другой стороны, но держите въ умѣ трезвость, ибо она намъ еще нужна будетъ. Я вамъ пока скажу, что тутъ политика, но это еще мое дѣло, и погодите. Мы выйдемъ, какъ масло на водѣ.

Слушатели передохнули, откашлялись, отфыркались, предчувствуя что-то очень вкусное. Чахоточный бакалейщикъ, зять Азриля, хотѣлъ что-то вставить, но Мотя, какъ орелъ наблюдавшій за всѣми, поймалъ его въ тотъ моментъ, когда онъ собирался раскрыть ротъ, и, скорчивъ лицо, точно ему вырывали зубъ, проговорилъ умоляюще, но съ нетерпѣніемъ:

— Прошу васъ, прошу васъ, сидите тихо. Вы вѣдь еще не выслушали. Подождите, я вамъ что-нибудь скажу сейчасъ.

Всѣ глаза устремились на Мотю, цѣлко державшаго бакалейщика за воротъ.

— Мой отецъ,—началъ онъ,—когда я женился и долженъ былъ перейти жить къ тестю, на прощаніе далъ мнѣ одинъ совѣтъ, который я поклялся всегда исполнять. Сынъ мой, сказалъ онъ мнѣ, я сдѣлалъ для тебя все, что долженъ сдѣлать отецъ, и это я не считаю заслугой. Всякій отецъ дѣлаетъ то же самое. Но одно я долженъ дать тебѣ, что не всякій сынъ получаетъ, и это послужитъ тебѣ хорошо въ жизни. Когда ты выйдешь отъ меня, то всю жизнь старайся помнить, что я далъ тебѣ здоровое сердце и не порть его никогда на пустыя препирательства. Въ жизни будетъ довольно настоящихъ огорченій для этого.

Вся компанія засмѣялась, а онъ, отпустивъ воротъ бакалейщика, поглядѣлъ на слушателей съ плутовской улыбкой въ глазахъ.

— О чемъ же я говорилъ?—началъ онъ опять, когда всѣ успокоились, но, замѣтивъ раскрывшійся ротъ Азриля, быстро самъ отвѣтилъ:

— Да, такъ мы подойдемъ къ дѣлу съ другой стороны. Если,—рѣзко началъ онъ отчеканивать,—какой-нибудь человѣкъ почему-либо захочетъ лишить себя жизни на моихъ глазахъ, отвѣчайте, могу ли я помочь ему? Вы скажете, да, и я тоже это скажу. Подождите же, спрашивается, какъ? Если,—запѣлъ онъ, закрывая глаза и выдѣлывая удивительныя штуки рукой въ воздухѣ,—онъ, напримѣръ, захочетъ броситься въ воду, я схвачу его за руку и буду съ нимъ бороться до тѣхъ поръ, пока у него перекипитъ въ душѣ, а, можетъ быть, я позову городского, и тотъ отправитъ его въ полицію. Если, напримѣръ, онъ захочетъ застрѣлиться, я силой отниму у него пистолетъ и, конечно, осторожно, чтобы онъ не выстрѣлилъ въ меня.

Онъ обождалъ, пока тутъ засмѣялись, и продолжалъ обыкновеннымъ голосомъ:

— Ну, а если я имѣю аптеку и онъ придетъ просить у меня яда, что я тогда сдѣлаю? Я сдѣлаю все, чтобы отговорить его. Но если это не поможетъ, а? Тогда,—торжественно закончилъ онъ,—чтобы не допустить его пойти къ другому, который, можетъ быть, дастъ ему ядъ, я отпущу самую маленькую капельку и разбавлю ее въ большой водѣ. Слушайте же, тутъ весь умъ лежитъ. Ко мнѣ приходитъ человѣкъ и говоритъ: дай мнѣ водку. Водка—ядъ, я согласенъ. Что же мнѣ дѣлать? Отказать,—но онъ пойдетъ къ другому и напьется здѣсь или тамъ. Тогда я даю ему ядъ въ большой водѣ. И тутъ мы стоимъ уже у трезвости. Всѣ кабатчики въ продолженіе многихъ лѣтъ отучали поцемногоу человѣка отъ крѣпкаго яда и они дѣлали

трезвость. Но гдѣ же, я спрашиваю, тутъ трезвость, тутъ, когда я даю ему самый крѣпкій ядъ и беру за это съ него дороже?

Слушатели вздохнули отъ облегченія, и каждый произнесъ что-то одобрительное. Только одинъ изъ нихъ, Давыдка, громко сказалъ:

— Вотъ оттого и отняли, что мѣшали водку съ водою. Когда пьяница напьется, ему водка не пужна и у него могутъ остаться деньги на что-нибудь другое. Но если ему даютъ слабую водку, онъ все пропиваетъ. И ничего не ѣстъ.

Всѣ встрепенулись и ожидали, что скажетъ Мотя. Но онъ, поднявъ голову, уже обвинялъ бархатнымъ взглядомъ его коротенькую фигурку.

— Хорошо! Вы слышали, что онъ сказалъ, хорошо слышали? Правъ, совершенно правъ!

Мотя замолчалъ и, откинувшись назадъ, изогнулъ спину, какъ котъ, собравшійся прыгнуть.

Маленькіе, блестящіе глазки быстро забѣгали по лицамъ слушателей и, остановившись на злополучномъ Давыдкѣ, вдругъ засверкали страннымъ металлическимъ блескомъ.

Томительный мигъ прошелъ, и онъ опять смотрѣлъ ласково, обливая бархатомъ чуть-чуть близорукіхъ глазъ притихшую компанію.

— Отвѣчайте же, — надулъ онъ опять желваки, и поставивъ передъ собою растопыренную пятерню, точно онъ къ ней и обращался, — много воды вы подливали въ бочку? Если „тамъ“ говорятъ, что вы продавали слабую водку, то на это можно еще отвѣтить, но вамъ этого мало: мы разоряли пьяницу.

Всѣ весело разсмѣялись, а Давыдка спрятался за спину Аниски.

А Мотя продолжалъ пѣвучимъ голосомъ:

— Въ чемъ же тутъ дѣло? Вотъ тутъ мы подходимъ къ политикѣ, но не сейчасъ еще. Зачѣмъ намъ

ворять они себѣ, имѣть 2.000 или 3.000 посредниковъ для продажи водки, когда мы сами можемъ ими быть. Вы, говорятъ они, брали за ведро у народа по 10 руб., а мы возьмемъ только 6 или 7, а остальное остается у пьяницы.

Онъ закачался, запѣлъ и, извиваясь, какъ змѣя передъ слушателями, показывая только одни бѣлки, задвигалъ самымъ удивительнымъ образомъ пятерней.

— Такъ первое,—пѣлъ онъ,—вышла трезвость. А второе,—играла пятерня, взрывая воздухъ,—вышло деньги. А третье—третье это политика.

Онъ опять остановился, показавъ зрачки, заботливо смель рукой со скатерти, опять нагнулся и, точно готовясь подать самое вкусное блюдо, пожевалъ губами, какъ кроликъ, и, ни къ кому не обращаясь, спросилъ:

— Что же это за политика? Это,—вѣщимъ голосомъ загремѣлъ онъ,—указаніе на востокъ. Не на трезвость, не на монополию смотрите, а на востокъ... Наступаетъ конецъ нашимъ странствованіямъ во второй пустынь. Мы отъ Палестины шли въ продолженіе долгихъ вѣковъ вокругъ свѣта и, наконецъ, подходимъ уже туда, откуда вышли. Долгая и трудная была дорога, но конецъ и ей наступилъ, какъ наступаетъ всему. Почему мы очутились почти всѣ въ Россіи? Развѣ это не читается, какъ въ открытой книгѣ? Потому, что мы отсюда ближе къ нашей родинѣ и здѣсь нашъ послѣдній постой. Пусть отнимаютъ у насъ кабаки,—я же скажу: мало, больше нужно прижать. Пусть отнимутъ вѣсь, мѣру, пусть еще уменьшать черту осѣлости — я все скажу, мало; но пусть начнутъ насъ гнать, рѣзать,—я скажу, хорошо. Когда вода въ Красномъ морѣ разошлась и дала намъ бѣжать изъ Египта, это было хорошо. Но развѣ еще не лучше было то, что вода у начала сошлась, когда многие еще были въ серединѣ? Развѣ мы тогда же не хотѣли вернуться въ рабство, развѣ мы не роптали въ пустынь? Намъ нужно было тропуться

изъ Египта въ путь, и пусть тысячи погибли, но мы пошли, а не вернулись, ибо намъ во что бы то ни стало нужно было пойти.

Новое направлѣніе разговора, которое никто не ждалъ, странно подѣйствовало на слушателей. Всѣ какъ бы чего-то еще ждали, и въ комнатѣ наступила страшная тишина. Люди какъ будто не узнавали другъ друга и удивлялись, какъ это они, кабатчики, ростовщики, лавочники, могутъ невольнo исполнять какую-то предначертанную идею. Настроеніе это разрушилъ женскій полный голосъ, который доносился изъ сосѣдней комнаты:

— Снится мнѣ, что я пеку хлѣбъ, и хлѣбъ вышелъ такой большой, высокій, легкій, и я все говорю себѣ: „Боже мой, какой это хорошій, рѣдкій хлѣбъ“. Вдругъ съ потолка сталъ спускаться огромный паукъ и черныи, черныи какъ уголь...

Мужчины выслушали голосъ, и очарованіе вмигъ разсѣялось. Наступилъ какой-то безпредметный страхъ, отъ котораго у каждого возникали мрачныя мысли.

— Вы не слышали, — запищаль чахоточный бакалейщикъ, ни къ кому не обращаясь, — вѣдь идутъ уже слухи, что отнимутъ у насъ вѣсь и мѣру.

Давыдка опять вмѣшался и началъ доказывать торопливо Нухиму, брызгая на него слюной, что это невозможно, но что пшеницу навѣрно отнимутъ у евреевъ. А потомъ всѣ заговорили разомъ, и образовался такой шумъ, что ничего уже нельзя было разобрать. Мотя опять пытался заговорить, но его никто не слушалъ. Страхъ дѣлалъ свое дѣло, и каждый кричалъ, точно его уже держали за горло. Азриль уговаривалъ Аниску, ничего толкомъ не понявшаго, чтобы онъ непременно, непременно держалъ деньги наготовѣ, и что онъ, Азриль, давно что-то такое подозрѣвалъ, но „вѣдь вы знаете, Аниска, у меня цѣлая куча дѣтей и я уже вынужденъ буду утонуть, если Богъ мнѣ не поможетъ“. Давы

стоя на коротенькихъ ножкахъ и покрытый отъ возбужденія пѣтомъ, отчего его лицо казалось изрытымъ осной, совѣтовалъ черезъ столъ кабатчику Мордкѣ, все время нераскрывавшему рта, чтобы тотъ открылъ трактиръ, потому что горячая вода ничего не стоитъ, а за нее онъ будетъ брать по 8 коп. съ чайника. Бакалейщикъ своимъ тонкимъ проваливающимся голосомъ, увѣренный, что изъ-за шума не будетъ слышенъ, кричалъ что-то Мотѣ, стараясь поймать его за бороду и обернуть кольцомъ вокругъ своего указательнаго пальца. Но тотъ быстро увернулся, и бакалейщикъ, отчаявшись вызвать его вниманіе, набросился на ошалѣлаго Аниску, и быстро цапнувъ его за жесткую бородку, не выпуская уже ее изъ рукъ и что-то началъ доказывать. А Аниска, постыдившись отнять ее, глупо глядѣлъ въ черные глаза своего мучителя.

— Я говорилъ, — пищалъ онъ, каждый разъ теряя голосъ, — моему тестю, что нужно бѣжать въ Америку. Тогда еще были деньги. Теперь...

Онъ побагровѣлъ и оборвавшись не могъ уже выдать изъ себя звука. Раздался его кашель, жесткій, старательный, и онъ весь согнулся, точно собирался поднять что-то съ пола. Аниска воспользовался замѣшательствомъ бакалейщика и отошелъ отъ него. Но его остановилъ Давыдка и сейчасъ же рассказалъ ему, что на его плечахъ, кромѣ семьи, еще сидятъ тестъ и теща и что ему остается только одѣть петлю на шею.

Шумъ становился все громче, и казалось, что рожденныя только что мысли и высказанныя вслухъ, какъ камни, обрушились на головы этихъ людей. Сдѣлалось еще жарче, а сгустившійся воздухъ точно закупоривалъ легкія.

Аниска первый поднялся, позвалъ Маню и сталъ прощаться. Но на улицѣ онъ все еще слышалъ крикъ, и это тутъ, въ темнотѣ, казалось еще болѣе страшнымъ.



А Маня, идя подлѣ него, фантазировала о новомъ дѣлѣ, которое она задумала, разговаривая съ женой Азриля.

— Знаешь что, откроемъ молочную. Мы купимъ пять коровъ; я буду смотрѣть за ними, и у насъ будутъ молочные обѣды. Абрамчику нужно молоко, какъ жизнь. И Соничкѣ нужно! Старая Бася говоритъ, что молоко и болѣзнь два врага. И я тоже немного поправлюсь. Посмотри-ка, какъ я высохла вся. Я не имѣю въ себѣ здоровой кости. Тутъ ломить, а тутъ чешется, а сердце у меня просто разрывается отъ стука. А, пога? Посмотри-ка, какъ я хромаю. Я уже скоро на Басю буду похожа. Хоть бы здоровье было. Азрилю хорошо: у него жена, такъ радость посмтрѣть. Одной косточки ты у нея не найдешь, а мы всѣ больные. Слава Богу, что ты хоть здоровъ. Такъ я говорю, купимъ коровъ и будемъ продавать молоко. Увидишь, какъ мы разбогатѣемъ!

Аниска уныло молчала. Снѣгъ падалъ уже крупнымъ, крѣпкими хлопьями, а большая круглая туча, точно злой черный коршунъ, все ниже опускалась надъ городомъ и безшумно засыпала дома, улицы, деревья и всѣхъ тѣхъ, кто не имѣлъ ни крова, ни семьи.

И снѣгъ шелъ, и люди шли, и тоска шла, и было скверно отъ трудныхъ мыслей и сѣраго, грязнаго неба, съ угрозой стоявшаго надъ землею.

Въ Нижней улицѣ, гдѣ пѣкогда находился кабакъ Аниски, съ издавна пріютилась табачная лавочка. Она приходилась какъ разъ противъ кабака, такъ что все происходившее тамъ было видно какъ на ладони Эли, табачнику. Когда стихало отъ вѣды, толкотни, гама, Аниска любила переговариваться съ Эли черезъ улицу. Аниска говорилъ громко, гулко, приставивъ въ видѣ рупора развернутый кулакъ ко рту, а Эли отвѣчалъ

ужасно высокимъ голосомъ, который поражалъ чрезвычайной своей ѣдкостью и сардоничностью. Сосѣди жили между собою дружно, и дружба ихъ выражалась самымъ трогательнымъ образомъ. Аниска, точно заведенная машина, въ каждую пятницу приносила Эли полъкварты водки, которую тотъ сдабривалъ сахаромъ и крѣпкимъ настоемъ изъ чая, а Эли дарилъ ему контрабандный табакъ средняго качества.

Въ свободное время они навѣщали другъ друга, и съ годами изъ отношенія перешли въ тѣсную дружбу. Въ послѣдній годъ они сблизились съ однимъ чудачкомъ—Акштейномъ и немного времени спустя, когда узнали его ближе, сошлись съ нимъ окончательно.

Феликсъ Акштейнъ былъ торговецъ мѣшками и странный допелъзя человекъ, ревниво скрывавшій свою интимную жизнь. Презирая свое занятіе, которымъ занимался изъ матеріальной необходимости, онъ имѣлъ пристрастіе къ образованію, которое тѣмъ болѣе плѣняло его, чѣмъ меньше онъ разбирался въ немъ. Образованіе значило у него французскій языкъ, и онъ тысячи разъ начиналъ и бросалъ изучать Марго. Потомъ онъ задался цѣлью изучить словарь Брокгауза и Ефрона, но и здѣсь потерпѣлъ крушеніе. Читалъ Пушкина, Шекспира, Некрасова, Достоевскаго, толкуя ихъ своеобразно и иногда остроумно, и презиралъ всѣхъ, кто занимался торговлей, ремесломъ. Въ разговорѣ былъ вычуренъ и употреблялъ почти всегда невпопадъ стихи изъ любимыхъ авторовъ. А еще онъ питалъ страсть къ сопилкѣ, на которой выдѣлывалъ одни только головоломнѣйшія рулады, доставлявшія ему чисто порочное наслажденіе.

Нѣсколько времени спустя послѣ посѣщенія Аниской Азриля, друзья собрались по обыкновенію у табачника. Акштейнъ приказалъ принести три бутылки пива, и когда оно было принесено, Эли разставилъ бутылки на столѣ, досталъ стаканы и наполнилъ каждому порцію.

Потомъ онъ усѣлся за прилавкомъ, потеръ между лопатками, гдѣ у него вѣчно чесался застарѣлый лишай, и пріятели чокнулись.

Эли никогда не могъ выпить пива, чтобы не провести нѣсколько мизантропическихъ параллелей.

Такъ было и на этотъ разъ.

— Знаете ли вы, друзья мои, — раздался его высокій сардоническій голосъ, — который это разъ, что мы пьемъ пиво, что на землѣ рождается новое поколѣніе, или, наконецъ, который разъ, что со дня сотворенія міра восходитъ солнце на небѣ? Знаете ли вы, друзья мои? Увы, и я не знаю. Но, можетъ быть, вы знаете, когда мы въ первый разъ прикоснулись устами къ пиву, или когда родилось первое поколѣніе, или, наконецъ, когда солнце въ первый разъ взошло на востокъ? Нѣтъ! Увы, и я не знаю. Ахъ, друзья мои, поколѣнія — это ячмень, брошенный на дно огромной бочки, которое есть земля, а крышка ея небо, и ячмень этотъ бродитъ отъ солнца, чтобы сдѣлаться прекраснымъ пивомъ, а потомъ попасть въ большой животъ земли, какъ это пиво въ нашъ. Итакъ, друзья мои, выпьемъ, забудемъ несчастную землю, забудемъ зло, которое такъ же щедро разсыпано на нашемъ пути, какъ пшеница въ курятникъ богатаго хозяина, и заткнемъ уши, чтобы хоть на минуту не слышать стоновъ и глупыхъ разговоровъ. Что вы говорите, Аниска? Э, э, что-то прыгаютъ ваши губы. Смотрите въ стаканъ, смотрите въ стаканъ! Развѣ Богъ открылъ свои уши? За ваше здоровье, друзья...

Онъ сдѣлалъ какой-то мизантропическій жестъ и опрокинулъ стаканъ въ ротъ. На минутку наступило торжественное молчаніе, и всѣ ожидали, когда Эли вернется къ дѣйствительности изъ своего мизантропическаго высока.

Осушивъ стаканъ, Эли снова наполнилъ его, не забывъ и друзей, и продѣлалъ это съ такимъ печальнымъ лицомъ, словно онъ наливалъ смертельный напитокъ.

— Пейте еще, друзья мои, — печально напомнил онъ, — жизнь летитъ и никогда не ждетъ кнута, и скоро, скоро мы будемъ мертвыми, каждый въ той грязной ямѣ, которая назначена ему судьбой. Пейте, потому что камень на могилѣ крѣпко палажетъ на насъ и раздавить уста, еще умѣющія теперь пить это пиво. Что вы скажете, Акштейнъ? Ну, говорите, говорите, теперь вашъ языкъ сто евреевъ не удержать.

— Когда это было? — началъ Акштейнъ, повторяя вопросъ Эли и обращаясь къ потолку. — Это было, — отвѣтилъ онъ немедленно, — когда покойный король нашъ побѣдилъ Фортинбраса. И только скажите вы, — доверчиво обратился онъ вдругъ къ табачнику, — Эли, помните ли вы, гдѣ это покойный король побѣдилъ Фортинбраса? Не помните? При Гамлетѣ, при Гамлетѣ, невѣжественный человѣкъ. Надо исторію пзучать, Эли, а не адъ! Развѣ вы были когда-нибудь въ адъ? Нѣтъ, вы не были, и я васъ за это не обвиняю. Но если бы вы тамъ побывали, то только тогда, только тогда я могъ бы про васъ сказать словами одного человѣка, у котораго вы и всѣ мы недостойны вычистить башмаки:

Жилъ на свѣтѣ тараканъ,  
Тараканъ отъ дѣтства,  
И попалъ потомъ въ стаканъ,  
Полный мухоѣдства.

— А теперь, Эли, вы только простой тараканъ, и я не понимаю, куда вы суетесь? Вы самый обыкновенный, немного мрачный тараканъ, и это совсѣмъ не великая заслуга для человѣка. Вамъ печего гордиться, Эли, хотя я только иногда понимаю васъ, но не постигаю, не постигаю, Эли.

И онъ развелъ руками, словно не понимая, какъ это нельзя постичь такого таракана, какъ Эли.

— Но, — продолжалъ онъ, подмигивая глазомъ выходной двери, гдѣ еще дрожалъ задѣтый приходомъ Эли колокольчикъ, — но сокрушайся сердце, коли языкъ

мои говорить не смѣетъ, то-есть это значитъ, — съ готовностью пояснить онъ почти, не ласково глядѣвшей въ окно лавочки, — я, можетъ быть, еще мрачнѣе могъ бы смотрѣть на жизнь, но вы, Эли, слишкомъ невѣжественны, и я не хочу быть вашимъ товарищемъ. Итакъ, Эли, выпьемъ за Фортинбраса, Эли, который теперь побѣдилъ покойнаго короля.

Аниска, слегка охмелѣвшій послѣ третьяго стакана, чувствовалъ себя очень, очень грустно. Теперь ему хотѣлось ласковаго, добраго сердца, которому онъ бы могъ открыть всѣ тайники своей души, ему хотѣлось бы сочувственныхъ словъ, которыя вызвали бы слезы изъ его опустошеннаго сердца; хотѣлось бы сдѣлаться вдругъ такимъ маленькимъ, жалкимъ, чтобы всякій его гладилъ и утѣшалъ, какъ ребенка.

— Эли, — произнесъ онъ голосомъ, точно давно надорвавшимся отъ рыданія, — Феликсъ, друзья мои, всѣ вы говорите, вѣроятно, правду, но чѣмъ, чѣмъ, я васъ спрашиваю, это меня облегчаетъ? У меня все-таки больная, очень больная жена, 6 маленькихъ больныхъ дѣтей и всего 300 рублей. Я таки здоровъ, какъ быкъ, но вѣдь у меня все-таки больная жена и 6 маленькихъ больныхъ дѣтей и всего 300 рублей. Развѣ я могу рѣзать отъ себя куски и продавать ихъ, какъ свѣжее мясо? Ахъ, если бы вы могли посмотрѣть на мой мозгъ, то увидѣли бы, какой онъ уже больной, измученный. Я думаю, думаю, и все-таки у меня больная, очень больная жена и 6 маленькихъ больныхъ дѣтей и всего - всего 300 рублей. Это какъ стѣнка передо мной. Маня полѣзла бы на первую крышу, чтобы что-нибудь дѣлать. Маня бы на деревѣ ваялась торговать, но я вѣдь не Маня. Я вѣдь долженъ давать хлѣбъ моей семьѣ. Посмотришь на Абрамчика — сердце болитъ, теперь уже онъ что-то хромать началъ, а я не знаю почему, и изъ сердца выливаются потоки крови. Больные,

больные, бѣдные и ничего больше. Ахъ, Богъ, что Онъ тамъ думаетъ на небѣ?

Эли, забравшись къ лопаткамъ, долго не выходилъ изъ мудрой задумчивости, а Акштейнъ, поискавши въ головѣ стишокъ, который подходилъ бы къ настоящему положенію, продекламировалъ:

Отъ ликующихъ, праздно болтающихъ,  
Обагряющихъ руки въ крови,  
Уведи меня въ станъ погибающихъ  
За великое дѣло любви.

— Да, Аниска, сегодня вы въ станъ погибающихъ, и я очень, очень жалѣю васъ. Большую ошибку далъ вашъ отецъ, не сдѣлавъ изъ васъ ремесленника. Вообще,—задумчиво закончилъ онъ, можетъ быть, намекая на свое прошлое,—отцы въ старое время были очень глупы.

Что-то стиснуло его сердце отъ негодованія, въ головѣ молніей что-то пронеслось и онъ почти выкрикнулъ:

Плюньте въ лицо ему, честные люди,  
Это отецъ, развращающій дочь!

Потомъ онъ отвернулся и со слезами на глазахъ сталъ глядѣть въ оконныя стекла, которыя, казалось, были отполированы чернымъ лакомъ.

— Бываетъ несчастіе, — оправился Аниска, — такъ хоть что-нибудь есть, какая-нибудь опора, что-нибудь, что-нибудь. Десять лѣтъ я и Маня работали, какъ въ аду, а что намъ осталось—300 рублей! А развѣ могло остаться больше? Я работалъ только на складчика. Всѣ кабатчики работали на складчика. Посмотрите-ка на Лейбовича, у котораго я покупалъ водку, повредила ли ему монополія? Посмотрите еще на складчиковъ. Они почти первые богачи въ городѣ, а всѣ кабатчики нищими остались. Я работалъ, какъ вѣрная собака, отъ 4 часовъ утра до 12 часовъ ночи, но если бы я землю копалъ, у меня за 10 лѣтъ больше бы осталось. А те-

перь, Эли, что будетъ съ моею большою Маней, съ дѣтьми. Куда мнѣ пойти, за что взяться? Я вамъ говорю, Эли, что если бы разверзлась земля и поглотила меня съ женой и дѣтьми, то я бы благословлялъ и благодарилъ Бога. Вотъ Маня ожидаетъ меня теперь, напелъ ли я дѣло. Какое дѣло, скажите мнѣ, развѣ я одинъ въ городѣ? Кто мнѣ дастъ дѣло, когда всѣ хотятъ ѣсть? а дома холодно, всѣ голодные и больные, больные, и Маня ожидаетъ меня, какъ ожидаютъ Мессію.

Онъ опустилъ голову, чувствуя, что не въ силахъ выдержать душившихъ его рыданій.

— Аниска, — началъ Эли, выходя изъ задумчивости, — вы можете утѣшиться тѣмъ, что все идетъ къ гибели въ этомъ мірѣ. Вѣдь все должно имѣть конецъ. Въ эту самую минуту, когда вы напрасно ломаете себѣ голову, многихъ везутъ на кладбище, гдѣ ожидаетъ ихъ скверная глубокая яма, въ эту самую минуту многіе выпускаютъ дыханіе, многіе голодаютъ, съ ума сходятъ, и въ мірѣ нѣтъ ни одного человѣка, который бы отъ чего-нибудь не страдалъ. Это, Аниска, большое утѣшеніе, если, вообще, есть утѣшеніе въ жизни. Но, — продолжать онъ саркастически, — въ маленькихъ городахъ есть тоже кабатчики, и отъ нихъ исходитъ такой стонъ, что я удивляюсь, какъ мы не слышимъ его здѣсь. И вотъ стонъ этихъ кабатчиковъ, Аниска, долженъ быть для васъ уже настоящимъ утѣшеніемъ, потому что если я иногда молюсь кому-нибудь, то прошу только о томъ, что когда я буду умирать, то пусть совершу это не въ одиночествѣ. Я прошу о томъ, чтобы не много даже, но хоть одинъ человѣкъ умеръ вмѣстѣ со мной, дабы я не долженъ былъ послѣ смерти сознавать одинъ свой ужасъ и искать въ этихъ безконечныхъ семи небесахъ ада, куда я, навѣрное, долженъ буду попасть, ибо товарищи по несчастію — великое облегченіе.

Глаза Эли углубились, и онъ, казалось, искалъ

черномъ стеклѣ дверей то мѣсто на небѣ, гдѣ нѣкогда въ такую же черную ночь будетъ искать свое вѣчное пребываніе.

— Такъ, такъ,—кивалъ Аниска головой,—такъ, но вѣдь все-таки нужно хлѣбъ отыскать, а сколько я не ищу, его нѣтъ, нѣтъ въ городѣ. Эли, знаете ли вы, что значить хлѣбъ, хлѣбъ, когда тутъ же возлѣ васъ больная жена, больныя, золотушныя, хилыя дѣти и всего, всего 300 рублей, которыхъ, лучше умереть, чѣмъ затронуть. А изъ маленькихъ денегъ, Эли, хлѣбъ не растетъ. Около маленькихъ денегъ нужно какъ въ аду работать, чтобы изъ нихъ выросъ хлѣбъ...

И погромче насъ были витія,  
Но не сдѣлали пользы перомъ,—

продекламировалъ вдругъ Акштейнъ, барабана пальцами по стеклу.

— Аниска,—произнесъ Эли какимъ-то топчайшимъ голосомъ,—ваши слова могли бы даже камень тронуть, а я всего, всего только прахъ. Допустимъ, что вы правы и ваша больная Маня, и ваши дѣти, ибо всякая семья когда-нибудь бываетъ права. Нѣтъ, я не то хотѣлъ сказать. Я хотѣлъ сказать, что когда желудокъ хочетъ ѣсть, то весь міръ становится такимъ же большимъ, какъ двухкопеечная булка, пашпигованная иглоками. Вы понимаете меня, Аниска. Нѣтъ? Ну, это не для вашей головы. Нужно не только свое несчастье видѣть, Аниска. Нѣтъ, не поняли? Ну, это все равно, вамъ даже не здорово это понять. Такъ я говорю, что вамъ нужно помочь. Въ молодости, когда у меня не было лишая, у меня былъ хорошій мозгъ и крѣпкія, какъ желѣзо, ноги. Аниска,—закончилъ онъ вдругъ сардонически,—или я не буду Эли, или я вамъ найду дѣло!

— Эли,—всезапно поднялся сильно взволнованный Акштейнъ,—хотя я презираю „дѣло“, потому что „дѣло“



погружаетъ существо человѣка въ низкую грязь, но порывъ вашей души тронулъ, сильно тронулъ меня. Я васъ кругомъ, кругомъ понялъ, Эли, кругомъ, кругомъ. Вы хотя, по моему, невѣжественный человѣкъ, Эли, вычурный и съ претензіями человѣкъ, но сегодня я отъ васъ услышалъ настоящее слово. О, если бы наши отцы были такими, если бы и у нихъ бывали порывы, то не мѣшками, Эли, клянусь, не мѣшками я бы торговалъ, а былъ бы теперь гдѣ-нибудь учителемъ ли, врачомъ ли, но честнымъ, честнымъ труженикомъ, который не долженъ насильно плевать ежеминутно въ свою совѣсть, чтобы набарышничать лишнюю копейку, а дѣлаетъ скромно и чисто свое дѣло. Вамъ же, Аниска, я скажу словами великаго человѣка, передъ которымъ я такъ благоговѣю:

Либералка или жоржаадка—  
Все равно—теперь лиду!  
Ты съ приданнымъ гувернантка,  
Плюй на все и торжествуй!

Онъ выпилъ пива, сложилъ руки на груди, и долго еще лицо его подергивалось отъ волненія.

— У васъ будетъ дѣло, Аниска,—повторилъ Эли,—сегодня, завтра, черезъ мѣсяцъ, но оно будетъ. Пейте пиво.

Друзья посидѣли еще нѣсколько времени и не возобновляли разговора. Потомъ первымъ вышелъ Аниска и сейчасъ же словно провалился во тьмѣ. За нимъ скорѣй вышелъ Акштейнъ. Эли сталъ запираеть дверь на почъ, и звонъ встревоженнаго колокольчика долго преслѣдовалъ Феликса. Онъ зажалъ уши, чтобы не слышать его и нѣсколько времени подвигался, какъ автоматъ. Холодный, морской вѣтеръ забрался подъ его рубашку и ласкалъ своей свѣжестью. Было темно, и башмаки его отчетливо стучали по камнямъ тротуара. Но тишина улицы и запахъ плѣсени, несшейся отъ старыхъ стѣнъ домовъ, наводили на него ту холодную

тоску, которую онъ испытывалъ, когда, купаясь, погружался въ воду и не чувствовалъ надъ собой никакого міра, кромѣ моря, которое куда-то бѣжало поверхъ его спины. Онъ пошелъ быстрѣе, бормоча про себя:

Въ столицахъ шумъ, гремѣть вѣтъ,  
Кипитъ словесная война,  
А тамъ, во глубинѣ Россіи,—  
Тамъ вѣковая тишина.

Потомъ, когда онъ пришелъ домой, то, не зажигая свѣчи, не раздѣваясь, онъ отыскалъ сопилку и залился странными жалобными звуками, которые терзали и ласкали его сердце и напоминали плачъ существа, которое хочетъ что-то сказать, пожалѣться, душу раскрыть, но, не имѣя словъ, умѣетъ только выть этими странными, раздражающими сердце звуками...

Дни тянулись за днями и не приносили съ собой ничего новаго. Эли съ одной стороны, Аниска съ другой, не щадя силъ, бѣгали ежедневно осматривать все, что имъ предлагали, но всѣ ихъ усилія пропадали даромъ. То просили много денегъ, то предлагаемое дѣло оказывалось аферой, мизернымъ или просто миеомъ, то перебивали конкуренты, и съ каждымъ днемъ становилось все очевиднѣе, что ужасное только вперед. Маля отъ огорченія начала часто прихварывать. У нея распухъ животъ, распухли ноги, и какъ ни дороги были 300 рублей, все же пришлось затронуть ихъ, чтобы лѣчить ее. Недовольство между супругами становилось, по мѣрѣ того какъ отодвигалась надежда, все острѣе, а озлобленіе и горе вымещалось на дѣтяхъ, которыя почему-то всегда всему мѣшали: жизни, вѣдѣ, разговорамъ. И такъ скверно, гадко и однообразно тянулись дни за днями.

Однажды Аниска, потерпѣвъ, по обыкновенію, неудачу, возвращался домой. Онъ шелъ усталый, печаль-

ный, и весь міръ казался ему темнымъ и мрачнымъ, какъ его душа. Вдругъ онъ почувствовалъ, что кто-то положилъ руку на его плечо. Онъ испуганно оглянулся и увидѣлъ передъ собою улыбающееся лицо Моти „шойхета“. За нимъ стоялъ чахоточный бакалейщикъ съ своими странными, высоко поднятыми плечами и все горѣвшими черными глазами.

— Вотъ какъ,—выговорилъ Мотя, вмѣсто привѣтствія,—и вы здѣсь. Что вы тутъ дѣлаете?

Аниска лѣниво отвѣтилъ:

— Ничего, а вы?

— Я,—разсмѣялся Мотя,—я ищу вчерашній день!

Аниска поднялъ ногу, чтобы двинуться дальше, но Мотя удержалъ его за руку, и тотъ безпомощно потоптался на мѣстѣ.

— Куда вы летите?—искривилъ онъ, по обыкновению, свое лицо и прибавилъ, обращаясь къ бакалейщику:—Евреи только летятъ: что, зачѣмъ, иди чело-вѣкъ спокойно, кто гонится за тобой? Летить!

Онъ сдѣлалъ шагъ и, не давая никому раскрыть рта, продолжалъ:

— Это слово „летать“ напоминаетъ мнѣ одну исторію, которая, положимъ, не имѣетъ отношенія къ намъ, но какъ всякая умная исторія, можетъ чему-нибудь насъ выучить. Однажды у окна сидѣли мужъ съ женой и смотрѣли на небо. Почему они смотрѣли на небо, а не на сосѣдній домъ, не на улицу, это особенный вопросъ и мы когда-нибудь къ нему вернемся. Оставимъ же это въ сторонѣ и будемъ держаться нашей дороги.

Большимъ и указательнымъ пальцемъ онъ вытеръ углы губъ, сдѣлалъ шагъ впередъ и остановился. Аниска и бакалейщикъ тоже шагнули и остановились.

— Такъ будемъ держаться нашей дороги,—не спѣша продолжалъ Мотя,—какъ бываетъ,—на небѣ случается облако, ласточка, ну галка, орелъ, а бываетъ, что и ни-

чего не случается. Но на ихъ несчастье какъ разъ въ эту минуту, когда они смотрѣли, показались гуси и числомъ ихъ было девять. Когда гуси улетѣли, мужъ говорить жень: „Смотри-ка, не лучше ли было, если бы эти девять гусей были нашими, а не летѣли чортъ знаетъ куда?—„Какое,—говорить она,—девять, ты хочешь сказать семь“.—„Девять, я говорю тебѣ,—разсердился мужъ,—что же я считать не умѣю“.—„Семь“,—возразила жена.—„Девять“,—крикнулъ мужъ. Спорили, спорили, наконецъ, мужъ не выдержалъ и сталъ ее колотить. „Девять“,—кричитъ онъ, поднимая кулаки.—„Семь“,—отвѣчаетъ она, но уже безъ голоса. Наконецъ, увидѣвъ, что ничего не помогаетъ, онъ убилъ ее. „Ну,—думаетъ онъ,—теперь уже будетъ девять“. Потомъ онъ подошелъ къ покойницѣ и сталъ ее оплакивать: „Дура, ты дура,—началъ онъ,—нужно было тебѣ настаивать, нужно было тебѣ умереть такъ рано! Когда я сосчиталъ, что пролетѣло „девять“...—„Семь“,—крикнула покойница и опять повалилась мертвой.

Аниска натянуто разсмѣялся, а бакалейщикъ даже закашлялся отъ хохота, согнувшись для этой операціи почти до колѣнъ.

— Ну, такъ что же?—наконецъ, спросилъ Аниска.

— Я вѣдь вамъ сказалъ, что васъ это не касается. Но одна капля ума и вы увидите въ этой исторіи интересный примѣръ. Развѣ эта жена не похожа, какъ двѣ капли воды, на нашихъ свреевъ? Въ городѣ, и не только въ немъ, а въ маленькихъ городахъ идетъ такой плачь, что можно отъ него съ ума сойти. Развѣ тѣ, которые плачутъ о кабакахъ, не похожи на эту глупую жену, которая хотѣла, чтобы было только семь? А безъ кабаковъ развѣ нельзя жить на свѣтѣ? Что монополія убила людей, то даже вотъ эта собака, что бѣжитъ, повѣрить, прѣта самая собака не повѣритъ, чтобы люди не могли жить безъ кабака. Къ чему эти слезы, этотъ плачь, кого онъ разжалобитъ, чему онъ

поможетъ? Будьте евреями, не ропщите, ищите выхода!..

Голосъ его зазвенѣлъ, какъ бы отъ восторга.

— Можетъ быть, въ этомъ начало вашего исхода,— продолжалъ онъ,— вѣдь есть же та капля, которая переполняетъ сосудъ! Чѣмъ хуже, тѣмъ лучше. Мучьте, топчите, давите насъ, не давайте намъ вздохнуть, сгоняйте насъ въ одну кучу, чтобы мы были ближе другъ къ другу. Человѣкъ любить кнута, а мы, евреи, держимся только благодаря ему.

На лбу у него повисли желваки, а рука заметалась, какъ раненая змѣя. Чахоточный опять раскашлялся своимъ ужаснымъ кашлемъ, и его безкровное, костяное лицо посинѣло отъ натуги.

Мотя прислушался къ бакалейщику, но видно было, что его мысли витаютъ гдѣ-то далеко отъ этого мѣста. Казалось, онъ видитъ предъ собою эту кучу загнанныхъ евреевъ, которымъ онъ сейчасъ начертаетъ планъ исхода.

— Мы,— продолжалъ Мотя,— принадлежимъ къ тѣмъ людямъ, для которыхъ добро есть зло, а зло есть добро. Пусть, сохрани Богъ, начнутъ насъ жалѣть, то мы погибнемъ отъ перваго до послѣдняго, ибо самый худшій врагъ нашъ—это покой. Весь секретъ нашей долгой жизни, это то, что нигдѣ и никогда намъ не давали жить. Весь умъ, весь вкусъ нашей исторіи лежитъ въ этомъ. Кнутъ вездѣ сѣкъ наши плечи, вездѣ онъ будилъ насъ, сбивалъ въ кучу и гналъ все дальше и дальше. Онъ былъ нашимъ спасителемъ, нашимъ Мессією, котораго мы ждали, искали, не понимая, что Богъ съ перваго дня нашихъ бѣдствій далъ намъ его, какъ вѣрнаго стража для нашего сохраненія. Но еще лучше нашей исторіи бѣдствій, это наше высокое назначеніе. Мы, евреи, нація священниковъ, которымъ было дано разнести по всему міру мысль объ единомъ Богѣ, ученіе свѣта и добра, и мы это велѣніе уже совершили. Единого Бога признать весь міръ, и больше намъ здѣсь

нечего дѣлать. Теперь наступаетъ время вернуться домой послѣ большой войны, и мы вернемся, какъ побѣдители. И я говорю, не плачьте, оглянитесь назадъ, весь страшный путь пройденъ: скоро мы будемъ у себя!..

Онъ опять пошелъ, задыхаясь отъ волненія, не обращая вниманія, идутъ ли за нимъ его слушатели, весь поглощенный своей высокой идеей.

— Есть между нашими евреями такіе, — продолжалъ онъ, — которые отрицаютъ и наше назначеніе, и нашу удивительную исторію, которые отрицаютъ самого Бога. О, скажите мнѣ, можно ли, глядя на этотъ большой міръ, начиная съ самой маленькой песчинки его и кончая этимъ небомъ, на которомъ мелькаютъ миллионы прекраснѣйшихъ звѣздъ, можно ли допустить мысль, что не было преднамѣренной мысли или какого-нибудь плана въ этой удивительной гармоніи, гдѣ каждое такъ хорошо сидитъ на своемъ мѣстѣ, имѣетъ свое назначеніе и ничто не способно на одинъ мигъ измѣнить свой ходъ? Если взять большой листъ бумаги и опрокинуть на него бутылку съ чернилами, что вы получите? Вы получите черное большое пятно. Не станете ли вы удивляться, если случайно, вмѣсто пятна, получится какая-нибудь буква? Но что вы подумаете, если вамъ расскажутъ, что эти чернила пролились такъ, что вмѣсто пятна вышли буквы, что буквы эти удивительно сложились въ слова, слова связались въ предложенія, а предложенія дали хорошія разумныя мысли? Повѣрите ли вы, что это само собою сдѣлалось? Что же тогда сказать объ этомъ безконечномъ мірѣ, который такъ правильно устроенъ въ своихъ частяхъ и въ которомъ вы находите ежедневно бездну, поучительнаго, предъ которымъ мысли на бумагѣ меньше, чѣмъ лепетъ ребенка. О, вы скажете, что это созданіе Отца нашей жизни, великаго всемогущаго Бога, Того, Кто предвѣченъ, Кто есть вездѣ и нигдѣ, единого Царя вселенной.

— Такъ, хорошо,—кивая головой, бормотать чахоточный,—теперь я вижу, что долженъ былъ получить чахотку. Потому что, если бы не я, не другой заболѣвалъ ею; тогда кто бы заболѣвалъ? Чахотка должна существовать, и кто-нибудь долженъ ее получить. Ну, хорошо, я получилъ, но „тамъ“ уже хорошо знаютъ, почему и для чего и отчего именно я, а не другой. Продолжайте, Мотя, съ каждымъ днемъ я становлюсь все умнѣе. Мнѣ только жалко, что я васъ предъ смертью узналъ.

— Каждая вещь, — продолжалъ Мотя, искривившись,—должна имѣть свой хорошій конецъ. Смотрите не на начало, не на середину, а только на конецъ. Не смотрите на то, что вамъ теперь плохо или хорошо, потому что не это важно, а большой конецъ. Что вы, человѣкъ, другой человѣкъ? Ничего, пылинка, немощко золы. Главное, это ходъ Божьей воли, которая совершается въ тысячелѣтія и чрезъ милліоны людей. Сколько лѣтъ тому назадъ мы попали въ плѣнъ? Кому это нужно было, почему столько людей погибло? Теперь и я, и вы, и всякій знаетъ, почему. Мы знаемъ теперь, почему мы мучились, почему мы перебѣгали изъ одного мѣста въ другое, почему насъ сжигали, рѣзали, убивали: это было нужно, чтобы выполнена была Божья воля. Итакъ, я теперь говорю. Наступаютъ опять тяжелыя времена, они будутъ еще хуже, и я даже не могу охватить умомъ, какъ велики будутъ наши страданія. Но помните, что самыя трудныя усилія родильница совершаетъ тогда, когда ребенокъ идетъ уже на свѣтъ. Укрѣнитесь хорошо на ногахъ, согните въ послѣдній разъ ваши спины и задавите крикъ на устахъ. Скоро мы будемъ у себя!

Онъ замолчалъ, укрѣпился на ногахъ, согнулъ свои могучія плечи и, какъ бы задерживая крикъ, радостно глядѣлъ куда-то своими близорукими глазами, гдѣ ему видѣлась осуществленная мечта.

У Аниски, какъ и въ первый разъ, завертѣлось и помутилось въ головѣ. Исчезъ кабакъ, исчезла Маня, дѣти, ежедневныя заботы, и была предъ глазами большая бойня, гдѣ палачи рѣзали евреевъ, евреевъ, евреевъ. И онъ испугался, и убѣждалъ, чтобы не видѣть этихъ картинъ, не слышать этого голоса, который словно благословлялъ его несчастье.

— Я еще зайду къ вамъ,—бормоталъ онъ чахоточному дрожа,—я еще зайду къ вамъ. Кланяйтесь Азрилю.

— Еще одно тяжелое успіе,—повторялъ бакалейщикъ,—и мы будемъ у себя.

Мотя медленно разогнулся и не спѣша продолжалъ свой путь.

Наконецъ морозы прекратились. Снѣгъ растаялъ, улицы покрылись грязью, съ деревьевъ сошла ледяная кора и отовсюду съ неба, съ крышъ, съ домовъ, съ уличныхъ фонарей, съ телеграфныхъ проволокъ, съ вѣтвей деревьевъ полилась какая-то мутная, жирная вода. Солнце не показывалось, а вмѣсто неба была какая-то сѣрая мгла, закопченная дымомъ отъ печныхъ трубъ. Нижняя улица, лежавшая у моря, почти потонула въ густомъ туманѣ, и во всѣхъ домикахъ по цѣлымъ днямъ горѣли огни. Первымъ пострадавшимъ отъ оттепели былъ Аниска. Стѣны подвального этажа, въ которомъ онъ жилъ, были пропитаны неистребимой сыростью, отъ которой его спасали только одни морозы. Даже лѣто не приносило облегченія. Со стѣнъ, точно съ мокраго лпша, безпрестанно текло, и вода эта была вонючая, какъ и камни, по которымъ она текла. Но самое тяжелое время наступало въ концѣ марта. Почти всегда переходъ отъ зимы къ веснѣ оплачивался Аниской какимъ-нибудь болѣе хилымъ или болѣзненнымъ ребенкомъ. То же самое происходило у сосѣдей



Аниски, жившихъ при такихъ же условіяхъ. И. когда начинались кори, оспы, скарлатины, крупы и всякія другія болѣзни, то маленькихъ людей косило съ одного края Нижней улицы до другого.

У Аниски первымъ заболѣлъ Абрамчикъ, игравшій наканунѣ во дворѣ съ ребенкомъ сосѣдки Бейлы—модистки, слегшимъ на слѣдующій день отъ дифтерита. Съ Абрамчикомъ въ вѣчно темной и тѣсной комнаткѣ обыкновенно спалъ Шайка, малюсенькій, на аршинъ отъ полу, ужасно худенькій мальчикъ, съ открытыми большими глазами, какъ у куклы. Шайка мучился всю ночь, потому что въ горлѣ у него какъ будто лежало что-то острое и каждый разъ, когда онъ глоталъ, больно рѣзало. Первую половину ночи ему было очень холодно и онъ все жался къ Абрамчику, который былъ теплый, какъ печка. А когда утромъ онъ проснулся, ему было уже такъ жарко, что онъ бы голымъ выбѣжалъ во дворъ. И Абрамчикъ пылалъ. Съ нимъ тоже произошло что-то странное ночью. Казалось ему, что онъ лѣзетъ на тотъ самый домъ, что стоитъ всегда на горѣ надъ Нижней улицей. Такой страшный домъ со шпиромъ на верхушкѣ, куда обыкновенно садятся голуби. И этотъ шпиръ его всю жизнь интересовалъ. И вотъ онъ, наконецъ, лѣзетъ по стѣнкѣ башни къ этому шпиру, куда обыкновенно садятся голуби. И все лѣзетъ онъ и мучится, и пыхтитъ, чтобы добраться до него, а шпиръ тоже лѣзетъ, но гораздо скорѣе, чѣмъ онъ. „Скоро уже у неба будемъ“, думаетъ онъ, и все тяжелѣе становится ему подниматься, и потъ льется съ него, какъ вода. „Передохну“, думаетъ Абрамчикъ. И только онъ остановился, какъ его обступили большія черныя мухи, которыя лѣтомъ такъ громко жужжатъ на стеклѣ, и стали кусать въ горлѣ. Такъ, какъ-то прошли въ ротъ и стали кусать. И онъ началъ кричать, „мухи, мухи“ и ему казалось, что мухи означаютъ домъ, что стоитъ всегда на горѣ. А потомъ его кто-то ду-

шилъ, потомъ за нимъ гнался дворникъ, котораго онъ какъ чорта боялся, и опять шпицъ, шпицъ, мальчикъ Бейлы и жарко, жарко, какъ будто его бросили въ печку, гдѣ въ пятницу утромъ сосѣдки хлѣбъ пекутъ.

Это утро было скверное утро. Горѣла лампа на старинномъ комодѣ и плохо освѣщала комнату. Безпорядокъ былъ вездѣ, такъ какъ Аниска и Маня только что встали. На столѣ безъ скатерти лежали остатки вчерашняго ужина. Постельное бѣлье на кровати было грязное, и на немъ валялась юбка яркаго, но полинявшаго цвѣта, зимній красный шарфъ Аниски, Сонька со Шлемкой. Маня, неумытая, съ подвязанной щекой, стояла подлѣ казанка и разводила огонь, чтобы сварить чай. Аниска въ чулкахъ, безъ жилетки, мотался по комнатѣ, то заходилъ на цыпочкахъ къ Абрамчику, что-то говорилъ тамъ, возвращался и машинально перекладывалъ свою жилетку съ одного мѣста на другое.

— Горятъ?—шопотомъ спросила Маня, снимая чайникъ съ вскипѣвшей водой.

— Можешь посмотреть. Эта зима насъ всѣхъ въ землю загонитъ.

— Выпей чай и дай дѣтямъ. Хоть бы эти не заболѣли. Въ комнатѣ есть вода? Я забыла вчера приготовить. Я имъ холодную воду приложу къ головкамъ. Пошли Исака. Разбуди и Шлемку, а то у него чая потомъ не будетъ!

Она взялась за щеку и, сдѣлавъ страдальческое лицо, пошла къ больнымъ, а Аниска разбудить Шлемку и остальныхъ дѣтей, взявъ Розу на руку и ставъ разливать чай въ грязные стаканы.

Черезъ нѣсколько минутъ вернулась Маня съ Исакомъ. Аниска налить имъ чаю и спросить:

— Ну, что они тамъ дѣлаютъ?

— Горятъ, какъ огонь,—отвѣтила Маня, задыхаясь,—начинается хорошая весна. Только въ прошломъ году охоронили Лейбочку передъ Пасхой.

У нея заслезились глаза, а Аниска махнулъ рукой, какъ бы отталкивая тяжелое воспоминаніе.

— Ты знаешь, — прибавила Маня, — вѣдь мальчикъ Бейлы уже готовъ!

— Уже! — воскликнулъ онъ, — кто тебѣ сказалъ?

— Выйди и ты услышишь. Такой плачъ, такой плачъ. Сегодня я уже пойду за Басей. Что я еще буду ждать. Дѣти такъ не выздоравлиютъ. И у меня былъ такой нехорошій сонъ. что сердце мое плачетъ, плачетъ. Бабушка сегодня пришла ко мнѣ. Она мнѣ не снилась уже 10 лѣтъ, и сегодня я ее увидѣла. Она подошла вотъ къ этому окну и постучала. Я вышла и увидѣла ее черезъ стекло. „Что вы тутъ дѣлаете, баба?“ спросила я ее. Ты думаешь, что она мнѣ отвѣтила? Нѣтъ! Только она меня увидѣла, она вынула изъ-подъ шали вотъ такой большой камень и ударила имъ стекло — вотъ это стекло. И я сейчасъ же сдѣлалась мертвой отъ страха. „Баба, баба, — крикнула я ей, — за что вы сломали у меня стекло? Баба, у вашей внучки вамъ нужно было разбить стекло, ей такъ хорошо, вашей внучкѣ, столько у нея миллионовъ въ сундукѣ, такая она здоровая, баба?“ Э, она даже на меня не посмотрѣла и убѣжала. Что ты скажешь? Я пойду на кладбище. Я пошлю свѣчи въ синагогу. Вѣдь это смерть въ домѣ, если такой сонъ.

— Пустыя дѣла, — возразилъ Аниска, — тебѣ все снится. Отчего мнѣ не снится? Ну, поѣзжай на кладбище. Кто это тамъ?

Возвѣтившійся у щеколды, наконецъ, отворилъ дверь и вошелъ въ комнату.

— А! — выговорилъ Аниска, — это Эли. Зайдите уже.

— Подождите немного, я вытру ноги. Я мокрый, какъ утопленникъ.

— Ничего, ничего, зайдите, вы высушитесь у печки. Будете пить чай? Маня, налей имъ стаканъ чаю.

Эли все-таки вошелъ не раньше, пока не вытеръ хорошо ногъ.

— Что это у васъ такъ тихо?—началь онъ, по обыкновенію почесавъ лопатки.—Гдѣ Абрамчикъ? Гдѣ мой Шаечка?

— Что вы скажете на новое несчастье,—отвѣтила Маня,—дѣти уже третій день больны. Вотъ они лежатъ тамъ и горятъ. Этотъ мѣсяцъ убиваетъ насъ всегда. Въ этотъ мѣсяцъ Лейбочка умеръ, а раньше Ханька умеръ. Я совсѣмъ не знаю, за что Богъ меня такъ наказываетъ?

— Ну, Бога оставьте въ покоѣ,—саркастически возразилъ Эли.—У Него не мало дѣлъ и безъ вашихъ. Гдѣ они лежатъ?

— Вотъ тамъ,—отвѣтилъ Аписка.—Идите тихо, чтобы ихъ не разбудить.

Эли вышелъ и за нимъ пошла Маня.

— Пей же, Шлемка,—обратился Аписка къ ребенку, одѣтому въ одной рубашкѣ,—потомъ тебя одѣнуть. Ну пей, пей. Исакъ, убери со стола. Смотри-ка, что тутъ дѣлается. Выкрути цемпого лампу.

— Раньше я Соньку одѣну,—отвѣтилъ мальчикъ.—Еще Шлемку нужно одѣть, еще много дѣлъ есть,—озабоченно прибавилъ онъ.—А потомъ я за Басей пойду.

— Иди уже на кровать, Шлемка. Исакъ, перепеси Соньку. Что вы скажете, Эли?

— Не знаю,—отвѣчалъ Эли, усаживаясь.—Вымажьте ихъ уксусомъ и накройте периной. Они будутъ потѣть и, можетъ быть, поправятся. А лучше позовите доктора.

— Мнѣ не нужно доктора,—возразила Маня,—они только убиваютъ дѣтей. У меня есть одна такая, Бася, вы не знаете Басю хромую, такъ она лучше, чѣмъ сто докторовъ, знаетъ.

— Пейте чай,—перебилъ Аписка,—онъ уже скоро холодный будетъ. Что ты стоишь, Исакъ? Одѣнь дѣтей.

— Я, кажется, пришелъ съ хорошей вѣстью,—на-

чать Эли, не притрогиваясь къ стакану,—п боюсь, что сдѣлаю вамъ хорошее дѣло.

— Ну, правда?—загорѣлась Маня.

— Не спѣшите, вы всегда любите мѣшать. Хорошее дѣло, вы вѣдь знаете, теперь такъ же легко найти, какъ свѣжую, но свѣжую грушу. Однако, случается. Человѣкъ вѣдь долженъ когда-нибудь умереть, и онъ умеръ. Хорошая исторія. Но сказать вамъ, что это меня очень сильно тронуло—не хочу солгать. Умереть вѣдь нужно и, наконецъ, кому нужна эта славная жизнь. Объ этомъ нечего говорить.

Онъ полѣзъ куда-то очень далеко къ лопаткѣ и старался попасть въ мѣсто, которое его рука не могла достать.

— Нечего говорить и о вдовѣ,—возился онъ за спиной,— которую я даже не хочу назвать несчастной. Что же, развѣ она думала, что мужъ ея будетъ вѣчно жить? Вѣдь онъ долженъ былъ умереть, что бы она себя не думала. Теперь, что касается ея дѣтей, они имѣютъ большого Бога. Положимъ, Богъ—глуховатъ, но кто думаетъ, что Онъ не глухой, пусть молится Ему. А дѣти такія вѣрующія и будутъ такъ крѣпко молиться, что, можетъ быть, Богъ ихъ услышитъ. Такъ со всѣхъ сторонъ выходитъ, что это дѣло для васъ, а не для нихъ. Если кто-нибудь имѣлъ лавку 10 лѣтъ, то это черезъ голову довольно.

— Что же это за лавка?—робко спросила Маня, забывъ уже о больныхъ дѣтяхъ.

— Что это за лавка?—переспросилъ онъ, наконецъ, добравшись до мѣста, гдѣ у него чесалось,—это лавка и больше ничего. Развѣ можетъ быть лавка, чтобы она не была лавкой? Это лавка. Но если вы хотите знать, Аниска, чѣмъ тамъ торгуютъ, то я могу вамъ сейчасъ же рассказать. Это башмачная лавка.

— Хорошее дѣло,—задыхаясь поддержала Маня.— Башмаки. Развѣ можно жить безъ башмаковъ? Вотъ

теперь, Эли, я только подумала, что никто не ходитъ безъ башмаковъ. Смотри-ка, Аниска, есть столько людей на свѣтѣ и хоть бы одинъ ходилъ босой. Послѣдній нищій вѣдь нуждается въ башмакахъ. Это какъ хлѣбъ. Ты видѣлъ, чтобъ кто-нибудь жилъ безъ хлѣба? Эли, что то, что вы бѣдны,—это отъ Бога, но у васъ голова. Что это сердце у меня такъ начало сильно биться. Вы не знаете, Эли, почему я теряю дыханіе?

— Вы хотѣли развѣ всегда имѣть дыханіе?—возразить Эли.—Вы хорошо спросили. Развѣ всегда можетъ что-нибудь быть? Конечъ вѣдь долженъ откуда-нибудь взяться. Вы имѣете дѣло съ дыханіемъ, а я съ лишаемъ. Развѣ я жалуясь? Я вѣдь долженъ отчего-нибудь кончиться, пусть будетъ лишай. Могла быть голова, дыханье, нога, ну, а есть лишай. Вотъ теперь онъ уже большой, какъ эта половина стола. Такъ я о немъ думаю? Пусть идетъ себѣ своимъ ходомъ. Вѣдь я не могу быть всегда здоровымъ, а конечъ, все равно, долженъ придти.

— Я бы, навѣрно, взялъ эту лавку, — вмѣшался Аниска,—пусть будетъ тихо, Сонька,—но скажите, Эли, дѣло ли это для меня? Подумайте, Эли, что я сдѣлаю, если потеряю мои деньги. А, Эли?—Шлемка, молчи Шлемка, я не могу говорить изъ-за тебя. Собака, гдѣ собака, укуси его.—Развѣ я знаю, Эли, что такое башмакъ? Вѣдь это для меня новая наука. — Маня, посмотри къ дѣтямъ, кажется, Шаечка плачетъ. — Маня на все готова, а Эли? Закрой ей ротъ, Исакъ, а то я ее задушу. Ты замолчишь, Сонька?

— Аниска,—отвѣтилъ Эли,— что черезчуръ, то лишнее. Можно развѣ все взвѣсить или предвидѣть? Нужно быть осторожнымъ, и я не велю вамъ бросаться съ закрытыми глазами. Мы пойдемъ, осмотримъ, узнаемъ у сосѣдей, какъ покойный торговалъ, еще разъ осмотримъ, двадцать разъ осмотримъ. Но конечъ, Аниска, долженъ же быть. Не сегодня, такъ завтра, а дѣла вы

вѣдь хотите? Большого счастья я не предвижу, но, можетъ быть, хлѣбъ вы будете имѣть. Можетъ быть, и не будете имѣть... Но я думаю, что это не плохое дѣло...

Его прервалъ крикъ Мани, вбѣжавшей въ комнату.

— Абрамчикъ кончается! — кричала она, ломая руки, — скорѣй, скорѣй...

— Что ты говоришь? — вскочилъ Аниска. — Бѣги же куда-нибудь, — нѣтъ, я побѣгу! Эли, что дѣлать? Исакъ, одѣнь Шлемку. Молчи, Сопька, молчи. Поидемъ, Эли... нѣтъ, ты, Маня...

Онъ побѣжалъ въ сосѣднюю комнату, а за нимъ съ плачемъ Маня. Эли на минуту бросился къ дѣтямъ, ревѣвшимъ во всю мочь отъ страха.

— Тише, дѣточки, тише, — умолялъ онъ ихъ, — вы хорошія, хорошія дѣти. Вотъ я вамъ коробочки принесу; много, много коробочекъ. Исакъ, посмотри за ними!

И онъ побѣжалъ въ комнату, гдѣ лежали больные. Аниска, стоя подлѣ кровати, съ тоской глядѣлъ на Абрамчика, который уже посинѣлъ. Шайка присѣлъ и что-то безсвязно бормоталъ, глядя на землю.

— Ахъ, Эли, Эли! — вырвалось у Аниски, — ну что, что вы скажете? Гдѣ ваша помощь? Евреи, друзья, помогите! Ахъ, каждый годъ, почти каждый годъ одно и то же. Больные, больные и бѣдные. Ахъ, Эли, Эли...

— Не кричи, не кричи, Аниска! — шикнула Маня. — Посмотри-ка на него. Абрамчикъ, Абрамчикъ! Аниска, у меня сердце лопнеть. Абрамчикъ, ты не узнаешь меня? Это вѣдь я, я. Шаечка, дорогія, дорогія дѣти мои. Богъ мой, добрый, дорогой Богъ...

— Ну, плачьте, плачьте, — тихо шепталъ Эли, — вы должны плакать, по что тутъ Богъ? Аниска, Маня, развѣ не лучше умереть теперь, пока онъ не выпилъ все горе, что даетъ жизнь. Жить въ нищетѣ, безъ помощи, какъ живете вы, жить въ горѣ, въ мукахъ, какъ живутъ всѣ большія тысячи евреевъ, ахъ, Аниска,

Маня, лучше смерть теперь, чѣмъ вырости. Плачьте, плачьте, несчастные люди, эти слезы—ваши слезы и ихъ никто у васъ отнять не можетъ. Плачьте глазами и только половиной сердца и пусть другая радуется, что будетъ меньше однимъ евреемъ на свѣтѣ, меньше одной клячей, которая, надорвавшись, умереть гдѣ-нибудь, наплодивъ еще клячъ, которыхъ ожидаетъ та же судьба. Плачьте, и я съ вами буду плакать вмѣстѣ и молить этого глухого Бога, чтобы Онъ, наконецъ, помогъ вамъ и этимъ большимъ измученнымъ тысячамъ и каждому еврею, гдѣ бы онъ ни жилъ на землѣ!

Малютка тяжело хрипѣлъ. Казалось, что своими вздрагивающими руками онъ боролся съ какой-то злой силой, крѣпко насѣвшей на его горло. А Шайка все смотрѣлъ на землю и бормоталъ что-то о холодѣ, Абрамчикъ, о Сопокъ и раскачивался тѣломъ, какъ молящійся старикъ.

Аниска плакала на груди у Эли, а Маня, припавъ на колѣни у постели, задыхаясь, всхлипывала.

— Сыпочекъ мой, Абрамчикъ, одинъ разъ посмотри на меня, одинъ только разъ, ахъ, пусть бы я была на твоёмъ мѣстѣ...

— Эли, Эли,—шептала Аниска.—Эли, вы еще не заглянули глубоко въ мое несчастье. Эли, и она больна, и долго ли она еще прохвораетъ? Эли, бѣдные, бѣдные, больные и никого на свѣтѣ...

— Уже!—вскрикнула вдругъ Маня.—Умеръ, Аниска, Эли, ахъ, мое сердце...

И она какъ-то сразу опустилась на полъ, словно подрѣзанная. Аниска, не подозрѣвая еще правды, бросилась къ ней и, повернувъ лицо къ Эли, началъ опять говорить ему что-то о бѣдныхъ, больныхъ людяхъ, у которыхъ никого, никого на свѣтѣ. Были тутъ уже и всѣ дѣти и они плакали, окруживъ мать, и тербя ее нетерпѣливо ручонками; прибѣжала и Бася хромая, приведенная Исакомъ, явились и сосѣди, и всѣ эти



разговоры, слезы, плачь слились въ одинъ общій стонъ.

А на дворъ было темно, сыро и скверно, и мелкій дождь отчетливо, словно чьи-то шаги, стучалъ по крышамъ. Или, можетъ быть, это были шаги спѣшившихъ на помощь друзей?

## ИТА ГАЙНЕ.

(1901).

Роза Бильтротъ, или просто Роза, была факторшей, и въ ея большой и пустынной, какъ сараи, комнатѣ, исполнявшей роль справочной конторы, съ утра до ночи толкалось много женскаго народа. Но мадамъ Бильтротъ рѣдко можно было застать дома. Она имѣла огромное знакомство во всѣхъ концахъ города и за день едва успѣвала побывать во всѣхъ мѣстахъ, тѣмъ болѣе, что никогда не ѣздила, а для скорого передвиженія была уже не молода. Она была вдовой. Похоронивъ мужа лѣтъ тридцать тому назадъ, она, подобно большинству еврейскихъ женщинъ, не пожелала выйти вторично замужъ, хотя охотниковъ на нее было не мало.

Вся же ея работа и хлопоты предназначались для единственной дочери, бывшей замужемъ за чахоточнымъ столяромъ, и заработки цѣликомъ уходили на лѣчение, на докторовъ и поддержаніе его здоровья. Факторшей она сдѣлалась лѣтъ десять тому назадъ, унаслѣдовавъ это занятіе отъ старшей сестры, умершей неожиданно для всѣхъ, внезапно, хотя по внѣшности должна была прожить не менѣе сотни лѣтъ.

Бильтротъ, познавшая послѣ смерти мужа рядъ тяжелыхъ, голодныхъ годовъ, быстро утѣшилась въ смерти сестры и съ жаромъ принялась за дѣло. Сначала

оно не пошло, но она не упала духомъ и такъ долго была въ одну точку, пока не поставила дѣло на ноги. Понемногу она втянулась въ работу, значительно расширила кругъ знакомствъ и въ послѣдніе годы уже такъ прочно стояла, что была незамѣнима въ самыхъ лучшихъ домахъ, и съ ней охотнѣе предпочитали входить въ сношенія, чѣмъ со многими справочными конторами. Въ самое горячее время, когда требованіе на кормилицъ случалось огромное, Роза никогда не бывала въ затрудненіи, и въ то время, когда во всѣхъ родильныхъ пріютахъ и конторахъ медлили и затягивали присылку женщинъ, она поставляла ихъ такъ же свободно и легко, какъ обыкновенно. Весною она бывала особенно незамѣнима поставкой женской прислуги, такъ какъ, чѣмъ ближе шло къ лѣту, дѣвушки и женщины раздѣзжались массами, накопивъ денегъ за зимнюю работу. Словомъ, Роза зарекомендовала себя большимъ талантомъ, считалась знаменитостью во многихъ кругахъ общества и пользовалась большимъ уваженіемъ въ средѣ наемницъ.

Какъ было сказано, всѣ заработки ея уходили въ бездонное мѣсто, и, будучи сама не жадной и равнодушной къ удобствамъ существованія, она жила страшной, запущенной жизнью. Она занимала огромную, годную подъ танцклассъ, комнату, въ которой стояла большая русская печь, впрочемъ, никогда не топившаяся, широкая деревянная кровать, едва прикрытая короткимъ, грязнымъ одѣяломъ, столъ и нѣсколько длинныхъ скамеекъ, поставленныхъ, главнымъ образомъ, для ожидавшихъ женщинъ. Но такъ какъ женщинъ всегда было много, то часть изъ нихъ стояла у стѣны, другія съ грудными дѣтьми на рукахъ сидѣли просто на полу, и этотъ безпорядокъ и тѣснота не только не мѣшали Розѣ, но были ей пріятны. Даже адскій шумъ въ этой комнатѣ, изъ-за котораго почти невозможно было понять другъ друга, былъ ей милъ, и она

бенно прекрасно себя чувствовала, когда ей приходилось надрываться, чтобы быть услышанной. Уходила она съ ранняго утра, но каждые два часа регулярно возвращалась на нѣсколько минутъ, чтобы захватить съ собою новую партію женщинъ, съ которыми опять отправлялась, оживленно разговаривая и объясняя то по-русски, то по-еврейски, по-малороссійски и даже по-польски, какъ вести и держать себя съ нанимателями. По отбытіи партіи ряды наемницъ смыкались, женщины перемѣнялись мѣстами, и гулъ отъ разговоровъ и криковъ дѣтей перемѣщался отъ одной группы къ другой. На смѣну ушедшимъ появлялись новыя, и шумъ не прекращался ни на минуту. Говорили здѣсь громко, заглушая, но понимая другъ друга, и не взирая на плачь грудныхъ дѣтей, ссорились и мирились, утоляли на ходу голодъ бубликами или хлѣбомъ, жажду—прямо изъ крана, находившагося тутъ же подъ рукой, вновь суетились, ругались, спорили, полоскали дѣтское бѣлье, заматали комнату, и каждая вела себя такъ, какъ будто она была единственной хозяйкой квартиры, а всѣ остальные—пріятные или непріятные гости. Въ такой суетѣ день проходилъ незамѣтно и быстро, дѣло дѣлалось своимъ порядкомъ, сколько его положено было для дня, и слѣдующій день уже неприносилъ ничего новаго. Городская волна мѣрно продолжала то поглощать, то выбрасывать определенное количество наемницъ, и та часть, что вчера работала въ западной части города, завтра была уже въ сѣверной, и такъ колесо это безостановочно крутилось изо дня въ день со своими спицами то вверху, то внизу, принося относительно равную степень удовлетворенія и недовольства и тѣмъ, которые требовали, и тѣмъ, которые предлагали.

Народу у Розы было еще немного. Возлѣ топившейся печурки сидѣло нѣсколько женщинъ и занимались важнымъ дѣломъ. Испекши въ горячей золѣ картофель,

онѣ теперь вынимали его, дули изо всѣхъ силъ на обожженные пальцы, ломали картофель и осторожно ѣли. Въ комнатѣ былъ удушливо-сухой воздухъ, испорченный угаромъ, шедшимъ отъ раскалившагося чугуна. Съ правой стороны у стѣны на полу лежали грудныя дѣти и сладко спали. Сама Билътротъ сидѣла на своей обширной, какъ вагонъ, кровати и пила чай. При входѣ Гайне, всѣ въ комнатѣ оглянулись на нее, чтобы встрѣтить восклицаніемъ, но такъ какъ она оказалась никому не знакомой, то, переставъ ѣсть и разговаривать, смотрѣли на нее съ любопытствомъ. Роза немедленно позаботилась о порядкѣ.

— Не стой же на порогѣ и закрой дверь. Теперь, слава Богу, не лѣто.

— Это вы факторша?—спросила Гайне, исполнивъ безпрекословно приказаніе.

— Я факторша,—что ты хотѣла?

Итѣ вдругъ захотѣлось заплакать, такъ ей сдѣлалось завидно теплотѣ и тому, что женщины ѣли горячіи картофель. Давно уже она у себя не видѣла такого довольства.

— Что же тебѣ пужно отъ меня?—повторила Роза, подозрѣвая въ Итѣ одну изъ нищенокъ, знавшихъ къ ней отлично дорогу.

Что ей нужно? Когда приходишь съ ребенкомъ въ такую погоду къ факторшѣ, то, конечно, не для того, чтобы сказать: здравствуйте. Не Богъ вѣсть какая загадка, что ей нужно.

Ребенокъ подѣ шалью и тряпками началъ кричать и прервалъ ея отвѣтъ. Онъ кричалъ по своему обыкновенію пенство, совсѣмъ не подозрѣвая, гдѣ онъ и что съ нимъ, и, ища съ закрытыми глазами грудь, нетерпѣливо и капризно дергалъ ручонками и ножками. Но такъ какъ при входѣ Ита отняла его отъ груди, то, не находя ее такъ скоро, какъ бы хотѣлъ, онъ немедленно послѣ крика поднялъ такой визгъ,

что у матери отъ стыда выступили слезы на глазахъ. Роза же недвусмысленно задвигалась на своемъ мѣстѣ.

— Онъ у меня разбаловался,—съ виноватой улыбкой оправдывала мальчика Ита.—Прежде,—здѣсь она запнулась,—мужъ мой работалъ на спичечной фабрикѣ, а я смотрѣла за хозяйствомъ. Потомъ хозяинъ фабрики обанкротился, и мужъ остался безъ работы, я же послѣ родовъ два мѣсяца болѣла и не вставала, и мы разбаловали ребенка, то-есть я разбаловала. Первыхъ дѣтей вѣдь любишь, какъ жизнь, — опять извинилась она.—Вотъ я его сейчасъ успокою.

Она ловкимъ движеніемъ растегнулась и приложила лицо мальчика къ своей груди. Мальчикъ немедленно, какъ по волшебству, успокоился, а Ита просто прибавила:

— Вотъ, видите. Это всегда такъ у меня съ нимъ. Онъ бы, кажется, спалъ въ молоко, такъ оно ему пріятно.—Она добродушно улыбнулась, погладила ручку ребенка, лежавшую на груди, развязала шаль и поискала глазами мѣсто, чтобы присѣсть. Розѣ сразу понравилось чрезвычайно симпатичное лицо и спокойная дѣловитость этой молоденькой еще женщины. Она усадила ее подлѣ себя и мелькомъ осмотрѣла ребенка.

— Онъ у тебя первый?—спросила она.—Какъ тебя зовутъ?

— Ита.

— Ита? Хорошо. Совсѣмъ не звучитъ по-еврейски. Теперь не въ модѣ еврейскія имена, и изъ-за этого могутъ и не принять. Даже себя — а на что я ужъ стара и не нуждаюсь,—я прозвала Розой, хотя зовутъ меня Рейзи. Нашимъ дамамъ не правятся еврейскія имена. Оставимъ это. Ты хочешь въ городѣ наняться или можешь поѣхать, если случится?

— Я лучше бы хотѣла здѣсь. У меня... мужъ.

— Ты вѣнчалась?

Ита покраснѣла и ничего не отвѣтила.

— М... м... — протянула Роза, — значить такъ, какъ Богъ не велѣлъ?

Ита наклонила голову и упрямо уставилась глазами въ уголъ, будто она тамъ увидѣла что-то очень интересное.

— Ты говоришь, что ребенокъ у тебя первый? Лучше, если бы былъ второй. Какъ у тебя молоко?

— У меня хорошее молоко. Посмотрите только на мальчика. Такое ужъ хорошее молоко у меня, я и не знаю почему. Сама вѣдь почти ничего не ѣмъ, а ребенокъ вотъ.

Она быстро освободила мальчика отъ тряпокъ, въ которыя тотъ былъ завернутъ, и Роза, взглянувъ на него, ахнула отъ восторга. Прижавшись къ груди, такъ что виднѣлся одинъ только розовенькій въ складочкахъ затылокъ, онъ извивался, какъ гутаперчевый, пока Роза съ восхищеніемъ ощупывала его животикъ и взвѣшивала на рукахъ пухлыя ручки и ножки. Онъ былъ весь розоватый, безъ малѣйшаго пятнышка на тѣлѣ, весь въ ямочкахъ, складочкахъ, тепленькій и гладенькій, какъ маленькій котеночекъ. Роза не могла оторваться отъ него и щипала, и гладила мальчика своей морщинистой рукой, приговаривая со смѣхомъ:

— Гдѣ ты его взяла такого?.. Навѣрно, ты его украла у богатыхъ людей. Признавайся ка.

Ита отъ радости начала смѣяться, и лицо ея опять сдѣлалось добродушнымъ.

— Я вѣдь говорю вамъ, что молоко у меня такое. Такое ужъ молоко, и ничего съ этимъ не подѣлаешь. А сколько его у меня, что я бы, кажется, взрослога накормила, если бы хоть немного паѣлась.

Она быстро завернула ребенка, но такъ внимательно и осторожно, что мальчикъ даже не пошевелился.

— Ну, хорошо, — произнесла, наконецъ, Роза, послѣ нѣкотораго раздумья, — я тебя уже пристрою. Ты сиди здѣсь, а я пойду. Много миѣ выходить нужно сегодѣнь.

Въ комнатѣ говорили громко, но не очень шумѣли, воздерживаясь все-таки при Розѣ, которой отчасти побаивались. Наемницы понемногу прибывали. Женщины, дѣвушки, подростки сидѣли и стояли группами. Нѣкоторыя еще завтракали. Какая-то горбатенькая старушка, долго уже поджидавшая мѣста няни, прилежно и съ изумительной ловкостью подметала комнату, врѣзываясь, какъ волчокъ, въ каждое свободное отъ ногъ мѣстечко. Три старыя женщины, очень полныя, съ лоснящимися потными лицами, съ искривленными и какъ бы разбухшими отъ ревматизма пальцами, не отходили отъ печурки и хотя уже разстегнули кофты, все сидѣли и грѣлись, упиваясь теплотой. Два подростка, дѣвушки лѣтъ по 14, въ грязныхъ юбкахъ, которыя онѣ, сидя на подоконникѣ, почему-то постоянно приподнимали, давая видѣть худыя и тоже грязныя ноги, подмигивали другъ дружкѣ на старухъ и громко смѣялись, выбрасывая внаглывый, короткій хохотъ такъ, точно въ ихъ горлѣ помимо собственной воли что-то взрывалось. У нихъ были наглыя, циничныя лица, и все въ нихъ говорило, что суровая школа жизни не прошла для каждой даромъ. Въ самомъ дальнемъ углу толстая старуха съ непомѣрно длиннымъ и толстымъ горломъ и богобоязненнымъ лицомъ громко рассказывала сосѣдкѣ своей о новомъ чудесномъ лѣкарствѣ, которымъ она теперь только и спасала себя отъ удущья.

— Мрамеромъ, мать моя, и спасаюсь. Натолку его немножко, выпью, и какъ рукой сниметъ. Съ мрамерщикомъ, что монументы дѣлаетъ, познакомилась, и у него достаю я камень-то. Я безъ мрамера теперь и въ комнатѣ не переночую.

— Каменное лѣчение! — колыхалась сосѣдка отъ изумленія. — Ахъ ты, Боже мой, дѣла какія бываютъ. Мрамеромъ? Въ самдѣлѣ мрамеромъ?

Ита понемногу осваивалась. Съ ней заговорила еврей-



ка и переманила ее къ себѣ. Ребенокъ тихо спалъ, и по-тяжелѣлъ для рукъ. Роза уже кончила приготовленія къ выходу и, отобравъ нѣсколько женщинъ, ушла съ ними. Сразу сдѣлалось значительно шумнѣе. Стекла въ дверяхъ и окнахъ оттаяли, наконецъ, и казались нарочно забрызганными мутной жидкостью, а видѣвшійся снѣгъ вырисовывался темнымъ и грязноватымъ. Мелькали неправильныя фигуры людей, ходившихъ по двору.

Ита уже сидѣла возлѣ новой сосѣдки, обязательно осмотрѣвшей ея ребенка.

— Вы тоже ищете мѣста?—спросила у нея Ита, переложивъ мальчика на другую руку.

Сосѣдка оказалась дѣвушкой, искавшей мѣста служанки.

— Да, давно уже,—отвѣтила та и прибавила чрезвычайно просто:—у меня недостатокъ, и это мѣшаетъ.

Гайне только теперь обратила вниманіе на то, что у дѣвушки время отъ времени вырывался легкій крикъ, точно отъ испуга, и что она старалась заглушить его, закрывая ротъ рукой.

— Откуда это у васъ?—съ участіемъ спросила Ита, по невольному отодвигаясь.

— Вы не бойтесь,—сказала та, замѣтивъ движеніе Иты,—у меня не черная болѣзнь.

— Я и не боюсь,—улыбнулась Гайне, придвинувшись.

— Другимъ это непріятно, но что же дѣлать? Это вѣдь не отъ рожденія, а отъ испуга. Я служила въ гостиницѣ нумеранткой, и мнѣ было недурно. Но случился одинъ пріѣзжіи... И когда я какъ-то утромъ убирала его комнату, онъ бросился на меня, а я такъ испугалась, что не могла крикнуть... Потомъ это сдѣлалось у меня. Теперь уже какъ будто меньше. Доктора говорили, что это пройдетъ, и я отдала имъ по-

немногу всѣ деньги, что имѣла,—но еще не прошло. У нихъ вѣдь все проходитъ.

Она подавленно пискнула два, три раза, но вдругъ не выдержала и рѣзко вскрикнула.

— Вотъ видите,—произнесла она, успокоившись,— развѣ меня возможно держать въ домѣ?

Ита сочувственно посмотрѣла на нее и спросила:

— Вы такъ и оставили дѣло?

— Что же я могла сдѣлать? Я вѣдь душой была. Пріѣзжій уѣхалъ, а я забеременѣла.

— Забеременѣли? — переспросила Ита. — Ахъ, вы бѣдная!

— Конечно, забеременѣла, хотя все сдѣлала, чтобы сбросить. Но не помогало. Нарочно поднимала шкафы, прыгала съ лѣстницъ, била кулаками животъ, но ребенокъ крѣпко держался. Здоровая я очень была. Въ шестомъ мѣсяцѣ я должна была бросить мѣсто, и до родовъ очень мучилась. Никто меня не хотѣлъ держать, а деньги, что были, ушли на лѣченіе. Родила же я ночью въ отхожемъ мѣстѣ. Я шла по улицѣ, не зная гдѣ переночевать. У какихъ-то воротъ почувствовала боли. Крадучись я забралась въ отхожее мѣсто и два часа мучилась. Кричать вѣдь нельзя было.

Она рассказывала спокойно эти ужасы, точно она говорила о самыхъ обыкновенныхъ вещахъ. Потомъ она задумчиво прибавила:

— Вѣроятно, ребенка подобрали еще живымъ, такъ какъ это случилось лѣтомъ. Но лучше бы онъ умеръ.

Ита съ возраставшимъ страхомъ слушала ее. Жестокость большого города какъ бы вплотную придвигалась къ ней и показывалась тѣми грозными сторонами своими, о которыхъ она, выросшая въ маленькомъ городишкѣ, и не подозрѣвала.

— Гдѣ же вы теперь живете?—тихо спросила она, чувствуя все больше и больше симпатіи къ дѣвушкѣ.

— Гдѣ придется. Вѣдь я всѣхъ безпокою. Вотъ,

Богъ дастъ, выздоровѣю, и тогда все поправится. А не выздоровѣю, то уже знаю, что сдѣлаю.

Она произнесла это такимъ мрачнымъ голосомъ, что Ита вздрогнула.

— Что вы сдѣлаете?—шопотомъ спросила она.

— Проституткой стану,—попрежнему просто отвѣтила дѣвушка.—Старыя женщины говорили мнѣ, что это навѣрное излѣчитъ. Славное лѣкарство, правда? Вы думаете, что я вѣрю. Вотъ настолько не вѣрю, и хотя знаю, какія женщины мнѣ совѣтовали, но хочу вѣрить. Нужно же мнѣ вѣрить, Боже мой.—Она внимательно посмотрѣла Итѣ въ глаза.—Хоть забудусь отъ горя,—я вѣдь даромъ пропала.

Въ разныхъ углахъ слышались крики и плачъ просыпавшихся дѣтей. Кормилицы съ трудомъ отрывались отъ разговоровъ и ворчливо вставали. Какая-то худая еврейка, со скверными глазами и сиплымъ голосомъ, уже была малютку, испачкавшаго пеленки. Она была съ наслажденіемъ и точно отчеканивала удары; изъ того же мѣста возвращались тончайшіе и колющіе, какъ иглы, крики.

Дѣвушка равнодушно слушала и вдругъ шепнула Итѣ:

— Въ моемъ городѣ меня женихъ ждетъ. И онъ ничего не знаетъ. Что говорите? А я изъ желѣза, теперь изъ желѣза. Еще въ прошломъ году онъ отъ солдатчины освободился и ждетъ меня. Нарочно въ городъ поѣхала, денегъ накопить, чтобы ему помочь. Понимаете, непременно проституткой сдѣлаюсь. Все равно теперь.

Ита дрожала отъ страха. Такой глубины паденія она еще не знала. Было и у нея много сквернаго и ужаснаго, но до такого отчаянія она еще не доходила. Сколько силъ хватало, она боролась, подлаживаясь и урѣзываясь до послѣдней степени: она вѣчно охраняла себя отъ послѣдней пропасти, откуда не могло бы

возврата. Но безыскусственность и простота дѣвушки, отчего даже отталкивающее выходило какъ бы освобожденнымъ отъ грязи, поражало и плѣняло ее. Въ ея довѣрчивости она находила откликъ и своей душѣ, желавшей и жаждавшей дружбы. Какъ давить жизнь! Вотъ и она дожидая до того, что согласилась наняться въ кормилицы. Зачѣмъ она здѣсь? Тутъ вѣдь не скотъ продаютъ, не людей, а матерей. И ее продадутъ и оторвутъ отъ ребенка, котораго она должна будетъ бросить въ чужія руки. Какъ жизнь ужасна! Она боялась размышлять больше, чтобы не появилось желаніе убѣжать отсюда: дома было вѣдь еще хуже. Дѣвушка теперь молчала и каждый разъ боролась съ приступомъ.

— Какъ я васъ жалѣю, — шептала Ита, — какъ жалѣю...

Кормилицы уже кормили дѣтей. Онѣ собрались рядышкомъ на самой большой скамьѣ подлѣ стѣны, и лица ихъ были серьезны, какъ будто эти женщины были ученицами и ждали прихода учителя. Всѣ дѣти, точно условившись, лежали на лѣвой сторонѣ и квакали и свистѣли отъ наслажденія. Съ закрытыми глазами, въ рядъ, съ раскраснѣвшими носами, они играли грудью, то отворачивались вдругъ отъ нея, сладко улыбаясь и потягиваясь, то опять набрасывались, производя отъ жадности звуки крѣпкихъ поцѣлуевъ. Матери, положивъ на нихъ грубыя, некрасивыя отъ работы руки, не обращали вниманія на шалости и чинно вели свои бесѣды. Потомъ всѣ, какъ бы испытавъ одно и то же чувство усталости и отвращенія, привычнымъ движеніемъ перебросили дѣтей на правую сторону, ни на минутку не прекращая своей бесѣды. Ита съ умиленьемъ смотрѣла на эту картину. Женское чувство потянуло ее къ нимъ, и, повинаясь ему, она встала и пошла къ группѣ матерей.

По дорожѣ ее остановилъ звонкій, развязный голосъ, шедшій отъ дверей. Кучка женщинъ столпилась у про-

тивоположной стѣны и слушала. Въ серединѣ стояла дѣвушка и говорила такъ, какъ будто во рту у нея былъ колокольчикъ и она имъ позванивала. Одѣта она была недурно и производила странное впечатлѣніе среди перяшливыхъ и бѣдныхъ женщинъ, которыя какъ бы еще болѣе опустились и потускнѣли рядомъ съ ней. Ита заинтересовалась и подошла послушать.

— У матери моей домъ,—ну, знаете, домъ такой, публичный,—разсказывалъ развязный голосъ, и дѣвушка не смущалась отъ десятка любопытныхъ, пожирившихъ ее и ея слова,—а отецъ, то-есть отчимъ, при матери. Двѣ сестры есть, да два брата. Сестры давно уже сбились и идутъ съ гостями. Тутъ, правда, отчимъ виновать, такъ какъ онъ первый ихъ развратилъ, когда имъ еще по тринадцати лѣтъ не было, но и такъ бы пропали. Мать тоже не могла уберечь, хотя и жалко ей было и ревновала. Отчимъ на двадцать лѣтъ ея моложе, и очень красивъ. Самъ онъ шулеръ страшный, но всегда проигрывается, а когда проиграется, то матери моей здорово достается. Братъ,—она пожала плечами и зазвенѣла,—братъ—одинъ живетъ на деньги дѣвушки нашей одной, а другой воръ и сидитъ въ острогѣ. Но когда былъ на свободѣ, то вѣчно дрался съ отчимомъ, и такая каторга у насъ шла, что чуть мы всѣ не перерѣзались. Старшій братъ никогда не мѣшался. Тотъ другой совсѣмъ.

— А ты-то сама какъ?—продолжала спрашивать одна изъ слушательницъ.

— Я?—переспросила она.—Ну, отчиму-то не далась, хотя онъ и обхаживалъ меня и чуть что на рукахъ не носилъ.

— Хорошо, дѣвка,—вырвалось у одной немолодой женщины,—и я бы не далась.

— Но на четырнадцатомъ году,—продолжала дѣвушка,—сама побѣжала къ цирюльнику, что жилъ супротивъ насъ, и стала потомъ часто ходить къ нему.

Здорово игралъ онъ на гитарѣ, и я не выдержала. Только бы онъ игралъ мнѣ тогда. Какъ бывало слышу его музыку, такъ я, какъ воскъ, дѣлаюсь. Душа моя таяла, а что такое было—и до сихъ поръ не понимаю.

— Не порола мать, когда узнала?—сурово спросила первая.

— Кто? мать? Меня? Попробовала бы. Меня всѣ боялись за мой характеръ. Младшій братъ какой звѣрь,—и то меня боялся. Я вѣдь его подколола разъ.

— За что такъ?

— За то. Нечего къ сестрѣ подбираться. Чужихъ дѣвушекъ не мало на свѣтѣ.

— Ахъ, ты, Боже мой,—вздыхнула одна,— вотъ такъ жизньъ.

— И не то еще бывало,—засмѣялась дѣвушка.

— Чего же ты сюда пришла?—допытывалась первая.

— А ты зачѣмъ? На мѣсто поступить хочешь? Я, можетъ, этого теперь еще больше твоего хочу. Отдохнуть хочу, потому что надоѣло мнѣ. Хочу въ честной жизни пожить. Никогда я не трудилась, посмотрю, какво челоуѣку въ трудѣ. Очепъ уже много дряни на мнѣ.

Ита съ тяжелымъ сердцемъ отошла, чувствуя себя не въ силахъ слушать больше. Настроение отъ того, что она слышала адѣсь, становилось мрачнѣе, и казалось ей, что кто-то стоитъ надъ людьми, хлещетъ ихъ кнутомъ, и некуда отъ этого кнута спрятаться.

Три толстыя старухи, подложивъ кофты подъ головы, уже спали около остывшей печурки и громко храпѣли. Подростки щебетали о чемъ-то и, обрывая ногтями штукатурку со стѣны, бросали ея въ старухъ, а тѣ сердито ворочались и обмахивались искривленными и разбухшими пальцами, не сознавая, что ихъ тревожить. Ита осторожно обошла старухъ и усѣлась возлѣ кормилицъ. Она была страшно угнетена, и ей уже не

хотѣлось ни разговаривать, ни слушать. Мальчикъ пошевелился, и она принялась кормить его.

Время между тѣмъ не стояло. Роза явилась, выбрала кучку женщинъ и ушла съ ними. Потомъ она явилась другой разъ, еще разъ выбрала и опять ушла, оживленная и разсѣянная. Оттого, что становилось меньше людей въ комнатѣ, сдѣлалось просторнѣе и холоднѣе. Теперь Ита, при каждомъ приходѣ Розы, бросала на нее вопрошающій взглядъ, но та знаками приказывала ей ожидать. Часамъ къ тремъ она почувствовала сильный голодъ и рѣшилась съѣсть свою четвертушку черстваго хлѣба. Но когда Маня, — такъ звали больную дѣвушку, съ которой она познакомилась утромъ, — краснорѣчиво посмотрѣла на нее, она съ радостью предложила ей подѣлиться. Обѣ онѣ сѣли подлѣ печурки, и Ита рѣшилась, наконецъ, по настоянію Мани, положить ребенка на полъ. Хлѣбъ былъ раздѣленъ пополамъ, и каждая начала не спѣша ѣсть. Постепенно онѣ опять разговорились, но на этотъ разъ шопотомъ. Въ это время вошло еще нѣсколько запоздавшихъ кормилицъ съ дѣтми на рукахъ, а вскорѣ начали приходиться тѣ, которыя по разнымъ причинамъ не успѣли пристроиться на предложенныхъ Розой мѣстахъ. Шумъ опять возобновился, и Итѣ, какъ лицу уже павѣстному, пришлось знакомиться съ новыми кормилицами.

Роза явилась въ четвертый разъ и приказала одной изъ старухъ растопить печурку. Сдѣлалось снова тепло. Дѣти проголодались и стали кричать. Вozлѣ крана шла стирка пеленокъ, и кормилицы, расплескивая воду и переругиваясь откровенными словами, спѣшили скорѣе окончить работу, чтобы пеленки успѣли высохнуть, пока печурка не остыла.

Ита, увлеченная новыми знакомыми, не замѣтила, какъ вошла какая-то старуха, и обернулась только тогда, когда та громко и рѣзко прокричала:

— Вотъ, и я здѣсь, дѣти, я здѣсь, я здѣсь.

Ита шопотомъ освѣдомилась у первой сосѣдки о новопришедшей.

— Это старуха Миндель,—отвѣтила та,—такой мы бы съ вами не выдумали. Можетъ быть, она полоумная. Я ее всегда боялась. Но подождите, она сейчасъ вамъ скажетъ, кто она такая.

Дѣйствительно, старуха, объявивъ, что она здѣсь, своимъ не то мужскимъ, не то женскимъ голосомъ стала возглашать:

— Кто хочетъ отдать своихъ дѣтей на выкормъ? Спѣшите, я здѣсь.

Подождавъ для формы отвѣта, она закончила такимъ страшнымъ голосомъ припѣвъ: „есть кто-нибудь?“ что всѣ невольно оглянулись на нее.

Ита вздрогнула и со страхомъ схватила своего мальчика, точно старуха хотѣла отобрать его у нея.

А Миндель все ходила по комнатѣ и зорко искала, пѣтъ ли новыхъ лицъ. Вся она была чудная какая-то съ головы до ногъ. Она носила мужскіе сапоги и держала приподнятой высоко отъ полу свою толстую красную юбку, будто въ комнатѣ лежала грязь по колено. Сверху она носила что-то, напоминавшее шубенку, обшитую какимъ-то грязнымъ мѣхомъ, почти вездѣ вылѣзшимъ. Голова ея, повязанная косынкой, была покрыта огромной сѣрой шалью, изъ-подъ которой выглядывало плутовское желтое лицо съ отвисшей кожей и пара красныхъ, съ оттопыренными вѣками глазъ, воспаленныхъ и слезящихся.

— Кто хочетъ отдать дѣтей своихъ? — вопрошала она возлѣ каждой группы и непремѣнно уже обращалась къ ближайшей женщинѣ: — вамъ не нужно? Я знаю такую женщину, что теленокъ пожелать бы отвѣдать у нея сосцовъ. Не нужно вамъ? Почему? Какъ это не нужно? Развѣ вы подкинете своего ребенка? Хотите я вамъ подкину его? За пять рублей сегодня же ѣ будетъ подброшенъ, гдѣ вы укажете. Нѣтъ. Можетъ



быть, вы хотите, чтобы не подбросить, но лишь бы вышло, будто подбросили? Я также могу. Я все могу. Въ одной деревнѣ у меня есть довольно женщинъ, которыя за 30 рублей совсѣмъ возьмутъ отъ васъ ребенка и могутъ сдѣлать, чтобы вы о немъ ничего больше не знали. Вы только скажите мнѣ. Я все могу, все, только за это нужно дать мнѣ денежки, денежки, денежки...

Она смѣясь переходила къ другимъ и опять повторяла то же, шутила, но незамѣтно ловко рекламировала себя, общая сдѣлать все, что нужно человѣку въ трудную минуту. Ита прислушивалась, и сердце ея тревожно билось, когда та случайно взглядывала на нее.

— Вы безъ нея не обойдетесь, — сказала другая соседка Итѣ, замѣтивъ ея волненіе, — мы всѣ безъ нея никуда не годимся, даже меньше, чѣмъ безъ Розы.

Старуха уже стояла подлѣ Иты и, спокойно отвернувшись, шаль, разсматривала спавшаго ребенка.

— Ого, — произнесла она, — какой хорошій мальчикъ; по тебѣ нельзя было догадаться. Хорошій мальчикъ, — повторила она, — но почему ты, дура, родила такого хорошаго? Похуже тебѣ нельзя было? Кормилицѣ грѣхъ родить хорошихъ дѣтей. Нужно родить уродовъ, калѣкъ, уродовъ.

Она грубо ущипнула ребенка, и тотъ закричалъ. Ита сердито отвела ея руку.

— Не сердись, красавица. Когда нужно отрѣзать палецъ, не смотря на ноготь. Тебѣ вѣдь нужно отрѣзать отъ себя мальчика. Это у тебя первый? Ага, оттого онъ и вкусенькій такой. Ты корми его поменьше. Вѣдь онъ можетъ изъ груди кровь высосать, не то что молоко. Никто у тебя не возьметъ шести рублей за такого разбойника. Пусть онъ поголодаетъ нѣсколько дней.

— Вы сумасшедшая, — разсердилась, наконецъ, Ита. — Заставить голодать своего ребенка! Что, что, а этого не будетъ.

— Ну, такъ заплатишь денежки,—разсмѣялась старуха,—денежки, денежки. Мы еще поговоримъ объ этомъ, я вѣдь здѣсь каждый день бываю.

Она пошла дальше, и та кормилица съ сильнымъ голосомъ, что безпощадно била утромъ своего ребенка, остановила старуху, отвела ее въ сторону и стала о чемъ-то шептаться съ ней. Ита сидѣла подъ впечатлѣніемъ словъ старухи и такъ задумалась, что не слышала криковъ мальчика, хотя онъ бился и метался на ея рукахъ.

Между тѣмъ день угасалъ, и нужно было уходить. Многія уже одѣвались, другія съ сожалѣніемъ поднимались со своихъ мѣстъ. Старухи у печурки сидѣли и охали, жалуясь на ломоты, и не спѣша перебирали тряпье, которыми закутывали поги до колѣнъ. Темнота густыми потоками вливалась черезъ стекла дверей и оконъ, и углы комнаты скрылись, какъ будто ихъ никогда не было. Ита заторопилась, и Маня бросилась ей помогать. Пришла Роза. Она была страшно утомлена и дрожала отъ холода. День ся кончился, и она съ наслажденіемъ мечтала объ отдыхѣ. Ита подошла къ ней узнать, не пашлось ли для нея чего-нибудь.

— Сегодня нѣтъ еще,—сказала она, приказавъ мимоходомъ одному изъ подростковъ растопить печурку,—да я тебя и не отдамъ такъ, куда-нибудь. У тебя такое молоко, что меньше 13—14 рублей тебѣ нельзя взять. Приходи завтра.

И она отпустила ее жестомъ, какъ повелительница. Ита была въ восторгѣ. Четырнадцать рублей, когда она не рассчитывала больше, чѣмъ на десять! Михель ее уже навѣрно будетъ доволенъ.

Она распростилась съ Розой съ очень хорошимъ чувствомъ и вышла вмѣстѣ съ Маней, которая за день привязалась къ ней, какъ собачка. За ними гурьбой вышли кормилицы, и всѣ онѣ остановились у воротъ, чтобы разспросить другъ у друга, куда кто идетъ. Ку-

харки, служанки и подростки, шедшія позади, сейчас же разошлись. Кормилицы же все стояли и торговались, кому съ кѣмъ пойти, и были похожи на стадо коровъ, лѣнливо собиравшихся домой. Потомъ онѣ потихоньку разбрелись, увязая въ снѣгу и болтая, чтобы незамѣтно было разстояніе, а дѣти, лежа у теплой груди, тихо засыпали отъ качки, переставъ, наконецъ, ѣсть.

Ита шла съ Маней, которую она изъ жалости пригласила ночевать, а рядомъ съ ними шлепалась та самая кормилица съ сильнымъ голосомъ, которая вечеромъ о чемъ-то шепталась со старухой Миндель.

— Теперь,—говорила она,—Цирель подниметь голову. Что такое дѣти? Кому они нужны? Богатымъ. А Цирель не богачка. У меня мужъ въ больницѣ лежитъ и у него парализованы ноги. Вы думаете, его вылѣчатъ? Еще бы. Отъ этой скверной болѣзни, что у него уже двадцать лѣтъ, вылѣчиться нельзя, и ноги его пропали. У меня было девять выкидышей, и слава Богу. А этотъ чортъ все-таки родился.

Ита хмуро молчала, а Маня, не имѣвшая припадковъ на улицѣ, сказала:

— Я бы его въ снѣгъ бросила и ушла отъ него.

— А Цирель бы не бросила?—возразила та.—Но я боюсь. Я городского хуже смерти боюсь и вотъ ношу его, проклиная и ношу. Я боюсь это сдѣлать. А вы подумайте еще, что мнѣ никто больше 8 рублей въ мѣсяцъ платить не будетъ. Я маленькая, немолодая, и слышите, какой у меня хриплый голосъ. Какой же хорошій домъ возьметъ меня? Примутъ меня; значитъ, такіе уже бѣдняки, что больше 8 рублей не дадутъ. Дай Богъ хоть восемь. Теперь посчитайте: должна я за ребенка хоть 4 рубля въ мѣсяцъ платить, а то и пять? Наши времена новыя времена, и дешево вы ничего не достанете. А Миндель ужъ все устроитъ. Она хотѣла 20 рублей съ меня, чтобы я о немъ ничего не знала больше, но я выработала за 15. Цирель умѣе ея.

Ита и Маня слушали, не прерывая, и ковыляли въ снѣгу. Ночь наступала, и повсюду зажглись огни, Морозъ крѣпчалъ. По утоптанной дорогѣ мчались сани, и лошади звенѣли бубенцами. Кому было весело отъ нихъ, кому грустно. Небо же было чисто и высоко, и ничего не хотѣло знать о томъ, что внизу. И отъ него все ниже спускалась ночь, чтобы на время не было видно и не слышно, и разобрать нельзя было, кому хорошо, кому скверно.

А лошади мчались, и бубенцы звенѣли.

Цѣлая недѣля прошла безъ результатовъ. Ита правильно посѣщала Розу, сидѣла у нея до вечера и возвращалась измученная и истомленная домой, гдѣ злой, какъ звѣрь, ее поджидаль сожигатель Михель. Требованій на нее было не мало, но всѣ какъ-то разстраивались, и это отзывалось на Гайне самымъ невыгоднымъ образомъ. Каждый лишній безрезультатный день подвергалъ ее все большей опасности быть искалѣченной или даже убитой Михелемъ, у котораго были совсѣмъ другіе, чѣмъ у Иты, виды на ея будущее. Теперь она совсѣмъ подружилась съ Маней и почти не разлучалась съ нею, счастливая, что нашла хоть одного человѣка, искренно расположеннаго къ ней. Въ своей крошечной комнатѣ она уступила ей уголь, и обѣ въ досужее вечернее время, когда Михель не устраивалъ скандала, заспживались до полуночи въ мечтательныхъ разговорахъ о лучшемъ будущемъ. Спавшій мальчикъ мирно лежалъ подъ родительской подушкой, маленькая лампочка посылала сквозь мутное стекло неяркій желтый свѣтъ, по стѣнамъ шуршали всегда торопливые тараканы, а бесѣда женщинъ, не спѣша, лилась непрерывной струей.

Утромъ, запасшись четвертушкой хлѣба, онѣ отправлялись къ Розѣ и спѣшили придти пораньше, словно

ихъ ожидала служба, обѣ—со смутной надеждой, что сегодняшній день принесетъ конецъ этой невыносимой жизни. На улицѣ ничто не привлекало ихъ вниманія, и когда онѣ иногда засматривались въ окна магазиновъ или на людей, сидѣвшихъ въ саняхъ, или на важно проходившихъ мимо нихъ дамъ и господъ, то все это казалось существующимъ не на самомъ дѣлѣ, а какъ необходимая обстановка улицы; единственно же реальнымъ и важнымъ были онѣ, ихъ интересы, Роза, конкурировавшія кормилицы и слуги. У Розы онѣ сидѣли рядышкомъ и съ досаднымъ чувствомъ наблюдали, какъ на ихъ глазахъ происходила смѣна женщинъ. Каждый день алчная рука города выхватывала кучу певольницъ, нужныхъ ему, выбрасывала назадъ маленькія арміи ихъ, почему-либо не понравившихся. Наблюдая за этими смѣнами, можно было слѣдить за настроеніемъ города, которое было такъ же капризно, какъ давленіе атмосферы на ртуть барометра. Сегодня выбрасывались неспособныя, худыя, злыя, и проглатывались здоровыя, толковыя, податливыя, а завтра здоровыя и податливыя уже не годились, и какъ будто требовались капризныя, злыя, больныя. На главахъ смѣнялись лица кормилицъ и характеры ихъ, смѣнялись, какъ волной смытыя, старухи, пяпи, подростки, но комната вѣчно была переполнена, и вѣчно въ ней раздавался голосъ живой жизни со всѣми ея оттенками: жажданіемъ и алканіемъ, порокомъ, завистью, горемъ, сплетней. Сюда приносились всѣ сенсационныя происшествія города, выставшія въ чудовищныя легенды, и чѣмъ пикантнѣе и циничнѣе выходила исторія, тѣмъ больше она имѣла успѣха. Убіиства и грабежи, разводъ и побой, развратъ въ самыхъ развѣтвленныхъ и утопченнныхъ формахъ и мечтательныя, сантиментальныя любовныя случаи были здѣсь въ полномъ почетѣ, и женщины отравлялись ими съ такой же жадностью, какъ въ другихъ кругахъ отравляются азартной игрой,

опиумомъ или морфіемъ. Сюда приносились подробнѣйшія данныя о положеніи и состояніи наемнителей, о ихъ привычкахъ и причудахъ, о ихъ алчности, злости или добротѣ, обо всѣхъ тайнахъ и порокахъ семьи, — рѣшительно все, что отъ прислуги нельзя уберечь. Извѣстна была всѣмъ и причина отказа отъ мѣста каждой наемницы; про тѣхъ, что пристроились, рассказывались интимнѣйшія исторіи изъ ихъ жизни, и въ этомъ базарѣ, гдѣ громко и безцеремонно обсуждалось все, что выходило изъ ряда вонъ, каждая находила такую школу низменной житейской мудрости, что малѣйшій проблескъ хорошаго неминуемо погибалъ.

Вначалѣ милый и сердечный домъ этотъ вскорѣ сталъ казаться Итѣ вертепомъ, и она всѣми силами старалась убѣдить Розу поскорѣ пристроить ее. Съ невольной завистью она видѣла, какъ исчезли въ пасти города три толстыя старухи, подростки и всѣ кормилицы, которыхъ она нашла здѣсь въ первый день; даже Цирель была проглочена, а Ита все сидѣла съ новой подругой, словно никому ненужная. Въ долгіе дни этого мучительнаго сидѣнія, съ четвертушкой хлѣба въ карманѣ, купленной на деньги отъ послѣдней вещи, отданной подъ закладъ, измученная ребенкомъ, который какъ бы мстилъ ея груди за то, что въ ней становилось все меньше молока, она постепенно, урывками, между надеждой до прихода Розы и разочарованіемъ послѣ ея ухода, рассказала Манѣ свою жизнь.

— Видите, — однажды сказала она ей, — есть люди, которымъ ни въ чемъ не везетъ, у которыхъ самое обыкновенное дѣло идетъ наыворотъ, и какъ они ни хитрятъ, ни стараются — ничего противъ своей судьбы не могутъ сдѣлать. Къ такимъ людямъ принадлежу я. Не везетъ мнѣ. Возьмите ребенка моего. Онъ здоровъ и силенъ. Но и здѣсь не повезло и вышло наыворотъ. Нужно было бы калѣку родить, а это было бы хорошо. Молоко у меня отличное, а Цирель раньше

меня поступила. Даже то хорошее, что есть у меня, какъ-то для моей жизни не нужно и мѣшается.

— Можетъ быть это такъ, — задумчиво возразила Маня, — по я думаю скверно вамъ отъ того, что у васъ характеръ мягкій. Намъ, чтобы какъ-нибудь жить, нужно быть выкованнымъ изъ желѣза. Другого спасенія нѣтъ вѣдь.

— Я пробовала, Маня, но не выходитъ, потому что мнѣ не везетъ, я и должна была родиться со своимъ характеромъ. Какъ я замужъ вышла, напримѣръ. Моя мать перебирала людей для меня, повѣрьте, такъ же внимательно, какъ если бы нужно было ей самой выйти замужъ. Но для себя она отличнаго мужа выбрала, а какъ дошло до меня, то такъ ошиблась, что испортила навсегда мою жизнь. Я выросла въ хорошей, честной и не совсѣмъ уже бѣдной семьѣ. Отецъ и мать меня любили, жила я, какъ хозяйская дочь; отецъ же до послѣдняго вздоха работалъ, чтобы мы ни въ чемъ не нуждались. Только это время и было хорошимъ въ моей жизни, но и оно не долго продолжалось, такъ какъ отецъ умеръ, когда мнѣ было 14 лѣтъ. Братъ какъ разъ ушелъ въ тотъ годъ въ солдаты, и я съ матерью однѣ остались. Плохо намъ было ужасно, но мать ни за что не хотѣла тронуть мое приданое. Такъ мы мучились, пока мнѣ не стало 18 лѣтъ. Тогда я и вышла замужъ. Теперь я думаю, почему я вышла за него? Вѣдь я не хотѣла, и сердце меня удерживало. Но не могла я изъ жалости противъ матери пойти. Согласилась я и пропала, въ тотъ же день пропала, какъ только я его увидѣла. Послѣ свадьбы сейчасъ же оказалось, что мой мужъ не былъ холостымъ: жена его была жива, но убѣжала отъ него, оставивъ ему 4-хъ дѣтей. Какъ я это выжила тогда? А триста рублей моихъ были уже въ его рукахъ. Видите, какая я счастливая, — меланхолически улыбнулась она, — не везетъ, говорю вамъ. Къ счастью, я не забеременѣла,

но развязалась я съ нимъ не легко. Я два года, живя у матери, мучилась, чтобы получить отъ него разводъ, и только судомъ добилась этого.

Ребенокъ заплакалъ. Ита встала, чтобы уложить его, и, держа мальчика на рукахъ, согнувшись вдвое, раскачивалась, и лицо у нея было кроткое, какъ у младенца.

— Какая вы милая,—воскликнула Маня.—Все это очень нехорошо, что вы говорите, и совсѣмъ не такъ нужно было поступить, но, когда я слушаю и смотрю на васъ, мнѣ начинаетъ казаться, что вы правы.

— Нельзя знать, кто правъ,—отвѣтила Ита, усаживаясь,—дѣлаешь такъ, какъ можешь, а не какъ хочешь. Хорошо только тому, кому везетъ.

— Какъ же вы сошлись съ Михелемъ?

Ита не успѣла ей отвѣтить, такъ какъ Роза вернулась, чтобы выбрать партію. Кормилицы, какъ пчелы, набросились на нее и покрыли такъ, что ее стало не видно. Роза выбирала, скользя по нимъ взглядомъ. Вошла Миндель и прокричала своимъ страшнымъ голосомъ: „Я здѣсь, я здѣсь, здѣсь“.

— Опять Роза не возьметъ меня,—вздохнула Ита, обращаясь къ Манѣ.

— И меня тоже,—отвѣтила она, подавленно пискнувъ.

Обѣ вернулись на свое мѣсто. Къ нимъ присѣла какая-то кормилица. Она была очень полная, низенькая и когда ходила, то не видно было, какъ она двигаетъ ногами, и потому казалось, что она катится. Кормилицы прозвали ее Любочкой за сильную любовь къ своему милому.

— Вы еще не поступили на мѣсто?—съ удивленіемъ обратилась Любочка къ Итѣ. Голосъ у нея былъ сладенькій до приторности.—Ахъ, какой у васъ красивый ребенокъ! Куколка!—замедоточила она, осторожно щипнувъ его въ щечку.



— Спасибо,—отвѣтила польщенная Ита,—по и вашъ ребепокъ тоже очень миленькій. Правда, Маня?

— Что вы!—съ искусственнымъ ужасомъ воскликнула Любочка,—вы смѣтаетесь надо мною. Мой миленькій? Вѣдь онъ похожъ на мертвого котенка. Вѣдь я толстая, правда? а онъ, какъ обезьянка. Вы на жиръ мой не смотрите, это только для глаза красиво. Мнѣ для ремесла большая грудь нужна, но даже у дѣвушекъ она больше моей. Жиръ ее съѣлъ.

Ита видѣла, что она къ чему-то клонить, около чего-то вертится, но, не зная здѣшнихъ правовъ, тщетно пыталась догадаться, въ чемъ дѣло.

— Какую грудь вы показываете?—вдругъ спросила Любочка.—Хотите, я вамъ дамъ совѣтъ? Показывайте всегда лѣвую—она у всѣхъ людей больше правой. Этого никто не знаетъ, а я знаю. Я опытная, я уже четвертый разъ иду за кормилицу и всѣ тонкости понимаю. Но знаете, что мнѣ мѣшаетъ скоро поступить на мѣсто? Грудь. Все хорошо, пока я не показываю ее. Только дошло до этого и пропало все. Хоть бы ребепокъ у меня былъ толстый, но и этого нѣтъ. Но зато, когда меня принимаютъ, я такъ присасываюсь къ мѣсту, что сотня человекъ не оторвали бы меня отъ него. Я умѣю нравиться хозяйкамъ, и онѣ плачутъ, когда расстаются со мной, вотъ какая я ловкая.

Роза уже видѣлила партію и уходила. Миндель приблизилась къ нимъ, предлагая свои услуги.

— Знаете, о чемъ я хочу васъ попросить,—сказала, наконецъ, Любочка,—одолжите мнѣ своего ребенка. Сдѣлайте доброе дѣло. Я возьму его, чтобы только показать. Тогда даже грудь не имѣетъ значенія. Вечеромъ я вамъ возвращу вашего мальчика. Сдѣлайте доброе дѣло, у меня дома трое дѣтей и они живутъ только тѣмъ, что я служу, мужъ мой вѣдь не зарабатываетъ.

Ита хорошо поняла, что скрывалось за послѣдними

словами, но чувствовала себя въ большомъ затрудненіи. Ей очень хотѣлось помочь бѣдной женщинѣ, которая начинала ей правиться, несмотря на ея ужимки и черезчуръ сладкій голосъ. Она бросила взглядъ на Маню, чтобы посовѣтоваться, какъ вдругъ помощь появилась съ неожиданной стороны. Миндель, услышавъ просьбу Любочки, проворно приблизилась и крикнула:

— Эта женщина не дастъ своего ребенка. Иди сюда, толстая дура, нашла у кого просить. Пойдемъ и поговоримъ.

Любочка не дала себя долго уговаривать и пошла со старухой. Тогда Маня еще разъ спросила:

— Какъ же вы все-таки сошлись съ Михелемъ?

— Это довольно длинная исторія, но я вамъ вкратцѣ расскажу ее. Когда я, наконецъ, получила разводъ, то въ своемъ городѣ уже не могла оставаться и прѣѣхала сюда. Здѣсь у меня была дальняя родственница по матери, не бѣдная, и я стала у нея служить. Черезъ два года у меня уже было скопленныхъ 120 рублей, и я чувствовала себя опять на ногахъ. Какъ-то разъ я у единственной подруги моей, — она умерла недавно отъ родовъ, — познакомилась съ молодымъ человѣкомъ. Это былъ Михель. Онъ мнѣ понравился, и вскорѣ я его полюбила. Такъ онъ хорошо держался со мной, что не могла не полюбить. Возлюбленный подруги моей увѣрялъ, что Михель работаетъ на фабрикѣ и зарабатываетъ по 30 рублей въ мѣсяцъ, и я почему-то повѣрила, что это правда. Такъ что, когда Михель предложилъ мнѣ выйти за него, мнѣ показалось, что я, наконецъ, нашла свое счастье. Свадьбу онъ отложилъ на полгода, когда ему должны были прибавить жалованье. Я, конечно, согласилась и совсѣмъ предалась ему. Мѣсяца черезъ два я получила первый ударъ. Хозяинъ фабрики обанкротился, и Михель остался безъ работы. Была ли тутъ правда какая-нибудь, я и теперь не знаю. Тогда онъ задумалъ открыть собственное дѣло и такъ убѣдиль

меня, что я сейчас же отдала ему сто рублей. Онъ сдѣлался еще ласковѣе, и у меня совсѣмъ закружилась голова. Черезъ мѣсяць я уже была беременна, а отъ денегъ моихъ не осталось ни копейки. Я очутилась совершенно въ его рукахъ. Узнавъ, что я беременна и безъ денегъ, онъ пересталъ стѣсняться со мной и вначалѣ ругалъ, а потомъ и бить началъ за каждое мое слово, которое ему не нравилось. О свадьбѣ я не смѣла напомнить и такъ его еще любила, что все прощала ему, и дрожала только, чтобы онъ меня не выгналъ. Службу мнѣ пришлось бросить, и такъ безъ денегъ, замученная имъ, я родила. Теперь я его уже умоляю, чтобы онъ бросилъ меня, но онъ не хочетъ и тянетъ съ меня все, что можетъ. Уже полгода, какъ я знаю, что онъ шулеръ, и что всю жизнь прожилъ тѣмъ, что заманивалъ дѣвушекъ и заставлялъ ихъ работать на себя. Вы его не видѣли злымъ, такъ какъ онъ все еще гдѣ-то достаетъ денегъ. Но я ужасно боюсь его. Когда онъ разсердится, то можетъ меня убить. Если бы видѣли мое тѣло, то испугались бы, такъ оно черно отъ снѣжковъ.

— Я бы его ночью зарѣзала!—прорвалась, наконецъ, Маня, волнуясь,—такой подлець! Не понимаю, какъ вы терпите отъ такого человѣка.

— Этого объяснить нельзя,—нужно самому испытать. Хуже этихъ людей ничего быть не можетъ. Вотъ увидите, что сегодня будетъ, если онъ узнаетъ, что я еще не пристроилась. Онъ все время собирается на меня. Я дрожу идти домой. Хорошо еще, что вы со мной, хоть ребенка обережете. Недѣли двѣ тому назадъ онъ чуть его не убилъ.

— Вотъ разбойникъ!—возмутилась Маня.

— Бывало и хуже. Да, тяжелая у меня жизнь. Вотъ поступаю на мѣсто, а дрожу, дастъ ли служить. О деньгахъ не говорю,—все-равно отниметь, но далъ бы хоть

служить. По крайней мѣрѣ, моя жизнь не была бы въ опасности, и ребенка бы обезпечила.

Ихъ прервалъ шумъ. Двѣ кормилицы подрались, и поднялась страшная суматоха. Держа дѣтей на рукахъ, и ежеминутно угрожая убить ихъ, онѣ вцѣпились другъ въ друга, образовавъ одну массу, и страшно выли. Маня спросила у кого-то, почему онѣ подрались.

— Изъ-за любовника, — отвѣтила та, — у обѣихъ одинъ любовникъ, вотъ и подрались.

Женщинъ съ большими усилиями, наконецъ, развели. Онѣ были ужасны со своими растрепанными волосами, съ залитыми кровью лицами, которыя дышали злобой и дикой ненавистью. Онѣ все еще ругались, и самыя гнусныя и грязныя слова вырывались у нихъ такъ же свободно, какъ будто онѣ были мужчинами. Услужливыя кормилицы со скрытымъ злорадствомъ и наслажденіемъ отвели ихъ поочередно къ крану, гдѣ насильно умыли, хотя онѣ рвались и брыкались, какъ бѣшенныя. Исторія эта оживила всѣхъ и послужила прекрасной темой для пересудовъ на остатокъ дня. Когда появилась Роза, все уже было въ порядкѣ и не оставалось никакихъ слѣдовъ отъ драки. Нѣсколько любительницъ съ удовольствіемъ рассказывали ей объ этомъ приключеніи, разукрашивая его и вырывая другъ у друга нить и продолженіе разсказа. Роза хотѣла что-то отвѣтить, но, случайно замѣтивъ Иту, сказала ей:

— Что-то предвидится для тебя. Можешь идти теперь домой, но завтра непременно приходи. На этотъ разъ, думаю, уже не оборвется.

Ита была въ себя отъ радости. Она посидѣла еще нѣсколько времени для формы, но уже не могла ни на чемъ сосредоточиться. Она слышала кругомъ себя обрывки разговоровъ и, какъ маніакъ, повторяла чужія фразы по десятку разъ, но голова и сердце ея были далеки отъ этого мѣста. Наконецъ, она не выдержала и встала.

— Вы пойдете ко мнѣ?—обратилась она къ Манѣ.— Видно и сегодня вы ничего не дождетесь. Я куплю что-нибудь, и мы поужинаемъ вмѣстѣ. Кажется, дѣла мои поправляются.

Маня, хотя и хотѣла отказаться, но посовѣстилась и сказала, что согласна. Тогда онѣ быстро одѣлись и, оживленно разговаривая, вышли. Послѣ ихъ ухода, Роза приготовила себѣ чай и, усѣвшись на кровати и прихлебывая его, съ наслажденіемъ еще разъ прослушала исторію о томъ, какъ двѣ женщины крѣпко подрались изъ-за одного ничтожнаго мужичины.

Между тѣмъ, Ита и Маня продолжали путь. Какое-то нехорошее чувство смѣнило оживленіе Иты, и теперь она шла съ мрачными мыслями, которыхъ не могла отогнать отъ себя. Маня замѣтила, что Ита разстроилась, и молча слѣдовала за ней. Но на полпути отъ дома она не выдержала того, что и ее угнетало, и невольно произнесла:

— Вотъ и вы скоро пристроитесь, Ита. Вы не повѣрите, какъ я къ вамъ привязалась за эти нѣсколько дней. Что-то такое хорошее напомнило мнѣ наше короткое знакомство. Теперь бы мнѣ хотѣлось, чтобы то, какъ мы живемъ, не проходило, не измѣнялось, чтобы мы всегда ходили къ Розѣ, были вмѣстѣ, разговаривали и мечтали. Главное—вмѣстѣ, потому что одиночество начинаетъ пугать меня, и все у меня болитъ, когда я остаюсь одна.

— Я къ вамъ тоже привязалась, Маня, — прошептала Ита,—но такія, какъ мы, не должны надолго привязываться. Нужно разучиться этому, Маня. Привяжешься и только лишней муки наберешься. Забыла вѣдь я о матери, о братѣ, а какъ я ихъ любила. Теперь я легко уже говорю о нихъ, а вначалѣ какъ я боролась, мучилась, плакала, пока жизнь душу мою не подмѣнила и не научила думать о другомъ. Теперь я попалась со своимъ мальчикомъ, и сердце по старому начинаетъ

болѣть. Вы вѣдь представить себѣ не можете, какъ я его люблю. Вотъ я радовалась, что поступлю на мѣсто. Но вѣдь это такая радость, какъ если бы мнѣ должны были двѣ руки отрѣзать, но отрѣзали только одну. Чужому ребенку я отдамъ свои заботы, свой уходъ, свое здоровье, моего же обокраду и какъ бы выброшу собакамъ. Сама не понимаю, какъ это я сдѣлаю.

— Но вѣдь такъ поступаютъ всѣ, — произнесла Маня. — Что же дѣлать, когда иначе нельзя?

— Это и я знаю, что иначе нельзя, но отъ этого мнѣ только хуже. Если бы я знала, что хоть какъ-нибудь можно иначе, я бы не пошла въ кормилницы.

Онѣ пошли быстрѣе, такъ какъ вечерѣло и становилось холоднеѣе. Люди, эти ненужныя существа, служившія обстановкой для улицы, бѣгали мимо нихъ взадъ и впередъ и громко фыркали отъ рѣзкаго вѣтра... Доносились обрывки разговоровъ. Слышался стукъ копытъ по снѣгу, храпъ лошадей, окрики извозчиковъ. Въ нѣкихъ мѣстахъ уже горѣли фонари, и тусклые лучи отъ нихъ играли и переливались въ хрупкомъ снѣгѣ, лежавшемъ на тротуарѣ.

Ита и Маня молча дошли домой. Имъ было такъ холодно, что окоченѣвшія челюсти едва размыкались, а губы совсѣмъ не слушались.

— Какая ужасная зима, — невнятно и съ большимъ усиліемъ промямлила Маня, входя съ Итой во дворъ, — а мы вѣдь только въ ноябрѣ.

Ита не отвѣтила. То чувство отвращенія и смутная тревога, которыя всегда овладѣвали ею при возвращеніи домой, теперь опять ожили въ ней, и по особенному трепетанію сердца своего и перебѣгавшаго по спинѣ холодка она безошибочно знала, что явится страхъ. Она замедлила шаги и, чтобы не пасть духомъ, ваяла руку Мани.

— Скажите мнѣ что-нибудь веселое, — попросила она ее, — мнѣ теперь хоть одно слово надежды нужно.

Маня не поняла и съ недоумѣніемъ произнесла:

— Я и сама ничего веселаго не знаю. Развѣ богатство? Но я никогда не думала о немъ. Хорошій мужъ, который бы любилъ меня? Объ этомъ нужно навсегда забыть. Что же еще? Право, ничего я веселаго не знаю. Такъ ужъ, какъ-нибудь дотащусь до могилы.

Ита быстро пошла по двору, не сводя глазъ съ своей квартиры. Каморка была освѣщена. Кто-то въ ней вошелъ и, повидимому, искалъ что-то, такъ какъ свѣтъ перебѣгалъ съ мѣста на мѣсто и то здѣсь, то тамъ падалъ желтыми пятнами на снѣгъ, лежавшій во дворѣ. У Иты сердце сжалось отъ страха.

— Хоть бы сегодня еще оставилъ въ покоѣ, — промелькнуло у нея.

Она раскрыла дверь и, какъ бы предупреждая несчастіе, прошла первой. Свѣтъ, прыгавшій до сихъ поръ, вдругъ застылъ на одномъ мѣстѣ и точно притаялся. Послышалось тяжелое, до ужаса знакомое Итѣ дыханіе, сипловатое и быстрое. Ита инстинктивно поставила руку, локтемъ впередъ, чтобы защитить ребенка.

Михель, безъ сюртука, въ жилеткѣ и красномъ тепломъ шарфѣ вокругъ шеи, стоялъ подлѣ нея. Лицо его подергивалось отъ гнѣва, и мускулы на немъ бѣгали по всѣмъ направленіямъ, напряживаясь и чуть не разрывая покрывавшую ихъ кожу. Густая краска лежала на его лбу, ушахъ и шеѣ, а жилы вырисовывались большими и отчетливо билась. Онъ хотѣлъ что-то сказать, даже крикнуть, но захлебнулся отъ спазмъ. Ита стояла, насторожившись, со своей изогнутой, точно рогъ, рукой, и лицо ея было до ужаса спокойно. Маня раза два пискнула. Раздался оглушительный звукъ лопнувшей хлопущки. Сдѣлалось тихо. Ита отъ удара сейчасъ же стала маленькой, точно у нея вывалили ноги. Она сидѣла на полу, не издавая ни звука, и, положивъ ребенка, котораго Маня быстро взяла на

руки, старалась проползти къ кровати. Михель предупредилъ ее и приподнял за шаль. Теперь она была полусогнута и напоминала мертвеца въ своей окоченѣвшей позѣ. Михель не выдержалъ ея тяжести и съ проклятіемъ бросилъ ее, начавъ бить куда попало. Италовко берегла свое лицо, помня, что завтра ей предстоитъ должность. Она подставляла только спину, изогнувъ ее, какъ кошка, и удары гулко отдавались, словно били въ пустой боченокъ. Потомъ ему кулаки показались недостаточными, и нѣсколько ударовъ носкомъ сапога полетѣли въ бокъ. Ита сдавленно застонала и опять поползла къ кровати. Маня оцѣпенѣла отъ ужаса.

— Такъ ты мнѣ деньги оставила? — крикнулъ онъ, наконецъ, все еще преслѣдуя ее послѣдними ударами. — Мальчика ты себѣ глупаго нашла, что водить за носъ будешь? Я изъ тебя душу вымотаю за тація штуки. Говори, почему денегъ не оставила. Подожди, будешь ужъ ты служить!

Ита съ отчаяннымъ усиліемъ поднялась и сѣла на кровать. Что ей сказать ему? Что денегъ сна не могла достать, сколько ни бѣгала вчера? Развѣ повѣритъ? — Она молча стала раздѣваться и беззвучно плакала.

— Хоть бы смерть скорѣе, — подумалось ей.

Ребенокъ закричалъ. Маня пошла помочь ей и передать мальчпка, но не выдержала и на ходу сказала Михелю:

— Я бы васъ убила, если бы была на ея мѣстѣ. Ночью бы васъ непременно зарѣзала. Вы вѣдь разбойникъ. Посмотрите, что вы съ ней сдѣлали.

— Чортъ се не возьметъ еще! — огрызнулся онъ мрачно, — выдержать и больше. Она знала, что мнѣ нужны деньги. Почему она не достала? Заводить со мною новую игру. Посмотримъ, но она живою не выйдетъ отъ меня.

— Хорошая дѣвочка! — раздался чей-то голосъ у



окна.—Вотъ такая мнѣ нужна. Такъ вы бы его зарѣзали? Повторите-ка еще разъ.

Маня испуганно оглянулась. Въ сумеркахъ она не обратила вниманія на то, что въ комнатѣ было постороннее лицо. Заговорившій былъ „Красивый Яшка“, одинъ изъ пріятелей Михеля, которые иногда приходили къ нему. Яшка былъ дѣйствительно красивъ, но съ какимъ-то особеннымъ отпечаткомъ вульгарности. Это была красота уличнаго Альфонса, раздражающая и плѣняющая своими нѣжными и правильными отдѣльными чертами, какой-то женской мягкостью въ позѣ, лѣнивымъ тягучимъ голосомъ и виѣснымъ фантовствомъ. Люди эти обыкновенно маленькаго роста, носятъ на пальцахъ широкія кольца, на рукѣ браслеты и обладаютъ желѣзною волею, въ чемъ главная ихъ сила.

Маня мелькомъ взглянула на него и вспыхнула до корней волосъ, такъ онъ поразилъ и сразу плѣнилъ ее.

— Вы не въ свое дѣло не мѣшайтесь, — съ напускной развязностью возразила она; — а то, что я вамъ нужна, расскажите своей тѣни. Меня же оставьте въ покоѣ.

Когда она себя хорошо чувствовала, то никто ее меньше преслѣдовала. Она только очень слабо пискнула и стала помогать Итѣ. А та, придя въ себя, тихо сказала:

— Я тебѣ давно говорила, Михель, что меня лучше бросить, и теперь то же самое скажу. Не гожусь я для того, что нужно тебѣ. А быть человѣкомъ не можетъ быть удовольствіемъ, это я навѣрно знаю. Поди ты въ одну сторону, а я въ другую. Я бы, Михель, даже откупилась у тебя, если бы у меня были деньги.

— Молчи, не али меня, — злоѣще произнесъ онъ, и она услышала, какъ у него участилось дыханіе.

— На службу, какъ я уже сказалъ тебѣ, ты не пойдешь. Что же до денегъ, то я ихъ изъ тебя выколочу.

Ты видишь этот кулак? Посмотри на него какъ слѣдуетъ. Въ немъ твоя смерть лежитъ. Помни это. Завтра ты пойдешь на улицу и принесешь деньги. Довольно стронть церемоніи.

— Вотъ этого, Михель,—спокойно произнесла она,—я никогда не сдѣлаю. Можешь даже сейчасъ меня убить. Я это уже не разъ слышала отъ тебя, но ты только напрасно тратишь время.

Онъ понялъ, что она непоколебима, и какъ всѣ деспоты, слабые предъ сильной волей, смирился и ограничился тѣмъ, что ѣдко произнесъ:

— Непрестойно тебѣ шлѣться? Гадина!

— Это не твое дѣло, почему, но никогда этого не будетъ, слышишь, никогда. Мнѣ легче умереть отъ твоей руки, чѣмъ такъ опуститься.

— Почему вамъ, въ самомъ дѣлѣ, не послушаться Михеля?—вмѣшался Яша вкрадчивымъ голосомъ.—Что васъ удерживаетъ? Стыдъ?

Онъ сдѣлалъ какой-то двусмысленный жестъ и засмѣялся, показавъ рядъ прекрасныхъ, густо сидѣвшихъ зубовъ.

— Вы, вѣроятно, сговорились?—сердито произнесла Ита,—можешь хоть постыдиться, Михель, что прибѣгаешь къ такимъ средствамъ.

— Ты съ моимъ пріятелемъ такъ не говори!—крикнулъ Михель,—языкъ твой поганый вырву. Выучилась разговаривать!..

Яша самодовольно выслушалъ защиту и, поигравъ усами, концы которыхъ теперь шаловливо смотрѣли вверхъ къ глазамъ, сталъ бросать выразительные и страстные взгляды на Маню, очень ему поправившуюся. Потомъ онъ пересѣлъ поближе и началъ съ ней разговаривать. Та сидѣла хмурая, односложно отвѣчала и изрѣдка, помимо воли своей, быстро обдавала его горячимъ взглядомъ, не умѣя отразить охватывавшаго ее очарованія. Ита мелькомъ оглянула эту пару,—ла-

сковый, знакомый ей огонь въ глазахъ Яши, такое жалкое растерянное лицо Мани,—и съ нехорошимъ чувствомъ принялась хлопотать, вдыхая отъ боли при каждомъ движеніи. Она уложила мальчика, затопила печурку и поставила вариться чай.

Михель сидѣлъ, опершись локтями о столъ, и лицо его было задумчиво и сердито. Стараясь неслышно охатъ, Ита подошла къ нему и положила руку на его плечо. Она отлично знала, что такъ поступать—значить давать ему еще больше власти надъ собой, но сердце ея всегда такъ жаждало мира, что ради него она многимъ готова была поступиться. Михель, съ небрежностью и гордостью мужчины, отбросилъ ея руку. Она терпѣливо опять положила ее, поклонилась къ нему, и вполголоса произнесла:

— Кажется, Михель, я завтра поступлю на мѣсто. Перестань уже сердиться.

— Не хочу я мѣста,—процѣдилъ онъ угрюмо, опять сбрасывая ея руку,—ступай на улицу. У моихъ пріятелей всѣ этимъ кончаютъ, ты не лучше ихъ.

— Это напрасно, Михель,—я на улицу не пойду. Не упрямься и не сердись. Я вѣдь во всемъ уступаю тебѣ, уступи и мнѣ хоть въ одномъ. Я не могу.

— Находка какая, твое мѣсто, — проворчалъ онъ. — Много мнѣ останется отъ 9 или 10 рублей?

До нихъ донесся смѣхъ Мани, которую Яша, наконецъ, разсмѣшилъ. Михель забылъ, что играетъ комедію и только для вида форситъ, имѣя лишь только воспоминаніе о гнѣвѣ, и подмигнулъ Яшѣ, на что Ита серьезно сказала:

— Съ ней нельзя шутить, Михель, Маня не я.

— Всѣ бабы сердиты на словахъ,—разсмѣялся онъ.

— Но ты ошибаешься, — вернулась она къ прежнему,—Роза меня увѣряетъ, что меньше 13--14 рублей мнѣ не предложить, а кромѣ того еще кое-что и другое будетъ. Я тебѣ буду отдавать свой обѣдъ...

Она оборвалась вдругъ, растроганная. Какъ бы она счастлива была, если бы могла ему пожаловаться, рассказать, какъ больно ей разставаться со своимъ мальчикомъ. А онъ, не подозрѣвая, что творится въ ея душѣ, уже повеселѣлъ отъ новой перспективы и дѣловито выкладывалъ:

— Конечно, меньше 14 тебѣ не дадутъ. Можешь на мой страхъ потребовать 15 и не спускай цѣны. Эти живодерѣ, когда увидятъ твое молоко, то отдадутъ всѣ деньги. И мальчика нашего покажи. Не будь только душой. У тебя такое молоко, что я подобнаго еще и не видѣлъ. Теперь хорошей кормилицы и со свѣчей не отыщешь. А кварта коровьяго молока стоитъ 15 копеекъ. Меньше 15-ти ни одного гроша, ни одной денежки. Попросишь, конечно, за мѣсяцъ впередъ. Живодеры тебя доить будутъ, а я ихъ. Объ этомъ мы еще поговоримъ.

Онъ совсѣмъ повеселѣлъ и сбросилъ съ себя спесь. Ита ждала, не разспросить ли онъ о ребенкѣ, но Михелю это и въ голову не приходило. Онъ былъ весь занятъ новою перспективою. Ита вздохнула, удовлетворившись тѣмъ, что добила миръ, и пошла дѣлать чай. Когда всѣ усѣлись за столомъ, Михель со смѣхомъ произнесъ:

— Знай, Яша, что сегодня я купилъ хорошую корову.

Яша въ шутку поискалъ глазами въ комнатѣ, испугалъ мимоходомъ Маню намѣреніемъ уцѣпнуть ее и отвѣтилъ:

— Не произноси такихъ некрасивыхъ словъ: за столомъ вѣдь сидитъ невинная дѣвушка. Вы вѣдь совсѣмъ невинная?—обратился онъ къ Манѣ полусерьезно, въ упоръ глядя ей въ глаза.

Маня совсѣмъ уже освоилась съ нимъ и его шутками и засмѣялась. Лицо Яши подвижное и ласковое, съ хорошенькими усами и красивой синеватою

тѣню на выбритыхъ щекахъ, все болѣе и болѣе плѣняло ее. Но смѣясь и невольно отражая его настроеніе, она все же держала себя серьезно, и не позволяла ему никакой вольности. Ея голова слегка затуманилась отъ неяснаго предчувствія, что начинается какой-то праздникъ въ ея жизни.

— Я не дѣвушка, — сказала она по-своему откровенно и просто, — можете спокойно спать на мой счетъ.

— Не дѣвушка, — воскликнулъ Яша со смѣхомъ и разыграннымъ удивленіемъ — а, такъ она мальчикъ. Значить, Михель, теперь я могу ее поцѣловать, навѣрно вѣдь могу?

Онъ бросился на нее, сдѣлавъ видъ, что цѣлуетъ ее, и, чмокая свои руки, громко кричалъ:

— Какой вкусный мальчикъ, Ита, хотите попробовать кусочекъ? Ахъ, что за мальчикъ! И вдругъ совершенно неожиданно для нея, онъ обхватилъ ее за шею, притянулъ къ себѣ и звонко поцѣловалъ въ губы. Маня растерялась на мигъ. Потомъ опомнилась и сердито крикнула:

— Если еще разъ попробуете, я вамъ усы вырву. Суньтесь только. Я терпѣть не могу такихъ шутокъ.

Михель съ интересомъ слѣдилъ за Яшей, предъ которымъ преклонялся. Ита становилась печальнѣе, и, не вмѣшиваясь, прихлебывала чай.

— Только усы? — обрадовался Яша, сдѣлавъ милое лицо, — такъ вотъ они, если они вамъ нравятся. А теперь давайте губы.

Онъ со смѣхомъ опять бросился на нее, и оба начали бороться, чуть не опрокинувъ столъ, она — отбиваясь, онъ — наступая все смѣлѣе.

— Усы, — слышался между поцѣлующими его голосъ, — только всего и ничего больше, а я думалъ, что вамъ мой глазъ нуженъ. Миѣ же нужны ваши губы, губы. Ахъ, какой сердитый мальчикъ!

Михель съ наслажденіемъ потиралъ руки и смѣялся. Вотъ это молодецъ! И чѣмъ онъ ихъ беретъ только? Счастливецъ, негодяй. Ита съ грустью думала о томъ, что ожидаетъ Маню, если она увлечется Яшей. Маня же сначала крикнула, потомъ замолчала и тихо боролась. Вдругъ Яша выпустилъ ее и схватился за губу. Маня стояла передъ нимъ и держала между пальцами маленькій клочъ волосъ. Глаза ея сверкали отъ возбужденія и радости. Яша же стоялъ красный отъ стыда и старался улыбнуться. Онъ былъ такъ комиченъ со своимъ недоумѣвающимъ лицомъ, что Маня не выдержала и засмѣялась. Засмѣялись и Михель съ Итой.

— Ну, вы! — съ гримасой и скрывая сильную боль въ губѣ, произнесъ онъ. — Не гогочите такъ. Это вовсе не такъ весело, увѣряю васъ. Дай Богъ, чтобы черти въ аду хоть на половину такъ пекли васъ, какъ печетъ губа.

Всѣ опять устѣлись вмѣстѣ, но приключеніе это уже испортило прежнее непринужденное настроеніе. Яша, какъ ни старался, не могъ вернуть себѣ хорошаго расположенія и сидѣлъ скучный и серьезный; къ тому же и губа у него порядкомъ ныла, и это совсѣмъ портило дѣло. Съ нимъ какъ бы потухло и веселье, только что жившее здѣсь. Маня сидѣла задумчивая и мучительно чувствовала, какъ и въ ней что-то потухло. Она не отдавала себѣ отчета, что съ ней, и сидѣла подобно ему, какъ убитая. Серьезность его пугала ее, а то, что онъ страдалъ, вызывало сладкую и томительную радость, что она тому причиной. Потомъ ей крѣпко захотѣлось, чтобы онъ опять шутилъ и веселилъ ее. Она сидѣла, страшно тоскуя и замирая отъ рождавшихся желаній. Какъ обласкать его? Какъ показать ему свое раскаяніе, какъ сдѣлать, чтобы онъ не страдалъ и опять льнулъ къ ней словами, глазами? Внезапно она рѣшилась. Не допивъ чая, подымаясь всхлинувшей и какъ бы вонзившейся ей въ мозгъ

мыслью, она быстро встала и начала собираться, мечтая, что, может быть, онъ догадается. Ита же была такъ поражена этою поспѣшностью, что только для формы спросила ее:

— Куда вы, Маня? Это просто глупо. Вамъ вѣдь некуда пойти.

— Ничего, ничего,—возразила та, не рѣшаясь поднять глазъ,—нужно мнѣ, такъ будетъ лучше.

— Можетъ быть, ты ее проводишь?—произнесъ Михель, подмигнувъ Яшѣ.

Какой-то токъ образовался между Яшей и Маней. Они оба почувствовали уколъ отъ одной и той же радости, и первый, поискавъ въ памяти слова, дрожащимъ голосомъ сказалъ:

— Могу, хотя ей и одной не опасно. Вѣдь она не дѣвушка.

Онъ подчеркнулъ эти слова, а Маня, скрывъ волненіе, парочно отвѣтила колкостью:

— Вы мнѣ нужны, какъ смерть. Можете оставаться здѣсь. Посмотрите, какъ вы красивы теперь.

Она распрощалась съ Итой и расцѣловалась съ ней, все избѣгая ея взгляда. Ита крѣпко прижала ее къ себѣ, хотѣла что-то сказать, но удержалась, чувствуя, что въ этомъ дѣлѣ слова не сила.

— Мы еще увидимся,—стараясь улыбнуться, произнесла Маня,—судьбы своей не избѣжишь.

— Берегите себя, Маня,—отвѣтила Ита,—иногда можно и судьбу повернуть.

Всѣ посмотрѣли другъ на друга съ недоумѣніемъ. Маня махнула рукой и вышла.

— Сумасшедшая дѣвушка,—произнесъ Михель.

— Можетъ быть, она права,—громко подумала Ита, вспомнивъ слова Мани о томъ, что ничего у нея нѣтъ веселаго въ жизни, и только остается ей какъ-нибудь незамѣтно проползти до могилы.

— Ты хочешь сказать, женщина?—усмѣхнулся Яша,

подмигнувъ въ свою очередь Михелю. и, быстро простившись со словами „судьба, судьба“,—побѣжалъ за Маней. У воротъ онъ нагналъ ее, заглянулъ въ лицо и, замѣтивъ, что она въ слезахъ, быстро, прежнимъ ласковымъ и мягкимъ голосомъ спросилъ:

— Что съ тобой, женщина?

Она молчала. Яша взялъ ее подъ локоть и, почувствовавъ теплоту, такъ прильнулъ къ ея рукѣ, что никакая сила не оторвала бы его отъ нея. Онъ легонько повлекъ ее, и она покорно пошла за нимъ. Только вся дрожала.

По уходѣ Яши, Ита, засыпая золой печурку, мимоходомъ бросила:—Еще одна дѣвушка пропала.

— Спаслась, дура,—жестoko отвѣтилъ онъ, и пропѣлъ:—еще одна спасенная, ибо ей за муки уготованъ рай.

Ита ничего не отвѣтила и пожала плечами. Заплакалъ ребенокъ. Она бросилась къ нему, легла подлѣ и начала кормить. Потомъ долго глядѣла на него, какъ бы стараясь запечатлѣть въ себѣ его милое, кругленькое личико, и незамѣтно заснула. Михель давно лежалъ возлѣ нея и спалъ.

Ита получила, наконецъ, мѣсто кормилицы въ семьѣ средняго достатка съ ежемѣсячной платой въ 12 р. Хотя Ита, условливаясь съ своей будущей госпожей, думала, что отнимая мать отъ ребенка, не слѣдуетъ торговаться изъ-за одного рубля, но такъ ужъ тяжело ей было, и такъ она наволновалась, что согласилась, махнувъ рукой. Михель задалъ ей хорошую встрепку, прикинувшись вдругъ чрезвычайно дѣловитымъ, и громко негодовалъ на этихъ живодеревъ-богачей, которые готовы отъ бѣдняка послѣднее отнять. Но онъ скоро утѣшился, когда Ита предложила ему продать оставшійся ненужный теперь скарбъ и вырученныя деньги взять себѣ. Случайное гнѣздо, въ которомъ она только выстрадала, съ этой минуты начало распадаться,



но Ита не находила въ себѣ ни одного вздоха сожалѣнія о немъ. Съ какимъ-то тупымъ чувствомъ заботы и покорности она покинула его и только въ послѣднія минуты съ испугомъ и біеніемъ сердца изрѣдка точно схватывалась и вспоминала, какъ дурно у нея сложилась жизнь, какъ она исковеркана, и какъ мало осталось у нея надеждъ на лучшее будущее... О ребенкѣ за хлопотами и бѣготней какъ-то не думалось, и она невольно уже меньше отдавалась ему, хотя тотъ плакалъ, кричалъ и по своему требовалъ къ себѣ вниманія и ласки.

Послѣдніе же два дня пробѣжали, какъ въ кошмарѣ, оставивъ послѣ себя осадокъ чего-то до дикости ужаснаго, и Ита смутно чувствовала и понимала, что ниже человѣкъ уже не можетъ упасть, какъ и не можетъ быть больше истоптанъ и оплеванъ, послѣ того, что съ ней произошло. Торгъ съ будущей госпожей, наглые и властные опросы съ безцеремонными залѣзаніями въ душу, съ подробными и подозрительными выпытываніями о мужѣ, о любовникѣ, о болѣзняхъ, о которыхъ она не имѣла понятія; полная, до умопомрачающихъ подробностей, регламентація ея будущей жизни въ домѣ и отношеній къ собственному ребенку,— все это было точно крѣпкіе удары по головѣ, но она переносила ихъ въ какомъ-то состояніи сонности и покорно, не повышая тона, отвѣчала на вопросы. Даже возмущенное чувство ея, когда рѣчь зашла о мѣсячной платѣ въ такомъ тонѣ, будто она не больше, какъ корова, которую покупаютъ только за ея молоко, и что отъ такихъ коровъ отбоя нѣтъ,—даже и тогда выразилось оно въ слабомъ протестѣ, но такомъ жалкомъ, что долго ей потомъ дѣлалось досадно, когда она вспоминала о немъ. Но еще болѣе тяжело и унижительно, и страшно было, когда ей пришлось быть освидѣтельствованной врачомъ, который собственно и рѣшилъ ея участь. У этого свѣтскаго и упитаннаго человѣка

среднихъ лѣтъ ее ожидало особенное испытаніе. Ихъ собралось нѣсколько женщинъ. Онѣ сидѣли въ передней и долго ждали очереди. Когда эта очередь, наконецъ, наступила, то, чтобы покончить поскорѣе съ однообразной и скучной работой, отнимавшей его драгоценное время, онъ приказалъ всѣмъ быть наготовѣ, т. е. расшнуровать юбки и растянуть кофты. Ита, держа въ рукѣ карточку, въ которой просилось о тщательномъ осмотрѣ, стыдась и полузакрывъ наготу верхней части своего тѣла, другою рукою поддерживая расшнурованную юбку, почти не видя дороги и дрожа всѣмъ тѣломъ, будто вмѣщала въ себѣ всѣ скверныя болѣзни и прятала ихъ, вошла въ кабинетъ. Докторъ, въ два три мига безцеремонно снявъ съ нея кофту, тщательно осмотрѣлъ грудь, подавилъ ее, отчего Ита вскрикнула, отодвинувшись отъ него и сгорая отъ стыда, и велѣлъ сбросить рубашку совсѣмъ. Потомъ опять внимательно осмотрѣлъ уже со всѣхъ сторонъ ея тѣло: не найдется ли пятнышка или чего-нибудь, могущаго вызвать подозрѣніе. Покончивъ съ этимъ, онъ съ той же электрической быстротою посмотрѣлъ ей въ горло, осмотрѣлъ носъ, еще разъ зачѣмъ-то подавилъ грудь и приказалъ ей лечь на стулъ-креслѣ, стоявшемъ у окна. Ита покорно, по слезамъ на глазахъ, легла, чувствуя себя послѣдней женщиной... Къ этимъ мнѹтамъ, стоявшимъ въ памяти, какъ укоръ чему-то, она рѣдко возвращалась, а если вспоминала, то только молила, чтобы онѣ не повторялись.

Послѣ всѣхъ этихъ мытарствъ ей еще осталось новое, важное дѣло, — пристроить своего ребенка. Не зная, какъ поступить, она повидалась съ Миндель, которая за небольшую плату указала ей нѣсколькихъ женщинъ, бравшихъ у кормилицъ дѣтей на вскормленіе. Потомъ она забѣжала къ Розѣ поискать, не отыщется ли попутницы, и, найдя таковую въ лицѣ кормилицы Гиталь, которой за полученіемъ мѣста тоже нужно было

пристроить ребенка, условилась съ ней о времени выхода изъ дому.

На слѣдующій день, рано утромъ Ита была уже у Гителя, и обѣ вышли часовъ въ 10 съ дѣтьми на рукахъ. Погода два дня подрядъ капризничала, и среди глубокой зимы внезапно наступила оттепель. Отовсюду текли воды, слышались звуки падающихъ капель, звенящихъ струекъ, и все было непривѣтливо, мокро, некрасиво. Небо стелилось низко надъ домами, и день отъ того казался несвѣтлымъ и скучнымъ. Грязный снѣгъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ превратился въ камень, въ другихъ же оттаялъ и образовалъ вонючія черныя лужи, въ которыхъ чернымъ же отражалось небо съ мягкими, рыхлыми тучками. Деревья оттаяли и такъ блестѣли отъ воды, что казались отполированными, а на вѣтвяхъ, вздрагивая крылышками, сидѣли скучные, мрачные воробьи и монотонно чирикали.

Когда онѣ миновали домъ, гдѣ жила Роза, то встрѣтили кормилицу Этель, которую всегда окружали женщины. Онѣ хотѣли пройти не останавливаясь, но Этель, замѣтивъ обѣихъ женщинъ, задержала ихъ и вмѣсто привѣтствія сказала:

— Кончили ѣсть хлѣбъ у Розы? Очень хорошо. И я тоже. Наконецъ, поступила. Теперь пужно дѣвочку этимъ разбойницамъ отдать. Вы за тѣмъ же? Очень хорошо. Все идетъ какъ пельзя лучше. Можете вы иначе сдѣлать? Скажите, какъ?

Она положила руку на грудь и впиалась глазами въ Иту, точно та была виновницей ея положенія.

— Скажите вы, — засмѣялась Гитель, — спрашивать я не хуже васъ умѣю.

Этель миновала ее презрительнымъ взглядомъ и сняла руку съ груди.

— Вотъ видите, — продолжала она, — всѣ такъ отвѣчаютъ. Люди глупы, какъ бараны, какъ кошки, какъ

мухи. Зачѣмъ, спрашиваю я, рожать, если нужно отдавать своихъ дѣтей этимъ разбойницамъ?

— Вы вѣдь тоже рожаете,—произнесла Пта, невольно улыбнувшись ея ѣдкому тону.

— Я рожаю!—презрительно повторила она;—скажите рожается, а я не рожаю. Вотъ, видите меня. Дома имѣю одного ребенка, другой на рукахъ, а мужъ мой не Богъ вѣсть какая птица—онъ сапожникъ. Но вы думаете, что если сапожникъ, то зарабатываетъ что-нибудь? Ошибаетесь, моя милая. Теперь только дѣвушки и дуры говорятъ, что хорошо имѣть мужемъ ремесленника. Что здѣсь хорошаго? Зашивать порванные галоши какого-нибудь барина, который ихъ нарочно лѣтомъ отдаетъ въ починку, чтобы дешевле стоило? Или получить 25 коп. за пару подборовъ? Не будемъ спорить, но много ли въ день есть охотниковъ, которые желаютъ починить свои подборы? Съ голоду умираемъ, моя милая, съ голоду.

Ребенокъ заплакалъ. Она раскрылась и сунула ему, не глядя, грудь въ ротъ.

— Зачѣмъ же у васъ еще дѣти?—полюбопытствовала Гитель.

Женщины потихоньку начали идти. Этель вскипѣла отъ вопроса.

— Чортъ васъ возьми!—воскликнула она.—Спросите у моего мужа. Развѣ мнѣ-то нужны дѣти? Для какого чорта? Чтобы наслаждаться ихъ мученіями? Я вѣдь и съ первымъ не знала, куда мнѣ дѣваться! Я спрашиваю васъ, что мой сапожникъ нашелъ во мнѣ? У меня вѣдь только кости и кожа, даже на сальную свѣчку изъ меня жира не достанете. Но поговорите съ нимъ.

— Примите меня къ себѣ,—пошутила Гитель,—я его сейчасъ же вылѣчу.

— Я бы вамъ, положимъ, голову проломала,—спокойно отвѣтила Этель.

— Какъ же вы рѣшаетесь оставить свое хозяйство?—  
вмѣшалась Ита.

— И не спрашивайте. Я переносила худшее. Когда я родила перваго моего ребенка, то это было такъ пріятно, будто у меня кусками тѣло вырывали. Послѣ родовъ я долго болѣла и осталась съ хромою ногою. Я только стараюсь не хромать, такъ какъ хромыхъ не берутъ. И тѣло, и свѣжесть живо спали съ меня. Вѣдь я была кровь съ молокомъ, увѣряю васъ, какъ она,—она указала на Гитель,—а потомъ, послѣ родовъ все это такъ же скоро высохло, какъ высыхаетъ лѣтомъ дождь. Черезъ три мѣсяца послѣ родовъ я опять была беременна, но въ шестомъ мнѣ таки удалось сбросить, и я долго мучилась въ больницѣ послѣ этого. Черезъ полтора года я родила этого, котораго видите,—и вотъ еще нѣтъ трехъ мѣсяцевъ, какъ я кормлю, а ужъ опять беременна. Теперь вы уже знаете, отчего я рожая.

— Я бы вамъ и раньше сказала,—подразнила ее Гитель,—почему вы рожаете. Извѣстно, почему.

— Почему рождаетъ,—разсердилась Этель,—еще можно отвѣтить, но почему ты такая толстая дура, на это даже и мудрецъ не отвѣтитъ.

Всѣ засмѣялись и заговорили о Розѣ. Въ какомъ-то переулкѣ имъ встрѣтилась Маня. Она шла скоро, но, замѣтивъ Иту, быстро перешла улицу, чтобы не столкнуться съ ней. Ита притворилась, что не замѣтила ее, и сейчасъ же забыла о ней, отдавшись своимъ думамъ. Болтовня Этель какъ бы навалила то мѣсто, которое болѣло, и теперь ея мысли вертѣлись около ребенка. Этель уже ушла отъ нихъ, остановившись вондѣ одного дома со словами: „вотъ гдѣ я живу“, а Ита все шла съ вихремъ въ головѣ, не замѣчая, что вокругъ нея дѣлается.

— О чемъ вы такъ задумались? — произнесла Гитель, которой надоѣло молчаніе.—Хотите, я вамъ раз-

скажу свою исторію. Она поинтереснѣе, чѣмъ исторія сапожницы.

Ита кивнула головой, и Гитель начала щебетать, рассказывая свою жизнь, полную приключеній. Перваго любовника она ваяла послѣ того, какъ извѣдила четверть Россіи въ погонѣ за своимъ мужемъ, который послѣ вѣнца удралъ отъ нея, чтобы сдѣлаться ученымъ. Удралъ онъ съ деньгами ея, которыя вернулъ спустя два года, а спустя еще два за опредѣленную сумму далъ ей разводъ, и теперь онъ по прошествіи восьми лѣтъ гдѣ-то состоялъ врачомъ. Первымъ ея любовникомъ былъ православный—рабочій, съ которымъ она познакомилась во время своихъ переѣздовъ. Отношенія у нихъ зашли такъ далеко, что она чуть было не выкрестилась, и только наканунѣ крещенія опомнилась и удрала, оставивъ ему ребенка. Дальше пошло уже легче спускаться по этой лѣстницѣ, но не желая со всѣмъ упасть -- считала нужнымъ служить. Однако вездѣ, на каждомъ мѣстѣ имѣла любовника, такъ какъ безъ этого жить не могла. Людьми она не брезгала, и въ числѣ ея избранныхъ бывали солдаты и полковые писаря, лавочный приказчикъ и дворникъ, старикъ хозяинъ и молоденькіе мальчики. Къ одному поляку она серьезно привязалась, прижила съ нимъ ребенка, и оттуда уже началась ея жизнь кормилицы, когда она съ нимъ порвала. За послѣдніе восемь лѣтъ—ей шелъ уже тридцать пятый годъ—она нарочно уже рожала четыре раза, ужасно полюбивъ сладкую по ея описанію жизнь кормилицы, живущей въ холѣ и довольствѣ. О дѣтяхъ своихъ, которыхъ даже и любила, она мало задумывалась; всѣ они въ свое время были розданы или, какъ она говорила, помѣщены у хорошихъ женщинъ, гдѣ и поумирали. Каждый годъ она ихъ искренно оплакивала, и на слѣдующій повторялось то же, такъ какъ иначе она уже не могла жить.

Ита пораженная слушала ее, думая, что передъ ней

чудовище. Гитель, замѣтивъ впечатлѣніе, которое произвелъ ея рассказъ, произнесла:

— Во всемъ, что я рассказала вамъ, нѣтъ ничего ужаснаго. Вы такъ мало знаете жизнь, что васъ можетъ испугать полетъ мухи. А между тѣмъ я вовсе не была такой до свадьбы. Я была самая скромная, честная и добрая дѣвушка въ своемъ городѣ. Жизнь ужасна, вотъ что. Подождите, вы еще не умерли. Знаете ли вы, что будетъ съ вами черезъ десять дѣтъ.

Ита ничего не отвѣтила, испуганная убѣжденнымъ тономъ этой женщины. Развѣ она, Ита, теперь та самая дѣвочка, которая когда-то съ гордостью гуляла со своимъ отцомъ подъ руку въ праздничный день?

Онѣ уже входили въ ту часть города, которая называлась окраиной. Все здѣсь говорило о другой жизни. Начиная отъ фонарей и кончая низенькими домами и пемощеной улицей, окраина напоминала заброшенный въ глуши городокъ, никогда не знавшій культуры.

— Вотъ оно, кладбище нашихъ дѣтей, — шутливо произнесла Гитель, — посмотрите какое огромное.

— Ахъ, не говорите такъ ради Бога! — мрачно воскликнула Ита, безпокойно и со страхомъ озираясь, — вѣдь это въ самомъ дѣлѣ похоже на кладбище.

Къ нимъ подходили двѣ женщины съ дѣтьми на рукахъ. Ита и Гитель узнали въ нихъ кормилицъ, видѣнныхъ у Розы на прошлой недѣлѣ. Обѣ были еще молоды, и въ ихъ взволнованныхъ лицахъ ясно сквозило, что онѣ только начали проходить ту тяжелую школу, которая вырабатываетъ чудовищъ-женщинъ, умѣющихъ весело и равнодушно относиться къ судьбѣ своихъ дѣтей, — какъ Гитель.

— Я еще и педѣли не служу, — начала первая свои жалобы, послѣ привѣтствія, и на молодомъ лицѣ ея было загадочное выраженіе: не то досада, что нужно хлопотать, не то досада противъ ребенка, — но уже столько имѣю непріятностей съ моей кормилицей,

которой отдала дѣвочку, что у меня вся жизнь отравлена. Она потребовала за мѣсяць впередъ, я ей дала; дала 4 фунта сахару, бѣлье, чай, и послѣ всего, представьте себѣ, она вдругъ является ко мнѣ съ новостью, что за такія деньги не можетъ держать ребенка. Зачѣмъ же она взялась, я васъ спрашиваю, я вѣдь могла другую найти. Что мнѣ теперь дѣлать? Можно ли подать на нее, не знаете? Я думала подать. При томъ, если бы вы видѣли, что сдѣлалось съ дѣвочкой у этой твари. Она почернѣла, какъ уголь, отъ грязи, похудѣла, сдѣлалась сонной какой-то. Просто сердце мое разрывается глядѣть на нее!

Она хотѣла заплакать, но удержалась и постаралась придать себѣ бодрый видъ. Шедшая съ ней толкнула ее и сказала:

— День не стоить; эти женщины тебѣ не помогутъ. Пойдемъ и поищемъ. Какъ-нибудь да устроится.

Всѣ пошли вмѣстѣ, разговаривая. Ита разспрашивала о подробностяхъ, чтобы не попасться, какъ дурочка.

Подлѣ одного дома онѣ разстались. Первая двѣ пошли дальше, а Ита и Гитель остановились у воротъ большого пустыннаго двора, гдѣ по краямъ, какъ наросты, ютились отдѣльные низенькіе флигельки, грязныя и покривившіеся. Въ концѣ двора стояли повозки и биндюги, и между ними, въ поискахъ за кормомъ, бродили коровы и лошади, не вышедшіе на биржу. Около стѣны двѣ большія черныя собаки, приподнявъ морды, дико лаяли на кошку, не сводившую съ нихъ глазъ.

У воротъ стояла дѣвушка и равнодушно смотрѣла на пришедшихъ. Ита спросила у нея квартиру Шейны, бравшей дѣтей на вскармленіе. Дѣвушка указала рукой и отвернулась. Ита и Гитель вошли во дворъ и, внимательно поискавъ, нашли квартиру. Дверь въ нее была открыта; оттуда неслись странные звуки, точно кричалъ котенокъ, котораго плохо придушили.



Ита задрожала отъ этого жалобнаго голоса. Неужели тамъ убиваютъ ребенка? Почему никто не вмѣшается? Развѣ сосѣдямъ ничего не слышно? И ей вдругъ показалось, что она, какъ въ зеркалѣ, увидѣла будущее своего мальчика.

Мрачная, сопровождаемая Гитель, которая восхитительно чувствовала себя на этомъ дворѣ, будто онъ напоминалъ ей дворъ, въ которомъ прошло ея дѣтство, Ита зашла въ комнату и остановилась пораженная тѣмъ, что увидѣла. На полу, нечистомъ отъ запесенной грязи, въ тряпочкахъ, едва покрывавшихъ тѣльце, извиваясь, какъ червякъ, ползаль голоногий ребенокъ и жалобно кричалъ. Въ комнатѣ не было ни души. Предоставленный себѣ и уже давно не кормленный, онъ монотонно повизгивалъ и такъ посинѣлъ отъ холода, что не видно было струпьевъ и ранокъ на его лицѣ.

Когда Ита, движимая состраданіемъ, подошла къ нему и взяла на руки, онъ сначала испуганно пискнулъ, но почувствовавъ теплоту тѣла, вдругъ закричалъ какимъ-то и рыдающимъ, и радостнымъ голосомъ и судорожно прижался къ Итѣ, не сводя съ ея лица своихъ измученныхъ глазъ. Онъ дрожалъ и икалъ отъ холода, и Ита въ рукахъ своихъ не чувствовала ни капли его теплоты. Ему было шесть мѣсяцевъ, хотя по росту и по вѣсу нельзя было дать болѣе двухъ... Ножки и руки были въ струпьяхъ. Въ пняхъ мѣстахъ корка, готовая упасть, отдѣлилась отъ тѣла, и ребенокъ казался утыкаемымъ иглами. Голова тоже была въ ранахъ, и въ нихъ кишѣли вши. Ита заплакала, глядя на маленькаго мученика со старческимъ лицомъ, который все терся о нее, всхлипывалъ и умолялъ. У нея даже не родилось вопроса. Передавъ своего мальчика Гитель, которая пачала посмѣиваться надъ ней, она утѣлась на табуретѣ, разстегнулась и вынула грудь, полную соковъ и жизни. Сначала ребенокъ упирался и не хотѣлъ брать груди, совсѣмъ не приученный къ та-

кой пищѣ, и бился и рвался на рукахъ, разобравъ, что это не его кормилица, которую онъ считалъ матерью; но когда Ита насильно брызнула ему въ ротъ сладкаго и теплаго молока и прижала къ нему грудь, согрѣвшую его полузамерзшее лицо, онъ жадно набросился на нее и, прищелкивая языкомъ и захлебываясь отъ жадности, меньше чѣмъ въ пять минутъ опорожнилъ ее.

— Кушай, кушай, бѣдняжка,—ободрила его Ита, радуясь его счастью,—подожди, я еще дамъ, ну, подожди же. Голубчикъ, какъ ты голоденъ!

Она, казалось, забыла зачѣмъ пришла и, разсѣвшись широко на табуретѣ, чтобы удобно было кормить, перемѣнила грудь. Въ комнату никто не приходитъ и не мѣшалъ. Гитель, которой наскучило сидѣть здѣсь и трудно было держать двухъ дѣтей, рѣшилась, наконецъ, поторопить Иту.

— Я здѣсь не оставляю своего ребенка,—рѣшительно выговорила Гайне,—лучше сразу убить его. Поищемъ другой женщины. Не можетъ быть, чтобы вездѣ было такъ, какъ здѣсь. При томъ же у этой Шейны имѣется вѣдь одинъ ребенокъ, куда же ей взять еще другого.

— Вамъ кажется, что вы барыня,—засмѣялась Гитель.—Здѣсь почти всѣ берутъ по два, по три ребенка на выкормъ, и дѣтямъ нигдѣ не лучше, чѣмъ здѣсь; я это отлично знаю. Миѣ вѣдь не первый разъ отдавать. Сначала я такъ же разсуждала, какъ вы, но теперь, когда разузнала правду и привыкла къ ней, то молчу и не думаю объ этомъ. Ничего вѣдь не подѣлаешь. Даже то, что вы видите, не самое худшее; довольно я насмотрѣлась. Правда, есть женщины другія, но и у нихъ только чуточку лучше и чище.

— Никогда я къ этому не привыкну!—разстроено возразила Гайне, положивъ изъ предосторожности заснувшаго ребенка на полу на подушкѣ,—и если бы

люди видѣли то, что я увидѣла здѣсь, то этого зла не существовало бы больше.

— Если вѣрите, можете обманывать себя, а я людей знаю, и худшихъ собакъ—равнодушныхъ и злыхъ—я не видѣла, хотя и сама не ангель, и у нихъ же вы училась жить такъ, будто у меня вырѣзали сердце.

Ита одѣлась, и обѣ, притворивъ за собою дверь, вышли. Стоявшая у воротъ дѣвушка даже не перемѣнила своей позы и все глядѣла вдаль, стоя противъ широкой, длинной, какъ бы безконечной улицы. Она не повернула головы, когда обѣ женщины прошли мимо нея и оставалась неподвижной, какъ статуя задумчивости, какъ символъ, олицетворявшій собою тоску, отчаяніе, порывъ къ тому широкому и безконечному простору, гдѣ вдали небо и земля, и воздухъ слились въ то невѣдомое и таинственное, что такъ манитъ къ себѣ связаннаго человѣка.

Время двигалось, и Гитель все чаще торопила Иту. Теперь онѣ входили въ какой-то дворъ, узкій, какъ тунель, и такой же темный. Навстрѣчу,—такъ что Итѣ и Гитель пришлось посторониться,—шелъ старикъ, нахлобучивъ шапку на глаза, и подъ мышкой держалъ гробикъ. За нимъ передвигалась женщина, и двѣ старухи поддерживали ее съ боковъ. Сзади, изъ вѣжливости и любопытства, группу эту сопровождали нѣсколько женщинъ и о чемъ-то тихо бесѣдовали. За ними, въ почтительномъ разстояніи, тѣснились мальчишки и дѣвочки со двора, грязные и оборванные. Старикъ съ гробикомъ подъ мышкой, точно съ книгой, шелъ торопливо, почти не сгибая колѣнъ, а лицо его было спокойное и равнодушное. То же равнодушіе и спокойствіе лежало на лицахъ участниковъ, и ниоткуда не раздавалось ни вѣдоха, ни крика. Ясно было, что совершается нужная кому-то церемонія, безъ которой нельзя было избавиться отъ мертвого ребенка, и только нехорошо въ ней было то, что она отнимала

вниманіе и время отъ другихъ дѣлъ. Когда старикъ и женщина со старухами прошли, Гитель обратилась къ одной женщинѣ съ вопросомъ, кого хоронятъ.

— Мальчикъ тутъ одинъ умеръ,—равнодушно отвѣтила она,—анма тяжелая и выкормки не выдерживаютъ. До пятого мѣсяца дотащили его. И то, слава Богу. Они вѣдь гораздо раньше умираютъ.

— Чей это ребенокъ?—спросила Ита.

— Развѣ вы не видѣли матери? Ее старухи вели. Она кормилица въ бѣдномъ домѣ и только прикидывается убитой горемъ,—стыдно вѣдь ничего не показывать. Сама же—вотъ какъ довольна.

Женщина быстро и краснорѣчиво провела по горлу рукой—такъ именно, по ея мнѣнію, эта кормилица была довольна смертью ребенка—и прибавила:

— Вѣроятно, теперь въ душѣ жалѣть, что это раньше не случилось. Не платила бы за него столько мѣсяцевъ и имѣла бы больше денегъ.

— Понимаю,—подмигнула Гитель,—это старья исторія. Теперь же и сезонъ смерти. Сколько она платила за ребенка?

— Какой сезонъ!—выѣшалась другая женщина. —Сезонъ бываетъ весной. Весной приходите сюда, такъ у васъ волосы на головѣ стануть. Даже воздухъ тогда портится отъ мертвыхъ дѣтей, такъ ихъ много бываетъ. Въ особенности умираютъ выкормки. И пашинъ мы съ трудомъ оберегаемъ, но тѣ падаютъ, какъ мухи. Право, здѣсь нисколько не трудно палачомъ сдѣлаться.

— Перестаньте рассказывать объ этомъ!—съ ужасомъ возмолвила Ита,—кровь стынетъ въ жилахъ. Пойдемъ, Гитель.

И она двинулась, а Гитель сказала:

— Гдѣ тутъ Мирель живетъ?

— Мирель?—переспросила первая.—Но это у нея и умеръ ребенокъ, котораго только что вынесли. Вы хо-

тите ей отдать ребенка? Она хорошая женщина. Идите дальше—пятая дверь направо.

Указывая рукой, женщина проводила их до квартиры Мирель и пошла къ себѣ. Гитель и Ита зашли въ очень низенькую комнату, въ которой нельзя было держаться прямо. Полъ въ ней былъ земляной, покрытый рогожей, и пахло отъ него дурнымъ запахомъ глины и помета. За столомъ сидѣла женщина и пила чай. Двое дѣтей играли въ ямки, которыя тутъ же подлѣ дверей и вырыли. При видѣ двухъ незнакомыхъ женщинъ съ дѣтьми на рукахъ, пившая чай, не выпуская изъ рукъ блюдечка, вмѣсто привѣтствія, сказала:

— Видѣли вы такое несчастье? Въ первый разъ случается, чтобы у меня ребенокъ умеръ. Въ первый разъ, — какъ я чай пью. Теперь же сижу и думаю — почему онъ умеръ? Вѣдь я его лучше родного любила. Дѣтей у меня нѣтъ, — вотъ эти, что видите, сестры моей, а мужъ мой чернорабочій. Я, не какъ другія, у которыхъ есть дѣти, и которыя сами работаютъ. Я живу хозяйкой, скромно, тихо, всегда вскармливаю двухъ дѣтей и смотрю за ними, какъ за глазами.

— Отчего же все-таки онъ умеръ? — съ улыбкой спросила Гитель, зная наизусть подобнаго рода самовосхваленія.

— Почему онъ умеръ? Сядьте, вамъ трудно стоять. Почему же другой у меня не умеръ? Вы задасте странные вопросы. Какая мнѣ выгода отъ его смерти? Пусть бы жилъ. Возьму же я другого, какая тутъ для меня разница?

— Это такъ. — произнесла озадаченная Гитель, не найдясь, что отвѣтить.

— Я всегда это говорю имъ. Зачѣмъ приставать ко мнѣ, когда ребенокъ умеръ? Мнѣ еще труднѣе каждый разъ возиться съ новымъ, котораго нужно приучать къ себѣ. Мѣсяца три тому назадъ у меня умерла дѣвочка...

— Какъ умерла?—вдругъ охладѣла къ ней Ита. — Вы вѣдь сказали, что у васъ только этотъ умеръ.

— Развѣ я сказала? Не можетъ быть. Значить я ошиблась. Три мѣсяца тому назадъ у меня умерла дѣвочка. Мать ея, получавшая 12 рублей, тоже задала мнѣ этотъ вопросъ и даже не другими словами. Вѣдь я съ ней чуть не подралась. Хоть бы съ жаромъ или со слезами спросила меня. Нѣтъ, чтобы уколоть только. Ей такъ же жалко было этой дѣвочки, какъ вотъ этимъ дѣтямъ. Наоборотъ, теперь ей можно будетъ давать больше денегъ своему любовнику на шарлатанство.

— Сколько вы берете въ мѣсяцъ?—спросила Гитель. — Покажите мнѣ другого.

— Вотъ это другое дѣло. Нужно говорить живыя слова, а не задавать глупыхъ вопросовъ. Сейчасъ покажу вамъ.

Она встала и пошла въ конецъ комнаты къ задней стѣнкѣ. Тамъ она распахнула кусокъ красной матеріи, спускавшейся съ потолка до пола и скрывавшей кровать, и изъ темноты явственно вдругъ раздалось чавканье. Когда Ита и Гитель ближе присмотрѣлись, то увидѣли въ кровати „что-то“ неподвижное, державшее въ рукѣ тряпку, которую оно, повидимому, и жевало.

— Это ребенокъ?—спросила Ита. — Отчего же вы его держите въ темнотѣ? Вѣдь онъ ослѣпнуть можетъ. Что это онъ ѣстъ?

— Меня не нужно учить, гдѣ держать ребенка. Гдѣ держу, тамъ ему и хорошо. Повѣрьте, онъ бы не молчалъ. Кормлю же его солдатскимъ хлѣбомъ. Я всѣхъ дѣтей такъ вырастила. Беру мякоть этого хлѣба, обсыпаю его толченымъ сахаромъ, связываю тряпкой и обливаю теплой водой. Ребенокъ всегда имѣетъ, что поѣсть, и цѣлый день ведетъ себя, какъ голубь. Повѣрьте, если солдаты здоровѣютъ отъ этого хлѣба, то дѣтямъ онъ въ тысячу разъ полезнѣе.

— Ну, а молоко?—выѣшалась Гитель.

— Даю понемногу и молока,—послышала Мирель,—но увѣряю васъ, даю противъ совѣсти, изъ глупаго предразсудка. Что такое молоко, скажите мнѣ? Я вамъ отвѣчу. Молоко—это бѣлая вода. Люди глупы, и я глупа. Хотите бѣтую воду,—пожалуйста—вотъ бѣлая вода. Но все-таки знаю, что солдатскій хлѣбъ спасеніе для дѣтей. Смотрите, какъ она сосетъ: вѣдь у нея въ губахъ ужасная сила. Она изъ вашей кожи кровь высосетъ, а вы не высосете. Хотите ее посмотреть?

Она живо вытащила его, пригладила, оправила, и предъ обѣими жепщинами предсталъ форменный уродецъ, заморышекъ, въ которомъ едва было 7—8 фунтовъ вѣса. Дѣвочка походила лицомъ на угрюмую, печальную старушечку, а общій видъ ея напоминалъ каррикутуру изъ линій; ручки—двѣ очень длинныя линіи, ножки—двѣ линіи, и тѣло—линія посрединѣ. Вѣки ея, скованные засохшимъ гноемъ, не раскрывались, и видно было, какъ она ворочаетъ глазами яблоками, обезпокоенная свѣтомъ дня.

— Нравится она вамъ?—спросила Мирель.—Правда хорошенькая, хотя и худенькая. Вотъ глаза ея меня безпокоятъ. На-дняхъ пойду съ ней къ одной женщицѣ, которая хорошо глаза лѣчитъ. Дѣвочкѣ и мать не нужна. Ей всего 6 мѣсяцевъ, а ведетъ себя, какъ взрослая. Я ее очень люблю. Подождите, я ей раскрою глаза, и вы увидите, какая она хорошенькая.

Она быстро вытерла тряпочкой глаза у дѣвочки и, смочивъ языкомъ вѣки, ловко протѣзала имъ во внутрь и раскрыла.

— Красива, правда?—произнесла Мирель, обращаясь къ Гитель.—А теперь потанцуй немножко, пусть гости увидятъ, какая ты вселенькая.

Она подбросила ее, но бѣдный заморышекъ, согнувшись вдвое, припалъ къ ея плечу и застоналъ.

— Она хочетъ спать,—объяснила Мирель,—бѣдная, какъ она меня любитъ. Не буду мучить тебя, нѣтъ, нѣтъ.

Положивъ ребенка и сунувъ ему тряпку, она вернулась, говоря:

— И меня еще спрашиваютъ, почему ребенокъ умираетъ, да, осмѣливаются спрашивать, хотя за мои заботы и любовь платятъ всего 6 рублей въ мѣсяцъ. Развѣ я не ангелъ послѣ этого?

Гитель уже готова была согласиться, какъ вошли двѣ кормилицы, съ которыми онѣ утромъ встрѣтились. Тѣ удивились, что нашли ихъ здѣсь, и разговоръ временно перешелъ на другія темы. Мирель, почувавъ спросъ, сейчасъ же перемѣнила фронтъ и договорилась до того, что рѣшительно, безъ уступокъ, запросила 8 рублей въ мѣсяцъ.

— Зимой,—философствовала она на замѣчаніе Гитель,—другіе разговоры. Шесть рублей беру, лѣтомъ. Но зимой даже у родной дочери не взяла бы меньше 8 рублей. Развѣ вы хотите, чтобы мой мужъ, который съ такимъ трудомъ зарабатываетъ, дѣлился съ вашими дѣтьми своими грошами? Нужно вѣдь быть звѣремъ, чтобы этого желать.

Торгъ сталъ, наконецъ, опредѣленнѣе. Постороннія темы были оставлены, и перешли прямо къ войнѣ; боролись изъ-за каждой копейки, вычисляли стоимость всего, что должно быть истреблено ребенкомъ за мѣсяцъ, но Мирель держалась на своемъ. Споръ разгорался: конкурентки препирались между собой чуть не до брани, и послѣ получасовой борьбы, со своими и съ Мирель, Гитель торжествовала побѣду, предложивъ наивысшую сумму, то-есть семь рублей. Ита же не торговалась и не выѣшивалась, испуганная и утраченная тѣмъ, что видѣла, тѣмъ, что предвидѣла, тайно мечтая найти хоть подобіе чего-нибудь, что могло бы ее удовлетворить.

Когда онѣ, наконецъ, ушли оттуда, Гитель съ сіяющимъ видомъ сказала Игѣ:

— Вы не знаете, какъ я счастлива. Это драгоцѣн-



нѣбшная женщина. Если бы хотя половина изъ нихъ были, какъ Мирель, то мы могли бы совершенно спокойно отдавать своихъ дѣтей.

— Не знаю, что вы нашли хорошаго,—возразила очень холодно Ита,—черезъ 3—4 мѣсяца вашъ мальчикъ умретъ у нея.

— Можетъ быть, черезъ шесть,—подхватила Гигель.—откуда вы знаете? Но хоть шесть мѣсяцевъ я буду матерью, и за это спасибо. Я вѣдь еще не совсѣмъ озвѣрѣла, какъ вамъ кажется. Вы думаете, что мнѣ такъ ужъ непріятно быть матерью? Вы думаете, что я недостаточно счастлива, когда имѣю заботы о своемъ ребенкѣ? Ошибаетесь, Ита. Вѣдь я отчасти и кормлю чужого ребенка, чтобы заработать для своего. Я расцвѣтаю, когда приношу ему подарочки, сахаръ, платица, все, что успѣваю взять у моей хозяйки. Думаете, что мнѣ не въ радость тогда жизнь? Я, конечно, знаю, что Мирель не все ему даетъ, но что-нибудь даетъ все-таки, а платице я навѣрно на моемъ мальчикѣ увижу. И есть у меня для чего жить нѣсколько мѣсяцевъ. Больше бы я и сама не хотѣла,—не могу вѣдь я,—куда мнѣ еще дѣтей имѣть на плечахъ? А у другой бы онъ и два-три мѣсяца не выжилъ. Я очень счастлива теперь, Ита.

— Не можетъ быть,—серьезно сказала Ита,—чтобы я сдѣлалась такой же, какъ вы.

— Я не сержусь на васъ. Ита, вы вѣдь не хотите меня обидѣть. Но и я не виновата, увѣряю васъ. Въ этой каторжной жизни еще чѣмъ ни станешь. Только упади разъ. Что вы скажете человѣку, который не можетъ работать, потому что ему отрѣзали руку? А у меня вѣдь и руки, и ноги отрѣзаны, чтобы воспитать ребенка. Вамъ это еще непонятно, потому что вы начинаете только. Но и вы такой же станете. Если плотнику изъ дерева нужно сдѣлать столъ, то выйдетъ столъ, а не шкафъ. Вспомните мое слово. Здѣсь выкрутиться нельзя.

Онѣ опять, теперь уже для Иты, вошли въ какой-то дворъ, потомъ въ другой, и подъ рядъ въ нѣсколькихъ домахъ находили двери запертыми на замокъ, и изъ этихъ пустынныхъ комнатъ вырывались ужасающіе вопли одного или двоихъ дѣтей, оставленныхъ на произволъ судьбы хозяйками, ушедшими по своимъ дѣламъ, и вопли эти неслись, какъ бы въ пустынь, не трогая и не занимая ничьего вниманія. Если же онѣ находили двери открытыми, то входили въ комнаты, гдѣ дѣти находились подъ призоромъ собаки или кошки, которыя лизали ихъ струпья и раны, а сами дѣти, уставши кричать и хрипѣть, начкались въ отбросахъ своихъ и лизали свои руки, вонючія и грязныя. Когда же онѣ находили человѣка при нихъ, то картина нисколько не мѣнялась и казалась еще ужаснѣе въ присутствіи надсмотрщицъ.

У Иты были такія минуты, что она хотѣла кричать, пасть передъ кѣмъ-нибудь на колѣни, умереть.

— Что же это такое,—воскликала она,—мы вѣдь люди, мы вѣдь тоже люди! За что же намъ это, за какія преступленія, Гитель? Мы грѣшили, но дѣти чѣмъ виноваты? Зачѣмъ столько страданій? О, пусть меня поведутъ на эшафотъ, если я еще разъ забеременѣю, если я еще одинъ разъ сдѣлаюсь матерью! Если бы хоть кто-нибудь намъ показалъ, что здѣсь дѣлается, если бы насъ, несчастныхъ глупыхъ дѣвушекъ, заранѣе приводили сюда и показывали, что ожидаетъ нашихъ дѣтей!

— Привыкнете,—хладнокровно отвѣтила ей Гитель.— Когда я второго ребенка должна была отдать, то тоже такъ кричала, можетъ быть, еще больше вашего кричала, но смирилась. Когда живешь тамъ, въ большомъ городѣ, вдали отъ этого кладбища, то обо всемъ забываешь и хочешь жить и любить, и рожать. Такъ оно устроено. И у васъ это выйдетъ изъ головы, какъ только вы увидите отсюда. Вы оставите ребенка здѣсь и хотъ

крѣпко поплачете въ первую почь, но заботы развлекуть васъ. Даромъ денегъ вамъ платить не станутъ. Скажу вамъ больше. Сдѣлается такъ, что вы привяжетесь къ чужому ребенку, котораго будете кормить, а къ своему станете холоднѣе. Это такъ же вѣрно, какъ то, что теперь падаетъ снѣгъ.

— Ахъ, клянусь, клянусь вамъ, Гитель, что вотъ этого не будетъ. Не будетъ этого, Гитель! Я вырву сердце свое, если оно измѣнитъ моему ребенку. Клянусь вамъ, Гитель!..

Онѣ пошли шибче и опять стали заходить въ дома. Картины мало мѣнялись. Вездѣ грозный богъ наказанія и мщенія проявлялся въ одинаковыхъ формахъ. Полу-сгнившія лица, искривленныя тѣла, загаженные глаза, тщедушность, маловѣскость и миниатюрность младенцевъ, жалобы и вопли дѣтскихъ ртовъ, голодъ, холодъ и грязь, и полнѣйшее равнодушіе людей, --- всюду и вездѣ было одно и то же. А Ита все искала и искала, чему-то вѣруя, на что-то надѣясь, не допуская, что и ея ребенка постигнетъ такая же участь..

Къ вечеру она начала сдаваться. Вернуться къ прошлому уже не было возможности. Не того она боялась, что дома ее ожидали побои Михеля, можетъ быть, даже смерть ея и ребенка отъ его руки или отъ голода. Не того она боялась. Но, чтобы пойти домой, надо было быть готовой пойти на улицу продавать себя, а для этой жертвы еще не было мужества. И все въ ней—и душа ея, крѣпкая и непокорная, и стыдливое, но тоже непокорное тѣло, — на это не сдавалось. Въ сердцѣ все еще мелькала надежда, что хорошей платой, лаской, мольбой она можетъ купить ту каплю обезпеченности ребенку, на которую Ита уже соглашалась. Жертва, наконецъ, была принесена.

Условившись съ женщиной за 8 руб. въ мѣсяцъ, она долго и много говорила съ ней, объясняла и умоляла, и чуть не цѣловала ей руки, чтобы та поберегла

ея мальчика. Потомъ она еще дольше прощалась со своимъ ребенкомъ и плакала надъ нимъ, какъ надъ покойникомъ. Мысленно она жадно просила его простить еѣ и клялась ему, что не оставитъ его, и опять цѣловала, всхлипывала, какъ потерянная, и чуть съ ума не сошла, когда подошло время уходить. Двадцать разъ она уходила, возвращалась, опять плакала, клялась, цѣловала и была ужасно жалка со своимъ краснымъ и распухшимъ отъ слезъ лицомъ и растеряннымъ видомъ. Очень поздно она, наконецъ, ушла отсюда, унося истомляющую, удесятеренную любовь въ сердцѣ и безконечное отчаяніе. Когда она явилась къ своимъ хозяевамъ, то получила выговоръ за опозданіе. Потомъ приняла ванну и вступила въ свои новыя обязанности.

Какъ и предсказала Гитель, первыя заботы о томъ, чтобы хорошо и удобно приспособиться къ новой жизни, которая требовала у свѣжаго, неопытнаго челоуѣка полной отдачи себя, совершенно поглотили Иту. Не зная, какъ держать себя въ новой роли, она расходовала массу силъ и энергіи, чтобы ее не заподозрили въ нелюбви и небрежности къ ребенку, котораго она кормила; старалась всюду и вездѣ поспѣть, чтобы не упрекали ее въ лѣнтяиствѣ, и на первыхъ порахъ дрожала предъ своими господами такъ же, какъ предъ Михелемъ, когда онъ бывалъ въ гнѣвѣ. Съ утра до ночи она носилась по дому, помогая въ свободное время горничной, кухаркѣ, или занималась постирушкой дѣтскихъ пеленокъ или шитьемъ дѣтскихъ платьицъ вмѣстѣ съ хозяйкой и не сидѣла ни одной свободной минуты, все благодаря тому, что думала, что такъ и нужно поступать. Но въ первое время, когда она носилась и бѣгала, и работала, какая-то острая и ненавистная мысль держалась въ ней, какъ бы прилѣпилась къ

мозгу, и не покидала ее ни на мигъ, хотя она не имѣла ни времени, ни даже желанія внимательно продумать ее. Что-то болѣло у нея, что-то мучило, что-то надоѣдливо требовало, а Ита не сдавалась и откладывала минуту сведенія счетовъ съ собой со дня на день. Какъ-то мимоходомъ она узнала, что Этель служить въ этомъ же домѣ, въ первомъ этажѣ, у ходатая по дѣламъ, но, погруженная въ свою новую жизнь, она не толкнулась даже подробно потолковать съ ней и тоже говорила себѣ, что все это будетъ потомъ, позже какъ-нибудь, когда все уладится. Настоящая работа, тревожная и изнурительная, начиналась у нея съ ночи, когда она оставалась съ ребенкомъ съ глаза на глаза. Ита хотя и привыкла со своимъ ребенкомъ къ почному бдѣнію, къ прерыванію лучшихъ минутъ сна, къ необходимости пѣть, ходить, укачивать, когда ни одинъ мускулъ не хотѣлъ подчиняться, но то острое и ненавистное, что не покидало ее, вмѣшивалось всюду и не давало забыться въ работѣ. Каждый шагъ былъ какъ бы хожденіе по ножамъ, ибо вспоминалось, что это для чужого, и каждый ея звукъ, улыбка, искренній поцѣлуй, нѣжное объятіе—казались рядомъ измѣнъ своему собственному, который, навѣрное, гдѣ-то въ эту минуту страдалъ. Мученіе же заключалось не въ ясномъ сознаніи, что она отдаетъ всѣ свои силы, ласку, любовь чужому, а въ этомъ неопредѣленномъ и ненавистномъ, которое пыло въ душѣ тянущей тяжелой болью, какъ поестъ зубъ,—не сильно, но надоѣдливо и непрестанно. И отсюда уже установились ея новыя отношенія къ Михелю, начавшіяся съ перваго дня ея службы. Онъ уже два раза приходилъ къ ней, но она никоимъ образомъ не могла убѣдить себя свидѣться съ нимъ, хотя знала, что сердить его и можетъ довести до крайности. Но не могла она поступить иначе, даже зная и боясь его. Чувство острой и неопредѣленной ненависти, стоявшее въ ней, ярко разгоралось и обрушивалось

вмѣстѣ съ негодованіемъ противъ него, когда онъ являлся и чрезъ посредство мальчика-лавочника давалъ знать о своемъ существованіи.

Ее не обманывали тѣ трогательныя слова, которыя, являясь въ чистомъ оголенномъ видѣ въ устахъ его посланника, только раскрывали предъ нею алчность Михеля. Она знала, что приводитъ его не любовь къ ней, не любовь къ ихъ ребенку, а нужда въ ея грошахъ, въ этихъ тяжелыхъ грошахъ, святость которыхъ онъ такъ же не пожалѣетъ, какъ не пожалѣлъ ни ее, ни ребенка, и уйдутъ они въ тѣ же трущобы, на развлеченія, бывшія для него дороже жизни. Она отказала ему въ свиданіи и въ другой разъ, хотя Михель передалъ чрезъ мальчика, что ворвется въ домъ и исколотитъ ее до смерти...

Но уже шла вторая недѣля ея службы. Душевная боль, происходившая отъ сознанія, что и силы, и здоровье, и любовь отдапы ею чужому ребенку, не совершенно, но все-таки утихала подъ вліяніемъ будничной жизни, безпрестанно требовавшей вниманія.

Тѣ странныя и возвышавшія ее чувства, когда, покоренная высшей любовью и состраданіемъ, она пожалѣла чужого ребенка, тянувшагося къ ней съ такой довѣрчивостью и трогательною привязанностью, точно она была ему матерью,—тѣ чувства тоже уже прошли, и долгій гнетъ своей родной боли понемногу начиналъ одолевать ее. Сидя подлѣ ребенка, она находила нѣкоторое облегченіе въ слезахъ, которыя нужно было проливать такъ, чтобы никто не замѣтилъ, и тихо выплакивала свое горе предъ единственнымъ свидѣтелемъ—ребенкомъ, бывшимъ, по ея мнѣнію, главнымъ виновникомъ ея несчастія. Но она, даже желая, не могла уже обвинять и проклинять его, такъ какъ нѣчто болѣе сильное въ ней вытравливало ея ненависть къ нему. И это болѣе сильное были тѣ несовершенныя еще чувства любви къ нему, которыя, помимо ея воли, зарождались

въ ней и складывали, и связывали интересы ея, чужой женщины, и ребенка, котораго она не родила.

Отъ этого полусознанія приходила новая боль, отъ которой она точно отмахивалась внутренно. Не алая отъ природы, скорѣе съ сердцемъ, готовымъ посочувствовать, и руками, готовыми помочь, она ревновала себя каждый разъ, когда позволяла сдѣлать что-нибудь лишнее, но искреннее, по отношенію къ этому чужому. Вездѣ и во всемъ ее преслѣдовалъ собственный мальчикъ и первенствовалъ въ ея мысляхъ, какъ невинная жертва, которую погубили ради счастья и довольства маленькаго барченка, одареннаго всѣми благами жизни. Ея разсудокъ протестовалъ противъ чужого, но сердце становилось на его сторону, и отъ этой раздвоенности рождался страхъ одиночества, страхъ оставаться съ глазу на глазъ со своей давящей тяжестью. Постепенно она начинала жаждалъ сочувствія, желать души, въ которую можно было бы перелить переполнившія ея горечь и страданія. Теперь она уже не особенно возмущалась Михелемъ, и все то дурное, что казалось ей безчеловѣчнымъ въ первые дни службы, оправдывалось легко и безъ усилія, и слова, и мысли прощенія приходили такъ быстро, будто вся голова ея была полна ими, и ничего другого въ ней никогда не жило. По почамъ, урвавъ минуту, она думала только о немъ, и ей казалось, что все счастье, о которомъ она мечтала, сразу явится, когда она только положитъ свою голову ему на грудь и хорошо выплачется. Днемъ она не пропускала ни одной минуты изъ часа, чтобы не подумать о немъ, не отдаваться сладкой надеждѣ, что онъ сейчасъ придетъ, что, если не она даже, то ея деньги, какъ магнитъ, притянутъ его, какъ далеко бы онъ ни былъ отъ нея. И такъ она подвинутила себя, что когда онъ, наконецъ, появился (это было за два дня до того, какъ должны были ей принести ея собственнаго мальчика), она, какъ помѣшанная, едва устроивъ свою от-

лучку, полетѣла къ нему. Дворъ былъ занесенъ снѣгомъ, и даже въ подѣвѣдѣ, гдѣ ждалъ Михель, лежали сухія, какъ песокъ, кучи его. Ита издала узнала Михеля, по его привычкѣ стоять, засунувъ руки въ карманы. Она быстро пошла къ нему, борясь съ холоднымъ сквознымъ вѣтромъ, бушевавшимъ здѣсь. Уже темнѣло, и на улицѣ не видно было прохожихъ. Гайне подошла къ нему съ переполненнымъ сердцемъ, не зная отъ волненія, что сказать, а онъ продолжалъ молча стоять, разставивъ ноги и спрятавъ руки.

— Присядемъ,—шепнула она, устраиваясь на дворничкой скамьѣ.

Онъ сѣлъ рядомъ съ ней, и по тому, какъ онъ сѣлъ, она поняла, что онъ страшно золъ на нее. Но она чувствовала въ себѣ такой запасъ хорошихъ чувствъ, что несколько не обезпокоилась.

— Почему ты не выходила?—спросилъ онъ сурово.— Если ты вкусно и много жрешь тамъ, то вѣдь я не сытъ отъ того. Такъ долго продолжаться не будетъ—знай это.

Ита на мигъ подумала, какъ она, въ самомъ дѣлѣ, хорошо ѣсть, и, несмотря на то, что отъ его рѣзкаго тона вдругъ остыла къ нему, искренно пожалѣла его.

— Я этого не думаю,—возразила она,—и вѣрь мнѣ, Михель, что каждый кусокъ я обливаю слезами. Не потому только,—поспѣшила она прибавить,—что ты не ѣшь, какъ я,—нѣтъ, я какъ-то разомъ оглядываю всю нашу жизнь и вижу, какъ оно скверно и ужасно у насъ вышло.

— Это слишкомъ длинно и интересуешь меня, какъ снѣгъ. Можешь ѣсть даже столько, чтобы задохнуться, лишь бы я что-нибудь выигралъ отъ этого. Если хочешь сладко жить, надо дѣлиться.

Ита все больше охладѣвала къ нему и не понимала, какъ она могла забыть характеръ Михеля, какъ она могла скучать и жалѣть его. Вся ея радость, только



что бушевавшая въ пей, стихла, и осталась пріятная мысль, что сейчасъ она не уйдетъ съ нимъ, а вернется наверхъ человѣкомъ, хотя и подневольнымъ, но человѣкомъ, который имѣетъ собственную жизнь.

— Былъ ли ты у ребенка?—попробовала она перемѣнить разговоръ.

— Мнѣ не зачѣмъ къ нему ходить. Если же пойду, то помни, что это не будетъ съ доброй цѣлью. Я не забываю, что онъ изъ моего рта крадетъ восемь рублей.

— Развѣ не отъ тебя я стала беременна!—съ горечью и раздраженіемъ вырвалось у Иты.—Не ты этого хотѣлъ? Чѣмъ же ребенокъ виноватъ? Подумай только, какъ онъ несчастенъ. Развѣ тамъ его могутъ пожалѣть? Развѣ та женщина пролила надъ нимъ хоть капельку крови? Вспомни, какъ онъ уже привыкъ было къ тебѣ и ко мнѣ, какъ любилъ насъ. Можешь ли ты желать мотать его деньги!

— Хорошо, хорошо, по все-таки можно было найти для него женщину и за пять рублей. Но ты такая безтолковая, что тебѣ ничего нельзя довѣрить. Какъ могла ты согласиться стать за 12 рублей? Какъ ты рѣшилась платить 8 рублей за ребенка? Что ты обо мнѣ тогда думала.

— Но я вѣдь тебѣ отдала все, что было въ кошелькѣ,—ты прямо, Михель, безъ совѣсти.

— Еще бы не отдала,—я давно бы уже запряталъ ножъ въ твою боку!—сердито отвѣтилъ онъ.—И еще скажу тебѣ, перестань меня раздражать. Дай мнѣ денегъ.

— Богъ съ тобой, Михель, ты съ ума сошелъ. Откуда же у меня деньги? Я вѣдь не ворую и фальшивыхъ не дѣлаю. Я отдала все, что имѣла.

— Много ты дала. Хоть бы не говорила. Два рубля, тоже деньги.

— Конечно, деньги, самыя дорогія, какія только могутъ быть. Ты забываешь, какъ онъ мнѣ достался.

Эти деньги и въ водѣ не потонуть, а ты ихъ выбросилъ на карты.

— Это не мое дѣло—не хочу знать твоихъ дѣлъ,—мнѣ нужны деньги. За 12 рублей служить тебѣ не позволю. Можешь у меня умирать, чѣмъ получать такіе гроши. Если же не потребуешь прибавки, распрощайся со сладкимъ житьемъ. А къ завтрашнему дню, чтобы было приготовлено три рубля.

— Мнѣ негдѣ взять,—произнесла вдругъ Ита тихимъ голосомъ, чувствуя, что отъ страха у нея холодъ пробѣгаетъ по спинѣ,—я за мѣсяцъ взяла уже и расплатилась.

Она внезапно свалилась со скамьи отъ удара въ бокъ, и шаль слетѣла съ нея, когда она сдѣлала усиліе встать.

— Перестань,—шопотомъ вскрикнула она, схвативъ его за руки,—ты вѣдь не дома! Могутъ увидѣть. За чѣмъ ты мучишь меня? Развѣ я хочу отказать тебѣ? Я бы даже душу мою отдала, лишь бы разстаться съ тобой, разбойникъ!

— Еще получишь, если будешь разговаривать. Завтра я приду за деньгами.

Ита уже стояла, готовая убѣжать при первомъ его движеніи.

— Приду,—продолжалъ онъ.—Можешь украсть, если негдѣ взять, и это будетъ лучше всего. А не достанешь, то такъ поколочу тебя, что мѣсяцъ лежать будешь. Гдѣ живетъ мальчикъ?

— Вотъ этого, Михель, я не скажу тебѣ,—я-то все вытерплю, но ребенка тебѣ не дамъ.—Она запнулась.—Я думаю, что если ты зайдешь дня черезъ 2—3, я, можетъ быть, достану деньги. Или возьму впередъ, или займу у Гитель.

— Нѣтъ, завтра.

— Вотъ ты опять заупрямился, Михель. Ты такой странный человѣкъ. Вѣроятно, знаю же я, что на завтра

не достану, развѣ мнѣ не все равно, разъ я даю тебѣ? Приходи, Михель, черезъ три дня.

— Ну, хорошо,—смягчился онъ,—это совсѣмъ другіе разговоры. Ты всегда должна разсердить меня. Я вѣдь вспыльчивъ и загораюсь, какъ порохъ. Крѣпко тебѣ бокъ болитъ? Нѣтъ ли у тебя хоть двадцати копеекъ, я еще съ утра не ѣлъ.

Она знала, что онъ лжетъ, и теперь особенно противны казались его заботы о ней.

— У меня есть 10 копеекъ,—сдерживаясь, сказала она,—и я тебѣ могу ихъ дать. Вотъ возьми.—И сейчас же смягчилась и прибавила.—Если бы ты хотѣлъ быть человѣкомъ, Михель, то у насъ еще была бы жизнь. Только бы ты началъ работать...

— Не говори глупостей!—грубо оборвалъ онъ ее,—не навизи я твою работу. Это дѣло дураковъ; умный же безъ работы живетъ припѣваючи. Прощай—черезъ три дня приду. Увидишь ребенка, поцѣлуй его.

При словѣ ребенокъ, она не выдержала и заплакала. Тутъ близко какъ будто лежало ея счастье, и какъ невозможно было его имѣть. Тотъ же Михель, но только съ другимъ характеромъ,—и все могло бы переѣнниться. И какъ будто былъ человѣкъ подлѣ нея, и не было его. Она плакала, отвернувшись отъ Михеля, чтобы не дать ему посмѣяться ея слезамъ, но сердце ея еще больше окаменѣвало. Не было и признака того разрѣшенія накопившейся боли, о которомъ она такъ мечтала, въ ожиданіи мужа.

Они разстались безъ словъ послѣ этого перваго сквернаго свиданія, а Ита, поднявшись къ себѣ, забыла обо всемъ, что ее волновало, долго ходила по комнатѣ и обдумывала, у кого ей признаться денегъ.

— Попробую,—проговорила она, ложась, у Этель; если не у нея, можетъ быть, Гитель займетъ или лавочница. Что за наказаніе съ нимъ, Боже мой!

На слѣдующій день, улучивъ первую свободную минутку, Ита спустилась внизъ къ Этель. Она нарочно торопилась раннимъ утромъ покончить съ этимъ дѣломъ, такъ какъ сегодня былъ день постирушки, а завтра она хотѣла на свободѣ подождать Эстеръ, которая должна была принести ей мальчика. Она забѣжала въ кухню и нашла Этель, пившую чай. Этель сидѣла, разставивъ ноги, и животъ ея сильно выдавался изъ-подъ юбки. Ита, видѣвшая ее мелькомъ раза три, все удивлялась, какъ Этель еще не отправили, когда такъ ясно бросалась въ глаза ея беременность.

— Они уже знаютъ, — тоже мелькомъ сказала ей однажды Этель. — Это совсѣмъ не мѣшаетъ имъ. Чѣмъ у беременной молоко хуже? Вѣдь теряю только я отъ того, что кормлю двоихъ, — а кому есть дѣло до моего здоровья? Лишь бы ихъ ребенку не вредило.

Теперь Этель уже не скрывалась и свободно и развязно рассказывала всѣмъ и каждому о томъ, какая это пріятная вещь кормить, будучи беременной, и такъ сталъ хорошъ ея аппетитъ и пищевареніе, что если бы она даже дерево съѣла, то оно превратилось бы въ кровь и молоко.

— Что вы такъ рано? — спросила она у Иты, будто съ нею ежедневно встрѣчалась, и прибавила: — какъ вамъ нравится мой сапожникъ?

— А что? — освѣдомилась Ита, — вдругъ забывъ, кто былъ этотъ сапожникъ.

— Вѣдь онъ меня уже домой требуетъ, чтобы его черти унесли. Увѣряю васъ, въ жизни моей я еще такого грубіяна не встрѣчала. Видите ли, онъ скучаетъ безъ меня, чтобы онъ подавился, подлѣ бока я ему нужна, нищему чорту!

Она расхохоталась, ужасно довольная этой глупой шуткой, которую придумала такой грубый человѣкъ. Ита невольно позавидовала ей, изъ вѣжливости поддержала смѣхомъ, но сейчасъ же прибавила озабоченно:

— Я хотѣла васъ попросить о чемъ-то, Этель, не знаю только, сможете ли вы исполнить.

— Что такое?—подозрительно и со скупостью въ голосъ переспросила Этель.—Просьба? Что же это за просьба?

Она налила себѣ чай и разбавила молокомъ.

— Вчера я видѣла своего мужа... — сконфуженно начала Ита.

— Я вамъ не завидую,—перебила Этель.

— И имѣла глупость обѣщать ему три рубля, а мѣсяцъ мой только черезъ полторы недѣли. Можетъ быть, вы бы мнѣ признали, если у васъ есть свободные?—окончила Ита, внезапно понявъ, что напрасно просить.

— Три рубля,—съ искреннимъ удивленіемъ отозвалась Этель,—вы не шутите? Когда я видѣла у себя три рубля? Вы просто ребенокъ. Какъ это вамъ въ голову пришло? Если бы у меня было три рубля, я съ вами даже не пожелала бы разговаривать, такъ высоко я бы стала въ своихъ глазахъ.

— Да, да, я знаю, у васъ дѣти,—разстроено поддерживала ее Ита,—но черезъ недѣлю я бы все-таки вамъ вернула деньги.

— Не притворяйтесь глупенькой,—серьезно остановила ее Этель,—вѣдь я начну смотрѣть на васъ, какъ на помѣшанную, ей-Богу. Всего я получала девять рублей, а когда хозяева мои узнали, что я беременна, то такъ этому обрадовались, что сняли рубль съ моего жалованья. Какія же у меня деньги? Пожалуй, если вамъ хочется, чтобы я посмѣялась, то ради васъ сейчасъ же начну. Перестаньте же.

— Я думала... можетъ быть...—skonфузилась Ита.—Что подѣлываетъ вашъ ребенокъ?

— А вашъ? Своего должна была-таки отдать на выкормъ. Мой дуракъ чуть не помѣшался отъ него.

— Своего я еще не видѣла,—завтра увижу. Довольны ли вы своей кормилицей?

— Еще бы, толстѣю отъ этого удовольствія. Вѣдь она, увѣряю васъ, совсѣмъ грабитъ меня. Гдѣ имѣю тряпочку, кусокъ сахара, немножко дровъ или угля, все теперь идетъ къ ней. Теперь она, какъ жена моя. Она, видите ли, кормитъ моего ребенка, ребенка богатой принцессы. Я лопну отъ нея, увѣряю васъ, когда-нибудь лопну. Скажите, пожалуйста. А я не кормлю развѣ? У меня тутъ всѣ жилы дрожать, чтобы мнѣ не отказали, а она изъ-за ничтожнаго кусочка сахара готова бросить моего ребенка. Я говорю ребенка,—но нужно вамъ посмотрѣть на него! Не думаю, чтобы онъ до весны дотянулъ. И откуда эти прыщи у него берутся? У меня нѣтъ прыщей, у дурака моего ихъ нѣтъ, ни у кого изъ нашей семьи не было, а у мальчика моего здороваго мѣста нѣтъ. Даже не знаю, что дѣлать.

— А я еще своего не видѣла; какъ мой-то смотритъ? Слава Богу, завтра, наконецъ, увижу его. Скорѣй бы прошелъ этотъ день. Однако, я у васъ засидѣлась, а мальчикъ, навѣрно, проснулся.

Она ушла съ тяжелымъ сердцемъ, едва рассчитывая уже на Гитель. Откуда у той возмутся деньги? Тоже, навѣрно, уплатила кормилицѣ и нуждается въ копейкѣ. Она пришла наверхъ и занялась ребенкомъ, придумывая предлоги приступить къ барынѣ. Но такъ и не посмѣла и весь день простояла за лоханкой, думая непрерывно о томъ же, какъ бы хорошо устроилось, чтобы у нея вдругъ очутились деньги.

На слѣдующій день вопросъ о деньгахъ былъ вытолкнуть приходомъ ея кормилицы, Эстеръ. Еще когда та стояла за дверью кухни и счищала сѣбѣ съ башмаковъ, Пта съ волненіемъ узнала голосъ своего мальчика, который плакать съ знакомою ей ноткой нетерпѣнія. Она быстро раскрыла дверь, подбѣжала къ нему, вскользь взглянула, но не посмѣла взять его на руки, заслышавъ шагъ своей барыни, зашедшей въ кухню. — Уже галопируя и не говоря ни слова, она повернула

назадъ, побѣжала въ свою комнату, схватила на руки проспавшагося мальчика и поскакала въ кухню, давъ ребенку на ходу грудь. Барыня теперь стояла возлѣ Эстеръ и съ любопытствомъ разглядывала мальчика Иты. Ита оставалась сзади барыни, стыдась и не рѣшаясь подойти къ своему ребенку. Она жадно оглядывала его лицо, его одежду, и совсѣмъ не интересовалась тѣмъ, который лежалъ у ея груди, хотя ему было неудобно оставаться со свѣсившимися внизъ ногами и перехваченнымъ снизу одной ея рукой.

— Какъ ты ребенка держишь!—разсердилась барыня, замѣтивъ небрежность Иты,—этакъ не трудно его и сломать.

Ита спохватилась, покраснѣла и, поправивъ мальчика, съ неестественнымъ жаромъ расцѣловала его, что смягчило барыню.

— Только, пожалуйста, не давай своему груди,—произнесла она выходя,—и не притрогивайся къ нему близко. Ты еще можешь моего заразить. Посмотри, какія у него пятна на лицѣ.

Она знакомъ приказала кухаркѣ присматривать за Итой и вышла, бросивъ еще взглядъ на чужого мальчика.

Ита стояла въ оцѣпенѣніи отъ счастья и не могла двинуться съ мѣста. Всѣ члены ея окаменѣли, и она только любопытнымъ, любящимъ взглядомъ осматривала ребенка. Постепенно наплывъ радости сталъ покидать ее, и она начала разбираться въ деталяхъ. Все держа на рукахъ чужого мальчика, она подошла къ своему и молча прикоснулась къ его щекѣ долгимъ поцѣлуемъ. Слеза капнула на его голову и тихо покатилась между волосами.

— Вы его сегодня не купали, Эстеръ,—тихо произнесла она, быстро сравнивъ между собой обоихъ дѣтей.—Что это онъ такъ похудѣлъ?

Она все болѣе различала перемену въ немъ и боя-

лась признаться, что онъ страшно похудѣлъ, въ то время, какъ почти на ея глазахъ, тотъ, котораго она теперь кормила, наливался и становился полнымъ и гладкимъ, какъ шолкъ.

— Итъ, не купала, — отвѣтила Эстеръ своимъ густымъ и непріятнымъ голосомъ, который теперь поразилъ Иту, — развѣ можно купать ребенка, когда съ нимъ нужно выйти?

— Все-таки можно было ему обмыть лицо, — уступчиво замѣтила Ита, боясь ее разсердить.

— Развѣ я не умыла? У меня никогда ребенокъ не бываетъ грязнымъ. Я его сто разъ на день мою.

Ита ясно видѣла, что Эстеръ лжетъ, но промолчала, думая только о томъ, чтобы расположить ее къ себѣ. Она предложила ей выпить чаю и попросила кухарку вскипятить воду. Та согласилась, обрадовавшись развлеченію, а Ита, передавъ Эстеръ хозяйскаго мальчика, взяла своего, наскоро распеленала его и, стараясь не возбудить въ своей кормилицѣ подозрѣнія, зорко осмотрѣла каждое мѣстечко на его тѣлѣ. Мальчикъ сильно подался за эти двѣ недѣли. Свѣтлая и лоснившаяся прежде кожица, такая пухлая и упругая, уже начинала отвисать въ нѣкоторыхъ мѣстахъ. На рукахъ и ногахъ видѣлись ссадины, и особенно замѣтно это было на колѣняхъ. Слѣды отъ укусовъ блохъ покрывали все тѣло, а грудная доска вверху, подлѣ шен, уже округлялась, какъ бы разбухая отъ какой-то неизвѣстной работы въ костяхъ. Ита притихла. Досаду и отчаяніе при видѣ разрушенія этого маленькаго выхоленаго тѣла теперь смѣнило какое-то другое непріятное чувство, въ которомъ ей страшно было признаться себѣ. Страдая за ребенка, она еще болѣе страстно тосковала по томъ прекрасномъ, чистомъ и здоровомъ мальчикѣ, котораго она уже теперь больше не увидитъ. Развѣ этотъ заморышъ былъ ея ребенкомъ? Грязный, весь въ чтпахъ, похудѣвшій, съ тѣмъ старческимъ выраже-



ніемъ на лицѣ, которое она паходила у всѣхъ выкор-  
мовъ,—онъ, какъ Ита ни насилвала себя,— не возбу-  
ждалъ въ ней ничего, кромѣ скорби и отчаянія.

— Онъ страшно искусанъ,—осторожно рѣшилась она  
произнести,—почему вы допустили?

Кухарка уже дала Эстеръ чаю и, паливъ стаканъ и  
себѣ, присѣла на табуретъ и съ наслажденіемъ слушала.

— Не знаю, почему онъ искусанъ,—отвѣтила Эстеръ,  
пожавъ плечами.—Въ комнатѣ у меня чисто, какъ въ  
замкѣ. Этимъ я уже славлюсь. Но сама, не понимаю,  
откуда у него эти пятна? Вашъ мужъ ничѣмъ не бо-  
лѣлъ?

— Нѣтъ, не болѣлъ. Положите, пожалуйста, ребенка  
и вытяните его, я посмотрю какой больше, — мой или  
хозяйскій. Вѣдь они ровесники.

Эстеръ опять вздернула плечами — это было у нея  
привычкой — а Ита, несмотря на предостереженія ку-  
харки, все-таки сравнила дѣтей и, найдя, что ея — круп-  
нѣе, вдругъ примирилась съ нимъ, и всѣ детали — ху-  
доба, пятна, грязь исчезли, какъ по волшебству, а оста-  
лось одно дорогое сходство, по которому она такъ то-  
милась. Оживившись, она передала кухаркѣ хозяйскаго  
ребенка, попросила ее подержать и, обратившись къ  
Эстеръ, промолвила:

— Посмотримъ, откажется ли онъ отъ этого?

Она присѣла на табуретъ и, дрожа отъ волненія,  
разстегнулась. Эстеръ передала ей мальчика. Ита вздрог-  
нула отъ радостнаго чувства и, полузакрывъ глаза отъ  
блаженства, сунула ребенку грудь и прижала его къ  
себѣ, боясь, чтобы онъ не отвернулъ головы.

— Вы видите, — тихо шепнула она, глупо улыбаясь, —  
онъ узналъ меня, дорогой мой, узналъ свою мать. Кушай,  
милый, покормись у своей матери.

Женщины степенно разговаривались, сообщая все нуж-  
ное, чтобы стать интересной другъ для друга, а Ита,  
не выѣшиваясь въ ихъ разговоръ, не обращая внима-

нія на то, что кругомъ нея дѣлалось, отдавалась на мигъ вернувшемуся счастьемъ. Она смотрѣла и наслаждалась каждой знакомою гримаской ребенка и нарочно оттягивала грудь, чтобы онъ прижимался, и чтобы было похоже, будто онъ цѣлуетъ ее, такъ ей хотѣлось видѣть выраженіе его чувствъ къ ней, такъ ей хотѣлось понять по нему, что ему хорошо именно съ ней, а не съ тою равнодушною женщиною, которая чужда ему и не жалѣетъ его. Ребенокъ жадно ѣлъ, вперивъ въ нее свои глаза и слѣдилъ за движеніями головы Иты, которая наклоняла ее то вправо, то влево, чтобы лучше его разглядѣть. Время тихо шло, и Итъ, у которой уже стояли слезы въ глазахъ отъ напряженнаго глядѣнія, начало казаться, что отъ ея молока у ребенка опять паливаются щечки, и что онъ становится снова гладкимъ, теплымъ и чистымъ, какимъ былъ тогда, когда еще возбуждалъ удивленіе у всѣхъ. Она перемѣнила грудь и съ радостнымъ чувствомъ, забывъ все тяжелое и скверное, затанъ дыханіе, чтобы не помѣшать ему, слѣдила какъ постепенно образовывался сѣрый палетъ на его глазахъ, какъ постепенно смыкались его вѣки и машинально на мигъ раскрывались, съ цѣлью бросить прощальный взглядъ на нее. Когда онъ уснулъ, она осторожно уложила его и взяла на руки хозяйскаго ребенка. Женщины все разговаривали и какъ бы не могли оторваться отъ наслажденія узнать другъ у друга всѣ новости. Ита отправилась въ свою комнату, достала заготовленный узелокъ и, стараясь выразить на лицѣ своемъ равнодушіе, когда проходила мимо барыни, вернулась въ кухню. При видѣ Иты съ узелкомъ въ рукахъ, Эстеръ немедленно встала и, сдѣлавъ озабоченное лицо, начала собираться. Ита попыталась удержать ее, но та не согласилась, говоря, что дома ждутъ ее дѣти и мужъ, которому нужно приготовить обѣдъ. Отказываясь, она одѣвала ребенка, связывая его туго-па-туго, и смотрѣла на Иту выразительнымъ взглядомъ. Пои-

мавъ ея успокоительный знакъ, она какъ-то особенно молодцовато и весело закончила приготовленія и собиралась выйти. Ита крѣпко расцѣловала ребенка, прежде чѣмъ онъ исчезъ подъ шалью Эстеръ, и, передавъ хозяйскаго ребенка кухаркѣ, которую просила крикнуть, если заслышитъ шаги барыни, пошла проводить кормилицу. Въ подѣздѣ она передала Эстеръ узелокъ, въ которомъ было всего достаточно, между прочимъ, даже и платице для ребенка, и долго и пѣжно умоляла ее, чтобы та сберегла ей мальчика.

— Я, Эстеръ,—произнесла она въ волненіи,—имѣю одну только радость въ жизни. И какъ, Эстеръ, эта радость мала для васъ, такъ она велика для меня. И она, эта радость, въ вашихъ рукахъ. Вы, Эстеръ, теперь все мое, другъ мой, избавитель... Умоляю васъ, поберегите моего ребенка. Будьте вы его матерью, если я не удостоилась этого. Думайте, что онъ вашъ, а я всѣми силами помогу вамъ любить его.

— Вы ребенокъ, — успокоила ее Эстеръ, — я вѣдь этимъ живу. Мой интересъ, чтобы ребенку жилось хорошо.

— Да это такъ, милая Эстеръ, но у меня,—прибавила она робко,—онъ былъ такой полненькій, чистенькій. Я понимаю,—поспѣшно добавила она,—что вамъ, конечно, труднѣе усмотрѣть за нимъ, чѣмъ мнѣ, но все-таки я умоляю васъ, я только умоляю, Эстеръ... И у васъ, Эстеръ, дѣти есть, и у васъ сердце матери. Подождите, у меня, кажется, завалилось пять копеекъ, возьмите ихъ. Это не будетъ въ счетъ, Эстеръ.

— Конечно.—согласилась Эстеръ уступчиво,—трудно, чтобы мальчику было такъ же хорошо, какъ у васъ. Одинъ взглядъ матери въ десять разъ больше значитъ, чѣмъ вся моя работа. Но, увѣряю васъ, что я дѣлаю все, что могу.

— Вотъ, вотъ, больше мнѣ и не нужно. Когда вы придете?

— Недѣли черезъ двѣ, если погода будетъ хорошая, — навѣрно погода будетъ хорошая.

Опять Ита стала цѣловать ребенка, но раздавшійся сигналъ заставилъ ее поторопиться. Она оборвала поцѣлуй и убѣжала, крича:

— Смотрите же, Эстеръ, смотрите, я васъ умоляю.

Вернувшись въ кухню, она взяла ребенка и пошла съ нимъ въ свою комнату. Теперь ей было еще горше, чѣмъ прежде, когда мальчика не приносили, и въ первые часы послѣ ухода Эстеръ крѣпко хотѣлось опять очутиться на квартирѣ со своимъ мальчикомъ, который унесъ съ собою частичку ея сердца. И даже Михель не казался страшнымъ, и даже требованіе пойти на улицу меньше пугало. — такъ сильна была тоска по прежнему. И долго ныла и болѣла ея душа, и все мрачнѣе становились мысли, и невыносимо трудно было въ этотъ день играть роль матери передъ чужимъ ребенкомъ, который властно требовалъ своего, — пищи, заботы и любви. О Михелѣ она совсѣмъ забыла и ничего не предпринимала для его удовлетворенія. До него ли ей было? И только вторичный приходъ его, страшный скандалъ, который онъ устроилъ, и полученные побои вернули ее и вывели еще разъ изъ глубины материнскихъ чувствъ и повергли опять въ пучину заботъ, тягостнаго страха и привычныхъ мученій. Вновь поднялась палка, засвистѣла на ея плечахъ и погнала дальше по этой длинной безцѣльной дорогѣ, именуемой жизнью.

Все вошло у Иты Гайне въ обычную колею жизни кормилицы. Новые интересы, отъ которыхъ пельзя было ни уклониться, ни убѣжать, постепенно втянули ее. Наблюдая, какъ внимательно она оберегала ребенка, чтобы онъ не захлебнулся, когда его купали, какъ поспѣшно она старалась удовлетворить его голодъ, какъ нѣжно прижимала его къ груди, когда онъ тянулся и таскался къ ней, признавая въ ней постоянную мать,

нельзя было повѣрить, что еще восемь недѣль назадъ эта самая Гайне клялась не пэмѣнять своему ребенку. Она и сама не замѣтила, какъ это случилось. Вѣчно съ нямъ, и днемъ, и ночью, вѣчно подъ бдительнымъ окомъ хозяйки, требовавшей проявленій любви и вниманія къ ребенку, вѣчно подъ чарами безыскусственной и трогательной привязанности послѣдняго, она незамѣтно всосала въ себя жесты, страхи и любовь настоящей матери. Теперь она безъ угрызеній меньше думала о своемъ собственномъ, и бывали дни, когда о немъ совершенно не вспоминала. Когда Эстеръ приносила его захирѣваго, грязнаго, всегда покрытаго сыпью, она невольно сравнивала его съ тѣмъ, котораго она кормила, и ей правился этотъ чужой, посившій въ своемъ бархатномъ, выхоленномъ тѣлѣ всѣ ея соки, всѣ ея труды и заботу о немъ.

Развѣ не все равно, кто родилъ? приходило ей въ голову. Важна та живая жизнь, которая была вложена въ ребенка, а ея живая жизнь была вложена въ него цѣлкомъ со всѣми заботами и тревогами, и даже вмѣстѣ съ печальми о своемъ мальчикѣ, которому она не могла помочь.

Но если сильная рука неволи отрывала ее отъ своего ребенка, то, въ свою очередь, и онъ отрывался отъ нея, и не желалъ ея признавать, когда на рѣдкихъ свиданіяхъ она пыталась выразить ему свою любовь. И это тоже расхолаживало ея чувства. При первомъ подозрительномъ ея жестѣ, къ величайшей радости Эстеръ, онъ бросался, какъ испуганный звѣрекъ, къ этой послѣдней и кричалъ, и плакалъ, пока мать не оставляла его въ покоѣ. Въ такія минуты Гайне совершенно забывала, что пролила кровь для его рожденія, досадовала на него, — и поневолѣ брала чужого, который ласкался къ ней, и какъ-то безконтрольно думала, что онъ ея собственный. Не даромъ прошло для ея души это извращеніе материнскихъ чувствъ. Въ

первыя недѣли она еще боролась, ненавидѣла себя и напрягала сердце, трогая его размышленіями, стараясь любить и жалѣть несчастнаго. Но голосъ жизни былъ сильнѣе голоса природы, и, какъ скрывающійся изъ виду корабль, все-таки скрывается, унося съ собою дорогое существо, какъ бы глазъ ни мучился и ни напрягался, чтобы различить еще движеніе платка, такъ и изъ ея сердца исчезала любовь къ собственному ребенку, хотя она мучилась, страдала и плакала, чтобы этого не случилось. Она даже попрежнему съ нетерпѣніемъ поджидала день свиданія съ нимъ, заготовляла все, что пужно было передать Эстеръ, но свиданіе было уже не тѣмъ и напоминало свиданіе въ тюрьмѣ, когда, встрѣчаясь въ искусственныхъ условіяхъ, не знаешь, что сказать, о чемъ спросить, на что обратить вниманіе, и съ тоской ждешь, чтобы пытка скорѣе окончилась. Иногда случалось, что она задумывалась о прежнихъ мечтаніяхъ и надеждахъ. Тогда вспыхивала старая любовь, совѣсть ударяла по наболѣвшимъ мѣстамъ, и ей казалось, что только одного дня жизни со своимъ мальчикомъ было бы достаточно, чтобы явились прежнія чувства къ нему. Но, зная, что этого дня жизни никто не дастъ ей, какъ бы она ни умоляла, она, не помня себя отъ досады, не боясь и не стѣсняясь, набрасывалась на Эстеръ, будто въ той лежала причина ея несчастья. Она требовала отъ нея отчета въ грязи, болѣзненномъ видѣ, худобѣ мальчика и волновалась и кричала, какъ будто бы была барыней, а Эстеръ у нея служила.

— Не понимаю, не могу понять, Эстеръ, какъ вы не привязались къ ребенку. Вѣдь я бы къ конкѣ, какъ къ родной, привыкла, если бы должна была заботиться о ней. Нѣтъ, непременно, Эстеръ, я уже найму другую женщину; съ вами, я вижу, намъ придется-таки разстаться.

И когда Эстеръ дѣлала ей за эти выходки хорошую

отповѣдь, Гайпе стихала, чувствуя всю фальшь своего положенія, своихъ криковъ, и пенство мечтала о какомъ-нибудь чудѣ, которое разрѣшило бы эти мученія.

Постепенно она опускалась и морально. Жизнь въ теплѣ и довольствѣ, благодаря только тому, что у нея оказалось хорошее молоко, существованіе безъ заботъ о хлѣбѣ и настоящаго труда, невниманіе и недоумѣніе о томъ, какимъ образомъ дѣлается ея сытая жизнь, восхищала и радовала ее. Заглядывая въ будущее, она съ ужасомъ думала о томъ, какъ ей придется перейти на старый режимъ, выкормивъ ребенка. Но успокоеніе приходило скоро, и она все съ большей легкостью останавливалась на мысли о новой беременности, которая впослѣдствіи дастъ возможность жить такъ, чтобы ликованіе желудка не прекращалось. Теперь она не стѣснялась уже какъ раньше и крала безъ смущенія пужное для собственнаго ребенка и для Эстеръ, такъ какъ чувствовала себя незамѣнимой въ домѣ, если бы ее и поймали, и держала себя развязно съ хозяйкой, сердясь и крича на нее, лишь только что-нибудь было не по ней. Въ кухнѣ она образовала нѣчто въ родѣ клуба кормилицъ, и всегда по вечерамъ у нея сидѣло по нѣскольку женщинъ, служившихъ по близости или во дворѣ. Она возобновила и упрочила дружбу съ Гитель, отчасти съ Этель и многими другими и съ наслажденіемъ вѣдалась въ сплетни и тайны, которыя въ этомъ маленькомъ міркѣ были неистощимы. Собственныя дѣти этихъ женщинъ, пропадавшія въ одинопчествѣ и безъ вздоха надъ ними родной души, рѣдко служили темой для разговора, развѣ только что-нибудь выходящее изъ ряда вонъ въ ихъ судьбѣ останавливало вниманіе,—тогда на мигъ омрачались лица, старое человѣческое вспыхивало, и скорбь неслась отъ ихъ разговоровъ, какъ печально забредшій въ домъ духъ раскаянія и печали. То, что дѣти умирали, пріѣлось уху, притупило чувств

такъ же трогало, какъ если бы умирали гдѣ-нибудь въ другомъ неизвѣстномъ мѣрѣ, но когда Гитель рассказывала, что на прошлой недѣлѣ у одной женщины ребенокъ, отданный на вскормленіе, отъ небрежности сгорѣлъ, а у другой подавился пуговицей, то это дѣйствовало, какъ ударъ по головѣ. Какъ ни зачерствѣли сердца въ борьбѣ за жизнь, но и въ нихъ, какъ въ глухомъ, наконецъ разслышавшемъ предостереженіе, начинало что-то шевелиться, и судьба своихъ дѣтей на время становилась преобладающимъ интересомъ. Но стихала тревога, забывалось чужое несчастье, и погруженіе человѣка въ бездну продолжалось своимъ путемъ. Все вошло у Иты въ обычную колею жизни кормилицы. Даже и Михель ее уже не такъ пугалъ, хотя становился все грубѣе и страшнѣе. Извративъ материнство и противъ воли отдалившись отъ своего ребенка, она этимъ шагомъ какъ бы перерубила связь съ своей прежней личностью. Вышло какъ-то такъ, что настоящей любовницей, женщиной, жившей для того, чтобы содержать своего любовника, она сдѣлалась, именно будучи на службѣ. Ей уже не было обидно, что она содержитъ Михеля и должна для него работать. Для кого бы она сберегала деньги? Всѣ стимулы заботы исчезли, растворенные въ спокойной и обезпеченной жизни, и чтобы отъ нихъ не было никакого осадка, нужно было только стараться жить, ни о чемъ не думая. А это легче и удобнѣе всего давалось. Правда, она ссорилась и дралась съ нимъ, когда онъ каждый разъ увеличивалъ свои требованія и откровенно толкалъ ее къ систематическому и правильно организованному воровству (потому что оно было все еще противно ея душѣ), но не въ этомъ заключалась истинная причина ихъ размолвокъ. Какъ-то къ рукъ были и гармонировали со всею ея жизнью эти тайныя сцены, грязныя и безчеловѣчныя, когда онъ ее билъ, а она отбивалась, разминая бродившее въ ней здравіе, какъ-то



къ рукѣ были и эти петрудныя и пріятныя заботы и страхи, и складывалась такая иллюзія близости въ существованіи, что Михель становился ей дорогъ и нуженъ, и она мучилась, когда онъ не приходилъ.

Такъ шли педѣли, мѣсяцы. Кончалась тяжелая зима съ ея вьюгами и морозами, улицы окончательно покрылись грязью, точно природа передъ тѣмъ, какъ распластнуть свое покрывало и показать, какъ она неотразимо прекрасна въ моментъ возрожденія, нарочно почервила всѣ свои краски. Лишь только подулъ вѣстникъ весны—теплый вѣтеръ, Ита начала выходить съ ребенкомъ. Въ первые разы она, подобно узнику, вырвавшемуся на свободу, всѣми порами впитывала въ себя наслажденіе отъ уличной суеты. Не было того уголка въ городѣ, гдѣ бы она ни побывала, въ эти дни упоенія воздухомъ, свѣтомъ, тепломъ. Между прочимъ, она навѣстила нѣсколько разъ своего мальчика, но эти посѣщенія такъ разстраивали ее, такъ жестоко явили сердце, что она поневолѣ начала избѣгать ихъ. Потомъ, пресытившись прогулками въ одиночку, она стала ходить къ нему и заставляла себя просиживать у него часы. Равнодушной она, конечно, не могла оставаться и потихоньку, чтобы не возстановить противъ себя Эстеръ, начала вмешиваться въ жизнь ребенка. Въ первое время она просила позволенія, а потомъ обходилась и безъ него и часто купала его, стараясь держать въ чистотѣ, падоѣдала Эстеръ требованіемъ подкармливать его и такъ попривыкла къ этой новой работѣ, что всяческими хитростями урывала свободные часы и приходила сюда. Близость къ своему ребенку дѣлала свое дѣло и чѣмъ дальше, тѣмъ ярче разгорались въ ней потухшія было привязанность и любовь къ нему. Когда она теперь сравнивала своего и чужого, который бился и плакалъ, сидя на рукахъ у старшей дѣвочки Эстеръ, — она почти не сознавала разницы между ними и чувствовала, что равно любить обоихъ,

и въ сердцѣ ея равно отзывались жалобы одного и другого. Тотъ день жизни съ своимъ мальчикомъ, о которомъ она мечтала, пришелъ, а вмѣстѣ съ нимъ, какъ она предвидѣла, пришло и старое. Вслѣдствіе этой новой особенной жизни, она совершенно перемѣнила свои отношенія къ 'барынкѣ, стала мягче, сдержаннѣе и всѣми силами старалась угодить ей, чтобы не возстановить ее противъ себя. Новая же ея настроенія, возраставшія съ быстротою, опять испортили ея отношенія къ Михелю, и между ними началась старая борьба. Теперь деньги опять нужны были ей, и каждая копейка имѣла значеніе для улучшенія жизни мальчика. Михель же ничего не хотѣлъ знать и, возмущенный ея скупостью, устраивалъ ей скандалъ за скандаломъ и грозилъ выжить ее изъ дома, гдѣ она служила. Случалось, что онъ врвался въ кухню, билъ ее, и отъ него можно было избавиться только при помощи полицейскаго. Положеніе Иты становилось критическимъ, и предвидѣлся день, когда, несмотря на всю нужду въ ней, ее придется отпавить. Въ такомъ состояніи отчаянія она, возвращаясь какъ-то домой, послѣ посѣщенія своего мальчика, и мрачно раздумывая о томъ, что совершилось съ ней въ это короткое время, встрѣтилась съ Маней. На этотъ разъ Маня не старалась избѣжать Иты и при видѣ ея выразила полнѣйшую и искреннюю радость. Маня мало измѣнилась во вѣншности. Она все еще была недурна собой, но какъ-то втянулась, похудѣла и сильно проигрывала отъ того, что была одѣта съ нѣкоторымъ интимомъ подозрительныхъ женщинъ.

Только глаза ея оставались такими же мягкими, милыми, хотя и ушли во внутрь и какъ будто бы выражали затаенное недовольство.

— Ну, вотъ,—радостно произнесла она, подойдя къ Итѣ,—наконецъ-то я васъ встрѣтила. Давно я собира-

лась отыскать васъ, но всегда что-то мѣшало. Какъ вы живете? Здравствуйте же, здравствуйте.

Ита, въ свою очередь, тоже обрадовалась, и обѣ расцѣловались, къ удивленію прохожихъ, изъ которыхъ нѣкоторые даже остановились изъ любопытства.

— Вотъ видите, — весело и оживленно говорила Маня, довольная встрѣчей, — гора съ горой не сходится, а человѣкъ человѣка найдетъ. Что же это вы перемѣнились такъ? Какъ вашъ Михель? Я всегда вспоминала васъ. Я вѣдь тогда къ вамъ такъ сильно привязалась.

— Это неудивительно, — отвѣтила Гайце, — несчастье всегда сближаетъ людей и даже скорѣй, чѣмъ радости. Вотъ и вы перемѣнились. Вы... вы замужемъ? Право, — прибавила она, оглядывая ее еще разъ, — я бы васъ не узнала.

Онѣ пошли вмѣстѣ, дѣловито разговаривая между собой и сообщая второпяхъ важнѣйшія подробности изъ своей жизни. Большая туча, наконецъ, соскользнула съ того мѣста, гдѣ стояло солнце, и вся улица вдругъ засмѣялась отъ свѣта. Все ожило, расцвѣло и заискрилось подъ разбѣжавшимися лучами. Отчетливыя тѣни неслышно улеглись подлѣ домовъ. Воздухъ всколыхнулся, рѣзво помчался вдоль улицы, растолкалъ прохожихъ, опять побѣжалъ, и стоявшія въ лужахъ воды, въ которыхъ отражались опрокинутыми дома, наморщились и заблестали розоватымъ серебромъ.

Теперь Ита молчала, а рассказывала Маня. Но по мѣрѣ рассказа лицо ея становилось все угрюмѣе, а отдѣльныя черты его плаксивыми. Она какъ-то вдругъ подурнѣла, и въ глаза уже отчетливо бросалась вся искусственность въ ея внѣшности и жалкій видъ выбившаго изъ строя человѣка. Ита слушала ее съ глубокимъ сочувствіемъ и мысленно примѣряла ея неудачи къ своимъ.

„Какъ страшно у людей складывается жизнь“, думалось ей, „у злой судьбы нѣтъ дна мученіямъ“.

— Помните вы, какой я была,—сказала Маня.—Мнѣ казалось, что на свѣтѣ нѣтъ той силы, которая бы сломала меня, такой крѣпкой я себя чувствовала. Но я, Ита, была неопытна, какъ ребенокъ, и совсѣмъ не подозрѣвала, что существуютъ среди людей и такіе люди, какъ Яша. Ахъ, моя первая недѣля счастья! Помните вы, когда я ушла отъ васъ. Какъ сладка и нѣжна она была. Будто для той недѣли судьба моя собрала въ одно всѣ радости, какія мнѣ были суждены и бросила ихъ щедрой рукой, чтобы удесятенить мои силы для будущаго. Такъ ли и васъ околдовалъ вашъ Михель? Навѣрно такъ, ибо помню, какъ вы покорно несли свое ярмо. Вы вѣдь еще не вырвались отъ него? И не выветесь, дорогая, теперь я уже всему вѣрю, что вы мнѣ когда-то рассказывали.

— Я это знаю, — вставила Ита, — и вижу свою судьбу, какъ передъ глазами. По временамъ, Маня, у меня вѣдь нѣтъ ни одной надежды. Я почти, почти смирилась.

— И я тоже, Ита, я тоже. И всѣ, которыхъ знаю, смирились. Вырваться нельзя. Вѣдь онъ, Ита, на улицу меня послалъ беременной. Какъ, спросите вы, беременной? Да, дорогая моя, беременной, беременной. Я на колѣняхъ ползала предъ нимъ и руки его, бывшія меня, крѣпко цѣловала, но не помогло, Ита, ничего не помогло, потому что съ этими людьми ничего не помогаетъ. Вы не думайте, онъ любилъ меня, и я сама готова была уничтожить себя ради него, но пошла, пошла. Какъ же, Господи, я бы не пошла?!

Она выкрикнула послѣднія слова, забывъ, что находится на улицѣ, и опять обратила на себя вниманіе прохожихъ.

Ита съ состраданіемъ взглянула на нее. Свѣтило-могущественное солнце, то, что посылаетъ жизнь всему живущему, весь городъ былъ наполненъ могущественными людьми, что должны были жить братски и лю-

бовно, но все же сестры по страданію были несчастны, и солнце, и люди оставались равнодушными къ нимъ.

Отчетливыя тѣни сокращались и смѣнялись. Въ воздухѣ ручьемъ лились радостные голоса, пѣвшіе возвращеніе весны.

— Ночи,—продолжала Маня,—я вначалѣ еще умѣла отмахивать у него, но позже онъ и ихъ отнял у меня, и такая, радость моя, жизнь пошла, что я и соображать перестала. Вы не повѣрите, а я пьянствовала, какъ послѣдняя женщина, должна была пьянствовать; но не то, что я падала, мучило меня, а то, что удовлетворить его ничѣмъ не могла. Я вѣдь, хорошая моя, въ угольное ушко пролѣзала, чтобы добиться отъ него похвалы, а похвала, Ита, настоящая сестра жалости, но этихъ людей ничто не можетъ тронуть. Миѣ развѣ любовь его нужна была? Миѣ сочувствія, жалости пужпо въ моемъ положеніи, чтобы не свалиться съ ногъ! Вотъ, Яша, видишь, работаю я, какъ каторжная, какъ собака каторжная, но пожалѣй за то, добрымъ словомъ награди, приласкай, слезу, хоть одну слезу пролей надо мной.

Этихъ словъ не хватало Итѣ. Маня какъ бы разъяснила ей то, что творилось въ ея собственной душѣ, когда она по цѣлымъ днямъ не находила себѣ мѣста. И ея душа искала и томилась о жалости, о слезѣ, о человѣческомъ чувствѣ къ себѣ.

— Видите ли вы меня, Ита, отсюда, когда, пропившись съ гостемъ, я выворачиваю карманы передъ Яшей, чтобы онъ повѣрилъ, что я себѣ-то ничего не оставила? И въ эту самую минуту, какъ нарочно, вспомнится, что дома все еще ждетъ меня женихъ мой и смотреть вдаль, и прислушивается, не явлюсь ли вдругъ. Тогда миѣ плакать хочется, и опять слезы его я ищу, и ласкаюсь къ нему, и глазъ съ него не свожу — не пойметъ ли? Но ничего, дорогая моя, не понимаетъ, и снова я, какъ птица на веревкѣ, дохожу до конца

квартала, ворочаюсь назадъ, а онъ, спрятавшись за уголъ, стоитъ и стережетъ меня. Такъ тянутся дни мои, то съ совѣстью, то безъ совѣсти, а ребенокъ внутри все растетъ и растетъ. Ахъ, Ита, каторжная, подлая я собака, и меня бы убить слѣдовало!

Онѣ шли теперь молча и долго не разговаривали. Потянулъ подозрительный вѣтерокъ, какъ предъ дождемъ. Большая синяя туча, освѣщенная и прозрачная по краямъ, бѣжала имъ навстрѣчу и быстро сrostалась съ сосѣдними облаками, совершенно потемнѣвшими. Солнце скрылось. Воздухъ посѣрѣлъ. Тѣни слились съ цвѣтомъ земли.

— Какъ я васъ жалѣю, — вырвалось, наконецъ, у Иты. — О, вы, вы уже навѣрно купили себѣ своими страданіями рай. Худшаго ада для человѣка и придумать нельзя.

— Вѣдь это ужасно, правда, Ита, не по-человѣчески ужасно. Знаете, куда я теперь иду? Я иду къ Миндель, чтобы она сбросила мнѣ ребенка. И до этого дошло, — мрачно вырвалось у нея. — Все ждала и вѣрила, что только я ребенка почувствую, и этой жизни наступитъ конецъ, — и такая это для меня радостная надежда была, что я ковромъ у его ногъ разстилалась, лишь бы онъ ребенка моего пожалѣлъ. Но напрасно вѣрила, — ибо умолить не могла. Нужно сбросить. Вотъ волосъ почти не осталось отъ его рукъ, но пришлось потерять и волосы, и ребенка.

День темнѣлъ. Въ лужицахъ уже потухли воды, на нихъ легли сѣроватыя пленки, и онѣ еще слабо отражали розоватыя лучи. Опять потянуло вѣтромъ, но теперь надолго. Уже разбивались о землю крупныя дождевыя капли. Прохожіе заторопились.

— Собирается дождь, — съ безпокойствомъ произнесла Ита. — Гдѣ вы живете? Я, можетъ быть, заѣду къ вамъ. Но прошу васъ, Маня, умоляю, соберите всѣ свои силы и боритесь, не дѣлайте этого. Вотъ и я не боролась, и

посмотрите, что изъ меня сдѣлалось. Ахъ, по лицу вашему вижу, что говорю напрасно. Прощайте, я могу ребенка простудить. Мы еще увидимся.

Мапя торопливо дала ей адресъ, и Ита сѣла въ конку. Тамъ она разстегнулась, чтобы покормить ребенка, и все время Мапя у нея стояла передъ глазами. Въ окна конки билъ весенній дождь, билъ тяжело, огромными каплями, но по временамъ переставалъ, какъ бы задумываясь: для чего собственно онъ бьетъ? Сверкали молніи, широкія, долгія и ослѣпительныя. Люди входили и выходили, и суетились, точно на пожарѣ. Вся вода отъ дождя собралась у панели мостовой, и грязная, бѣшено мчалась, точно кто-то хлесталъ ее сзади, чтобы она поскорѣе скрылась въ городскихъ отливахъ.

Когда Ита, наконецъ, пріѣхала, дождь едва уже моросилъ. Въ подъѣздѣ ее встрѣтила Этель и остановила.

— Я нѣсколько разъ выходила, чтобы встрѣтиться съ вами,—произнесла она.—У меня была Гитель и рассказала печальную новость. У нея сегодня умеръ ребенокъ.

— У Гитель ребенокъ умеръ? Уже? Не можетъ быть?

Холодный потъ покрылъ ея лобъ. „Это весна“, промелькнуло у нея. Ею овладѣлъ тревожный страхъ, и тяжелое предчувствіе разомъ установилось въ душѣ. Она съ ненавистью вдохнула теплый воздухъ, пахнувшій нѣжнымъ ароматомъ зелени, и отъ волненія прислонилась къ стѣнѣ.

„До моего доходить очередь“,—опять мелькнуло у нея.

— Да,—отвѣтила Этель,—утромъ онъ умеръ. Что-то въ три часа его не стало. Отчего—не знаю. Гитель говоритъ, что отъ крупа. Сегодня уже пойду своего провѣдать. Не вѣрю, чтобы изъ моего вышелъ толкъ.

Она смахнула слезу и, тоже напуганная, мрачно прибавила:

— Не могла уговорить мужа, чтобы я перестала рожать. Видно Богу нуженъ былъ еще одинъ мученикъ. Но теперь, Ита, это уже въ послѣдній разъ. Я себя искалѣчу, искалѣчу разъ навсегда, чтобы перестать быть убійцей своихъ дѣтей. Не могу я больше. И сдѣлаю это, хотя бы мнѣ пришлось развестись съ нимъ.

Ита молча пошла во дворъ. Потомъ обернулась къ Этель и серьезно спросила у нея, глядя въ упоръ:

— Развѣ, Этель, въ самомъ дѣлѣ, нѣтъ средства, чтобы люди такъ не мучились? Ничѣмъ имъ нельзя помочь,—рѣшительно ничѣмъ? Подумайте, Этель, ни одного средства, такъ-таки ни одного?

Она сама не понимала, что говорила отъ волненія. Она чувствовала только, что теперь въ ней билось большое страданіе, и это требовало хоть вопроса, чтобы не задавило въ ней человѣка.

— Непремѣнно себя искалѣчу, — не понявъ ее, отвѣтила Этель, — вы это видите, Ита. Завтра я пойду къ Миндель.

Ита стала уже подниматься по лѣстницѣ, какъ вдругъ Этель остановила ее и сказала:

— Совсѣмъ я забыла передать вамъ. Михель цѣлый часъ уже ждетъ васъ у лавочницы. Смотрите, не медлите. Кажется, онъ страшно сердитъ на васъ.

— А-а, — произнесла Ита разсѣянно, — Михель меня ждетъ.

И съ сквернымъ чувствомъ поднялась къ себѣ.

Но скверное чувство это не относилось къ Михелю; и было недоброе настроеніе, которое только что установилось въ ней, какъ устанавливается тѣнь, неощутимо, но рѣзко и отчетливо.

Вѣсти съ окраинъ становились съ каждымъ днемъ все тревожнѣе. Ита ежедневно отъ той или другой



кормилицы узнавала о новой смерти и паляла все силы, чтобы не пасть духомъ. Опять образовался промежутокъ безразличныхъ дней съ однообразными заботами и привычными интересами, и подозрительное спокойствіе это длилось все время, пока изъ окраинъ не было дурныхъ вѣстей. Но въ одинъ день вдругъ все переменялось. Точно кто взялъ и рукой отвелъ какую-то преграду, и поджидавшее злое и скверное, давно готовое ринуться разомъ, хлынуло неудержимымъ потокомъ. Собственно зло началось еще со смерти ребенка Гитель, павшаго первой жертвой весенней эпидеміи. Хотя шли разнородные слухи о кончинѣ мальчика, но въ дѣйствительности онъ умеръ отъ крупа, и въ этомъ сезонѣ онъ какъ бы первый подать сигналъ своимъ сотоварищамъ, разбросаннымъ по окраинамъ, начать собираться въ путь. Но такъ какъ въ теченіе послѣдовавшихъ дней болѣзнь нигдѣ не проявлялась, то населеніе постепенно начало успокаиваться. Внезапно смерть объявилась одновременно въ нѣсколькихъ концахъ, унесла нѣсколько дѣтей, опять прекратилась на нѣкоторое время и потомъ, точно вскормленная всяческими нечистотами бѣдноты, созрѣвъ на тепломъ солнцѣ, облаканная и обогрѣтая весной, правильно, и уже больше не уклоняясь, начала распространяться во все стороны. Она шла, точно заблудившаяся странница, изъ дома въ домъ, изъ комнаты въ комнату, гдѣ водворялась на короткое время, — быстро убивала и передвигалась дальше, оставляя за собой длинную ленту мертвыхъ тѣлъ, которая едва успѣвали убирать. Въ окраинѣ же устанавливалась та суетливая и лихорадочная жизнь, какая бываетъ во время эпидеміи, когда каждый старается уберечь свое родное и кровное. На выкормковъ не обращали ни малѣйшаго вниманія и ихъ десятками тащили съ утра до вечера на кладбище, и, сейчасъ же забытые постъ смерти, они незамѣтно исчезали навсегда изъ

этого сурового и непривѣтливого для нихъ міра, гдѣ съ перваго момента жизни у нихъ отнимали право на мать, на ласку, на хлѣбъ. Они умирали обезсиленные и истощенные и, борясь съ болѣзью, оставленные безъ ухода гдѣ-нибудь въ грязномъ углу жалкой коморки, становились добычей паразитовъ, сотенъ мухъ, вѣдавшихъ имъ въ глаза, въ ноздри, и разлагались, еще не успѣвъ испустить дыханіе. Во всѣхъ этихъ домахъ нищеты и невольныхъ преступленій съ утра до ночи и съ ночи до утра безпрестанно неслись звуки жалобъ и хрипѣнія, сопровождаемые наивысшимъ напряженіемъ дѣтскихъ мышцъ, за которыми слѣдовали конвульсіи и агонія. Послѣ припадка они лежали, покрытые торжествовавшими тучами мухъ, пенужные и мѣшавшіе всѣмъ, и искреннія слезы ихъ матерей, разбросанныхъ по городу подлѣ чужихъ дѣтей, имѣвшихъ ную привилегію и счастье, часто, почти всегда, не сопровождали ихъ въ вѣчное жилище. Развращенныя, жалкія, забитыя, онѣ, подлѣ кнутомъ нищеты, укравъ молоко у своихъ дѣтей, крали дальше и послѣднее, не имѣя возможности поступить иначе. И смерть, не встрѣчая на своемъ пути матери, торжествовала и, распахнувъ широко крылья свои, съ угрозой повисла надъ дѣтскимъ царствомъ.

Въ одно утро Гайне, расцеленавъ хозяйскаго ребенка, шумно забавляла его. Она бросалась на него съ размаха и, принавъ къ его жирной шейкѣ, громко лаяла на него и щекотала поцѣлуями. Мальчикъ заливался отъ хохота, рвалъ ее за волосы, и Ита, забывъ обо всемъ на свѣтѣ, наслаждалась его счастьемъ. Вдругъ отворилась дверь, и громкіе незнакомые шаги съ особеннымъ пристукиваніемъ раздались въ комнатѣ. Ита быстро и съ безотчетнымъ безпокойствомъ обернулась и увидѣла предъ собою неизвѣстную ей женщину:

— Здравствуйте,—произнесла та равнодушнымъ го-

лосомъ, оглядывая компану, — я принесла вамъ скверную новость. Пугаться только еще не зачѣмъ.

Ита сдѣлала къ ней шагъ, пристально всмотрѣлась ей въ лицо и спросила дрожащимъ голосомъ:

— Что случилось? Я васъ совсѣмъ не знаю.

Она стояла безъ кровинки въ лицѣ и чувствовала, какъ у нея тихо дрожали ноги. Мальчикъ поднялъ крикъ, и лицо его, только что безмѣрно радостное, выражало теперь полное недовольство жизнью. Гайне машинально взяла его на руки и дала ему грудь, чтобы онъ пересталъ мѣшать.

— Меня къ вамъ Эстеръ послала, — безучастно произнесла пришедшая, — вашъ ребенокъ ночью заболѣлъ и съ утра не беретъ молока. Пугаться вамъ еще не зачѣмъ. Я посоветовала обложить его шею свинимъ саломъ, чтобы разогрѣть горло. Но Эстеръ не послушалась меня. Теперь ему, конечно, хуже, но все еще пугаться не нужно. Мой два года тому назадъ былъ опаснѣе боленъ, но я не пугалась, и онъ выздоровѣлъ.

Отъ страха и этого деревяннаго, безучастнаго голоса у Иты стало мутиться въ головѣ. Она присѣла, обливаясь потомъ, и все лицо ея покрылось морщинами.

— Что же будетъ? — спросила она, наконецъ, сообразивъ и отдаваясь минутной вѣрѣ въ слова женщины. — Что мнѣ нужно дѣлать?

У незнакомки совсѣмъ одеревенѣло лицо, и въ каждой его черточкѣ теперь можно было прочесть: бояться ничего не нужно. У Иты лихорадочно работала голова, но чувствами она была еще далека отъ серьезности минуты. Въ этотъ мигъ всѣ ея инстинкты спали, и она испытывала только досаду противъ ребенка за то, что онъ заболѣлъ и мѣшаетъ ей спокойно жить. Мальчикъ заснулъ на ея рукахъ, и голова его двигалась вмѣстѣ съ дыханіемъ Гайне. Женщина постояла еще нѣсколько минутъ и потомъ спросила:

— Вы пойдете къ ребенку? Бояться, конечно, нечего, но нельзя знать, что может случиться. Сезонъ начался, и дѣтей косить, какъ траву.

Она сдѣлала движеніе, какъ бы собираясь уйти. Гайне встрепенулась и поднялась, все укачивая ребенка. Она безцѣльно прошлась по комнатѣ и, продолжая думать о своемъ мальчикѣ, понемногу начала поддаваться ужасу.

— Подождите, — наконецъ, произнесла она, — я сейчасъ пойду съ вами.

Женщина покорно сѣла и стала рассказывать, какъ это случилось. Рассказывать было немного, но она ухитрилась разъ двадцать вставить, что бояться нечего, и для Иты это, наконецъ, сдѣлалось столь ужаснымъ, что она готова была убѣжать отъ нея. Устроивъ кое-какъ ребенка и прикачавъ его, она оборвала женщину на полусловѣ и пошла къ барынѣ взять позволеніе отлучиться. Съ барыней у нея вышли большія непріятности, когда та узнала, что у Иты заболѣлъ ребенокъ. Барыня готова была перенести еще сотню скандаловъ отъ Михеля, но никакъ не понимала и не хотѣла согласиться, чтобы Гайне пошла провѣдать своего мальчика.

— Нѣтъ, нѣтъ, — упорствовала она, возражая Итѣ, — я не могу васъ отпустить, и вы сами не должны этого желать. Я васъ считала порядочною женщиной, а вы оказываетесь хуже. Богъ знаетъ кого. Я васъ вытащила изъ грязи и сдѣлала человѣкомъ, а вы, вмѣсто благодарности, хотите погубить моего ребенка. Мальчикъ вашъ не выздоровѣетъ отъ того, пойдете или не пойдете къ нему. Пусть Михель отвезетъ его въ больницу. Я дамъ вамъ нѣсколько рублей не въ счетъ. Вамъ же къ нему не зачѣмъ касаться. У него навѣрно скверная болѣзнь, и вы заразите моего. Развѣ мой вамъ не дорогъ?

— Дѣлайте со мной, что хотите, — наставала Гайне, —

но я не могу, я умру отъ безпокоѣства Я должна пойти. Мнѣ мой ребенокъ такъ же дорогъ, какъ вамъ вашъ.

Она начала плакать, стараясь словами растрогать барыню.

— Поставьте себя на мое мѣсто. Я должна увидѣть своего ребенка. Я съ ума сойду. Вы должны меня отпустить, вы должны гнать меня, чтобы я пошла. Я хоть и бѣдная женщина, но я тоже мать, и кровь пролила надъ нимъ.

— Пропили кровь, — насмѣшливо произнесла барыня, — животное тоже проливаетъ. Подумаешь, ваша кровь! А вотъ сколько разъ вы меня увѣряли, что мой ребенокъ вамъ дороже жизни. Вы вѣдь клялись въ этомъ?

— Я васъ не обманывала, — тихо отвѣтила Гайне, — я люблю вашего мальчика, это правда. Но и свой мнѣ дорогъ. Только отпустите меня къ нему. Я клянусь, что не дотронусь до него. Но я должна пойти. Вѣрьте мнѣ, что я не могу иначе. Я буду беречься, клянусь вамъ. Можетъ быть, ему совсѣмъ не такъ плохо. Пока онъ только груди не беретъ. Отпустите меня.

Она еще долго спорила. Барыня дошла до того, что стала угрожать не пустить ее силой, говорила, что дастъ знать полиціи, но чѣмъ больше она волновалась, тѣмъ Ита становилась непреклоннѣе. Она все твердила и клялась, что будетъ беречься, не притронется къ своему ребенку, и что немедленно отправитъ ребенка вмѣстѣ съ Эстеръ въ больницу. Барыня, наконецъ, уступила, но пригрозила ей помилованіемъ въ будущемъ. Ита съ радостью поблагодарила ее за разрѣшеніе, взяла у нея три рубля и, захвативъ подъ шаль узелокъ, отправилась со ждавшей женщиной къ Эстеръ. Раньше всего ей хотѣлось отыскать Михеля, чтобы не быть безпомощной, но тамъ, гдѣ онъ обыкновенно бывалъ, его уже не было въ этотъ часъ, и она только напрасно потеряла время. Она покорилась и рѣшила все устроить

сама. Когда она пришла къ Эстеръ, ее встрѣтилъ старшій мальчикъ, и на вопросъ Иты о ребенкѣ онъ, какъ вырослый, махнулъ рукой и сказалъ, что пехорошо. Гайне съ трепетомъ вошла въ комнату. Страхъ за жизнь мальчика удесатерилъ ея любовь къ нему. Ребенокъ лежалъ въ кровати, а подлѣ него сидѣла Эстеръ, опустивъ голову. Ита, не подходя близко, молча бросила взглядъ на ребенка, но сейчасъ же не выдержала и подбѣжала къ нему. Тяжелымъ безучастнымъ взглядомъ онъ, въ свою очередь, осмотрѣлъ ее и, какъ ей показалось, съ укоромъ, въдрагивая, отвернулся, тяжело дыша. Гайне всплеснула руками. На мигъ промелькнулъ онъ передъ ней здоровый, румяный, гладенькій, — такой, какимъ онъ былъ, когда она впервые пошла съ нимъ къ Розѣ, и все ея горе, и вся ея вина вдругъ освѣтилась во всей своей правдѣ. Передъ ней лежалъ высохшій мальчикъ съ непомерно длинными руками и ногами, синеватый, съ заостренными чертами, — странный маленькій старичокъ, похожій на уродцевъ, сохранныхъ въ спиртѣ. Эстеръ, увидѣвъ Гайне, кивнула ей головой и поклонилась къ ребенку. Мальчикъ потянулся къ ней своими длинными руками. Ита застыла въ положеніи ожиданія, и каждый слабый, какъ бы осмысленный стоишь ребенка, устроившагося на рукахъ Эстеръ, терзалъ ее.

— Я думаю, — произнесла Эстеръ своимъ густымъ, неприятнымъ голосомъ, — что это пройдетъ. Ночью ему, кажется, было гораздо хуже. Только жаръ его меня безпокоитъ. Посмотрите-ка.

Ита притронулась къ его лбу рукой и сейчасъ же поцѣловала его.

— Онъ горитъ, — отвѣтила Гайне, — и совсѣмъ поспинѣлъ. Боже мой, хотъ бы Михель былъ у меня подъ рукой. Вотъ что, милая Эстеръ, лучше всего будетъ отдать его въ больницу. Какъ вы думаете? Тамъ и дру-

гой присмотръ будетъ за нимъ, не правда ли? Конечно, если бы у васъ не было своихъ дѣтей...

— Это вѣрно, и я рада, что вы сами поняли. Я боюсь. Нужно сейчасъ же поѣхать съ нимъ. Вы взяли съ собою денегъ?

— Баяла, Эстеръ. Но въ больницѣ его вѣдь нельзя одного оставить. Если бы, милая Эстеръ, вы были такъ добры...

Эстеръ сѣла и подозрительно посмотрѣла на нее.

— Да, да, добры,—подтвердила Гайне.—Только доброты теперь ваша нужна. Ребенокъ вѣдь къ вамъ привыкъ, теперь вы ему мать, а не я. Вѣрьте, я бы съ радостью, что я говорю съ радостью, со счастьемъ, съ благодарностью осталась съ нимъ въ больницѣ, но онъ вѣдь меня не захочетъ признать. Я все хорошо знаю; знаю, что у васъ мужъ есть, дѣти, хозяйство, но я заплачу вамъ, Эстеръ, одного шага вашего я даромъ не попрошу. Вы должны остаться съ нимъ въ больницѣ.

— Этого, Ита, я не могу сдѣлать. Хотя какія деньги ни дадите, я откажусь. У меня, Ита, мужъ, который тяжело работаетъ. У меня дѣти. Нѣтъ, Ита, вотъ этого я уже никакъ не могу сдѣлать.

— Но я вѣдь прошу, Эстеръ, я умоляю. Я только умоляю, Эстеръ, и ничего больше. Имѣю ли я право требовать? Вы вѣдь, Эстеръ, не можете быть недовольны мною. Чего я для васъ ни дѣлала. Я о васъ, Эстеръ, больше, чѣмъ о себѣ заботилась. Вы можете подтвердить сами, какъ я къ вамъ относилась. Прошу васъ—не меня, такъ его пожалѣйте.

Ита продолжала умолять ее и плакала, и лестила, но та все отговаривалась, ссылаясь на семью свою. Незамѣтно Эстеръ стала разгорячаться и, не вытерпѣвъ, наконецъ, принялась ругаться.

— Если вы несчастны,—кричала она,—то не нужно было отдавать своего мальчика такой счастливой женщиной, какой я была до знакомства съ вами. Вы на-

рочно отдали его мнѣ, чтобы разстроить мою счастливую жизнь. Я это отлично поняла съ перваго же раза, когда васъ увидѣла. Тогда я еще сказала себѣ, что эта женщина принесетъ мнѣ несчастье.

Ита не спорила и только съ жаромъ увѣщевала, ваявая къ ея добрымъ чувствамъ. Но та не унималась и укоряла ее уже въ другомъ порокѣ.

— Съ другими не испытываешь такого мученія, какъ съ вами,—жала она.—Ребенокъ заболѣлъ, и никто изъ этого не дѣлаетъ шума. Вы, милая, не первое лицо въ городѣ, не забывайте объ этомъ. Вы только всего на всего кормилица, и ничего больше. Идите и поучитесь еще, какъ нужно жить. Ступайте и посмотрите, какъ относятся такія, какъ вы, къ болѣзни и смерти своихъ дѣтей. Звука не слышно, вздоха не слышно. Здѣсь умираютъ десятками, и не слышно такого шума, какъ вы дѣлаете изъ-за одного. Умираютъ тихо, хоронятъ тихо, и всякій занимается своими дѣлами. Вотъ оно какъ должно быть. Развѣ ваши дѣти—тоже дѣти? Ихъ въ шутку можно назвать дѣтьми. Подумайте только, зачѣмъ бы они выросли? Кому они нужны? Вы любите своего ребенка; всѣ любятъ, но не сходятъ изъ-за этого съ ума. Ступайте съ нимъ въ больницу, а меня оставьте въ покоѣ.

Однако, она уже не говорила прежнимъ непреклоннымъ тономъ, а когда на шумъ вошла сосѣдка и, узнавъ въ чемъ дѣло, стала на сторону Гайне, то женщины помирились, а нѣсколько лишнихъ лъстивыхъ словъ Иты совсѣмъ уладили дѣло. Эстеръ согласилась, наконецъ, остаться съ мальчикомъ въ больницѣ и начала собираться. Когда онѣ вышли, былъ уже полдень. Эстеръ, пройдя кварталъ, объявила себя уставшей и потребовала, чтобы наняли дрожки. Гайне не возражала, и черезъ нѣсколько минутъ онѣ уже катились по окраинѣ, подымая большое облако пыли... При въѣздѣ въ городъ Ита вдругъ замѣтила Михеля, который стоялъ у воротъ



плохонькаго дома и разговаривалъ съ какой-то женщиной. У нея сжалось сердце, но, преодолевъ себя, она позвала его. Онъ подошелъ и, узнавъ въ чемъ дѣло, хотѣлъ было уйти, но Гайне такъ убѣдительно просила его поѣхать съ ней, что онъ согласился и, махнувъ женщиной рукой, сѣлъ рядомъ.

Въ больницѣ ихъ немедленно приняли, и когда врачъ осмотрѣлъ мальчика, то покачалъ головой и приказалъ немедленно перенести его въ инфекціонное отдѣленіе. Ита похолодѣла, понявъ по лицу доктора, что болѣзнь не шуточна. Однако, этого ей было недостаточно, и робкимъ голосомъ она спросила у врача, что онъ думаетъ о состояніи ребенка. Тотъ махнулъ рукой и произнесъ слово: „крупъ“. Михель, заложивъ руки за спиной, на цыпочкахъ ходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ и съ любопытствомъ прислушивался ко всему, что говорили здѣсь. Положеніе мальчика не трогало его, но такъ какъ ему рисовалась пріятная перспектива взять у Иты деньги, то ради нея онъ дѣлалъ видъ, что вникаетъ во все и опечаленъ.

— Слышишь, Михель,—прошептала она ему, боясь говорить здѣсь громко,—у мальчика крупъ. Пропалъ нашъ ребенокъ.

Въ ея глазахъ стояли слезы отчаянія, и теперь, глядя на Михеля, она искала въ немъ опоры, искала утѣшенія, чтобы не чувствовать на себѣ одной всей тяжести горя.

Михель посмотрѣлъ на нее, на мигъ растрогался и пробормоталъ:

— Что же дѣлать, Ита, что дѣлать?

Гайне при звукѣ этого мягкаго голоса задрожала отъ волненія, и только почтеніе и страхъ къ мѣсту удержали ее отъ рыданій. Она еще стояла подлѣ него, ожидая, не скажетъ ли онъ чего-нибудь, но такъ какъ Михель молчалъ, то пошла проститься съ ребенкомъ и отдала Эстеръ два рубля за доброту. Она долго

стояла въ длинномъ каменномъ корридорѣ больницы, мрачномъ, какъ ея душа, слѣдила за Эстеръ, пока та не скрылась, и посылала ей въ догонку слова благодарности и благословенія, не замѣчая, какъ слезы текли изъ ея глазъ. Михель же успокоился и торопилъ ее уйти. Когда они очутились на улицѣ, онъ притворно вздохнулъ и попросилъ для себя рубль. Гайне посмотрѣла на него долгимъ укоризненнымъ взглядомъ, но ничего не сказала и отдала послѣднія 80 копеекъ, что у нея остались отъ трехъ рублей. Онъ со вздохомъ поблагодарилъ ее и на первомъ поворотѣ приготовился уйти. Ита, понявъ его намѣреніе, не протестовала и чрезъ нѣсколько минутъ она уже плелась одна съ своимъ отчаяніемъ, раскаяніемъ и мучительной жалостью къ ребенку.

Дома она выдержала тяжелую сцену отъ барыни, когда та узнала, что мальчика приняли въ больницу, но стояла передъ ней съ окаменѣвшимъ выраженіемъ въ лицѣ, равнодушная ко всему въ мірѣ.

— Вы низкая женщина, — кричала барыня, — вы не имѣли права оставаться въ комнатѣ, гдѣ онъ лежалъ. У него навѣрно дифтеритъ. Я бы васъ сейчасъ же выгнала, если бы, къ несчастію, не наступили теплые мѣсяцы. Ступайте и примите ванну. Одежду вашу мы сейчасъ же продадимъ старьевщику.

Гайне съ тѣмъ же равнодушіемъ подчинилась всему, чего требовала барыня, и весь день была невнимательна къ хозяйскому ребенку.

Ита провела скверную ночь. Собственные огорченія ея отзывались на ребенкѣ. До утра онъ метался въ жару и не давалъ ей минуты возможности сосредоточиться на своемъ горѣ, обдумать его. Съ привычной покорностью она подчинялась его капризамъ, бѣгала съ нимъ по комнатѣ, цѣловала, ласкала и кормила,

пѣла тихимъ, нѣжнымъ голосомъ, пѣла громкимъ, чтобы оглушить его, кричала и просила, но всѣ усилія ея были тщетны. Заснувъ или забывшись на минуту, онъ просыпался съ дикимъ воплемъ, и опять начиналась та же бѣготня съ нимъ и стараніе оглушить его пѣсней, крикомъ. Тревожная мысль о томъ, что она могла заразить его, гвоздила ее всю ночь, и поминутно она со страхомъ прислушивалась къ его дыханію и не сводила глазъ съ него, когда онъ глоталъ, трепеща увидѣть гримасу на его лицѣ. Раза два-три онъ глухо кашлянулъ, и ей показалось, что наступилъ конецъ ея существованію. Отъ усталости и волненія чувства у нея перепутались, и ей самой неясно было, кого она жалѣетъ, за кого ей страшно. Она трогала его ладошки, которыя горѣли, цѣловала ихъ со смиреніемъ и нѣжностью и думала, какъ несчастенъ ея собственный мальчикъ, до котораго никому въ мірѣ дѣла нѣтъ. Но къ утру ребенокъ, однако, забылся, и когда она, наконецъ, позволила себѣ лечь, чтобы отдохнуть, ее охватила такая волна думъ, что заснуть она не сумѣла.

Наступило утро. Ребенокъ проснулся совершенно здоровымъ, безъ жара, веселенькій. Гайне не чувствовала усталости отъ радости за него. Она начала одѣваться, думая, какъ устроить, чтобы вырваться изъ дому. Часовъ въ десять она начала заговаривать объ этомъ съ барыней, зная, что не мало потребуется съ ея стороны упорства и непреклонности, пока та согласится отпустить ее въ больницу. Какъ Гайне предвидѣла, барыня сначала не соглашалась, потомъ кричала, сердилась, но, понявъ, наконецъ, что сила не на ея сторонѣ, примирилась и дала согласіе. Но, чтобы оставить за собою послѣднее слово, выработала детальную программу, какъ Ита должна будетъ вести себя въ больницѣ. Въ сущности вся эта программа рѣшительно ни къ чему не нужна была, такъ какъ всѣ знали, что въ

инфекціонную палату постороннихъ не выпускають, но страха ради и на всякій случай строго приказала Итѣ къ ребенку не подходить. Гайне общала все, чего требовала отъ нея барыня, и въ 12 часовъ вышла изъ дому.

У воротъ больницы еѣ, какъ въ сказкѣ, пришлось умиловитивъ цербера-привратника, который не хотѣлъ впустить ее. И когда она догадалась и всунула въ форточку свою руку съ мелочью, входъ какъ бы по волшебству сталъ свободнымъ. Войдя, она долго блуждала въ огромномъ, застроенномъ мрачными флигелями, молчаливомъ дворѣ, не зная, въ какомъ изъ этихъ домовъ лежитъ ея ребенокъ, и только послѣ многочисленныхъ разспросовъ, переходя изъ одного корридора въ другой и минуя зданіе, отдѣлявшее первый дворъ отъ второго, она нашла, наконецъ, дѣтское инфекціонное отдѣленіе. Это было простое, удивительно похожее на деревенскій домикъ, зданіе, поражавшее бѣлизной своихъ стѣнъ, невысокое, съ частымъ рядомъ большихъ оконъ, и окруженное деревьями. Ита поискала дверей, но не нашла ихъ. Входъ въ домикъ былъ устроенъ сзади, такъ что приходилось миновать глухую стѣну, безъ оконъ, чтобы попасть въ него. Гайне даже не попыталась найти дверей, зная, что ее не впустятъ и подошла къ крайнему окну, въ которое и заглянула. Она увидѣла два ряда кроватей, малютокъ-дѣтей и женщинъ въ блузахъ подлѣ нихъ. Ита долго не находила своего ребенка. Каждый разъ проходили мимо нея люди съ серьезными лицами, сопровождаемые дѣвушками въ халатахъ, и она съ досадою, но почтительно отступала, отрываясь отъ окна. У другого окна, рядомъ съ ней стояли двѣ бѣдно одѣтыя женщины, которыя лицами своими какъ бы срослись со стекломъ. Раза два мимо нея пробѣжала служанка и вдругъ, обративъ почему-то на Гайне вниманіе, участливо и какимъ-то особеннымъ, мягкимъ, добрымъ голосомъ спросила, что она

здѣсь дѣлаетъ. Ита отвѣтила дрожащимъ отъ благодарности голосомъ, что она собственно кормилица, но родной ея ребенокъ заболѣлъ крупомъ, и теперь она пришла провѣдать его, но какъ пайти его не знаетъ и потому стоитъ подлѣ окна и ищетъ въ залѣ кормилицу ея мальчика. Служанка разспросила фамилію и общала разузнать, въ какомъ положеніи теперь мальчикъ. Когда она ушла, Гайне опять впиалась въ окно глазами, но понявъ, что ищетъ здѣсь тщетно, осмѣлилась перейти къ тому окну, гдѣ стояли двѣ женщины, и, чтобы задобрить ихъ, спросила, кого онѣ выглядываютъ въ палатѣ. Первая отвѣтила, что смотритъ на своего ребенка, который уже выздоравливаетъ. Вторая сказала, что ея ребенокъ тоже началъ было выздоравливать, но послѣ двухдневной надежды положеніе его ухудшилось и, кажется, окончательно. Въ самой палатѣ дѣвочки ея теперь не было, такъ какъ ее взяли на операцію, и сама она стоитъ едва живая. Говоря это, женщина плакала и вытирала глаза чрезвычайно грязнымъ платкомъ. Обѣ онѣ также были кормилицами и познакомились въ часы дежурствъ у окна. Гайне нѣсколько разъ сочувственно вздохнула и, наконецъ, попросила у той, у которой ребенокъ выздоравливалъ, уступить ей мѣсто подлѣ окна, чтобы увидѣть и своего мальчика. Кормилица вѣжливо согласилась, и Ита, ставъ на ея мѣсто, послѣ быстрого и внимательнаго осмотра увидѣла Эстеръ, которую сначала едва узнала подъ больничнымъ халатомъ. Эстеръ сидѣла на четвертой кровати, какъ разъ противъ окна, а возлѣ нея фельдшерница возилась съ мальчикомъ. Гайне нетерпѣливо поманила ее рукой, закивала головой, крикнула, но Эстеръ нахмурила брови, прикусила нижнюю губу, давая этимъ понять, что не можетъ теперь выйти. Тогда Ита, забывъ, что Эстеръ не можетъ ее слышать, стала съ мольбой разспрашивать, какъ здоровье ребенка. Эстеръ знаками показала на уши, что не слышитъ и на всякій случай по-

смотрѣла на потолокъ, какъ бы говоря, что все въ рукахъ Бога. Фельдшерница между тѣмъ перешла на другую сторону кровати и посадила ребенка у Эстеръ на колѣни такъ, чтобы свѣтъ отъ окна падалъ на его лицо. Ита жадно впиалась въ него глазами. Она не слышала его стонувъ, но угадывала ихъ по выраженію измученнаго личика и вздыхала вмѣстѣ съ нимъ, словно сама страдала отъ удущья. Эстеръ, обхвативъ одной рукой ребенка, положила другую на его лобъ и прижала голову къ своей груди. Теперь Гайне видно было, какъ онъ бился, рвался и изъ темно-сѣраго сталъ фіолетовымъ. Отъ ужаса и страданія Гайне крикнула и замахала руками. Что-то прежнее все-таки оставалось въ лицѣ мальчика и не стиралось временемъ, несмотря на все, что онъ перенесъ за періодъ разлуки съ матерью, и Ита узнавала его по жилочкамъ на шеѣ, которыя и тогда выступали у него, когда онъ капризничалъ. У Эстеръ отъ опущенныхъ вѣкъ было серьезное и строгое лицо, и Гайне чувствовала острую ненависть къ ней. Сама же она продѣлывала всѣ движенія ребенка, и ей казалось, что, испытывая вмѣстѣ съ нимъ боль, она облегчаетъ его страданія. Уступившая ей мѣсто женщина давно толкала ее, но Ита словно приросла къ мѣсту, и ее невозможно было сдвинуть. Когда, наконецъ, окончилась процедура смазыванія, и ребенокъ былъ положенъ на кровать, то и ея боли стихли, и она заплакала долгими слезами, не видя границъ своему несчастью и униженію. Какъ рвалась къ нему ея душа, одухотворенная обострившейся любовью! Чьи заботы и уходъ за нимъ сравнились бы съ ея материнскимъ уходомъ, полнымъ искренности, самоотверженія, ласки, тревоги? Она умирала отъ любви и состраданія, но ничего, кромѣ глядѣнія въ стекло окна, не могла дать своему ребенку, ничего, кромѣ слезъ своихъ, которыхъ онъ не могъ видѣть...

Эстеръ, наконецъ, вышла, и Гайне, бросившись къ

ней, только теперь разглядѣла, какая та была страшная въ халатѣ.

„Ребенокъ умереть“, молніей пронеслось у нея при взглядѣ на Эстеръ.

— Была ночь,—прошептала Эстеръ, влагая въ эти слова страшный смыслъ,—пусть больше не повторится такая ночь.

Ита отвела ее въ сторону и, держа за халатъ, спросила:

— Что говоритъ докторъ?

— Онъ киваетъ головой, но что это значитъ, не знаю. Фельдшерица, однако, думаетъ, что ему лучше.

— Чего же вы молчите,—открылся вдругъ у Гайне звонкій голосъ,—мнѣ кажется, что я уже двѣ жизни провела въ аду. Она говоритъ, что лучше? Я вамъ, Эстеръ, подарю свое мѣсячное жалованье. Спасите его мнѣ. Только теперь я поняла, какъ люблю его.

— Богъ поможетъ,—произнесла Эстеръ такимъ сухимъ и непріятнымъ тономъ, что Ита отъ страха не пожелала больше объясненій.

„Есть же такіе люди“, подумала она, оглядывая ее.

Она стояла и молча уже слушала Эстеръ объ ужасахъ, творящихся въ палатѣ.

— Вы видите этихъ двухъ женщинъ,—мигнула она, указывая Гайне на кормилицъ, стоявшихъ у окна.— Одна все еще ждетъ чего-то, хотя ребенка ее взяли въ операционную. Дѣвочка какъ будто стала выздоравливать, но я сейчасъ же поняла, что это самый скверный признакъ.

— Моему вѣдь тоже лучше,—беззвучно и поблѣднѣвъ, прошептала Ита.

Эстеръ смутилась, но сейчасъ же развязно отвѣтила:

— Вашъ другое дѣло. Ему совсѣмъ не такъ уже хорошо спаружи, а главное горло у него поправляется.

Ихъ прервалъ острый, болѣзненный крикъ. Она

оглянулась и увидѣла вторую женщину, которая, припавъ къ окну, кричала:

— Разбойники, палачи, что вы сдѣлали съ моей дѣвочкой! Вы ее зарѣзали, зарѣзали!..

Эстеръ, испуганная этимъ крикомъ, посоветовала Итѣ уйти.

— Зачѣмъ вамъ оставаться здѣсь, — убѣждала она ее. — Тутъ никакое сердце не выдержитъ. Каждый разъ здѣсь происходятъ такія исторіи. А въ палатѣ еще хуже. Тотъ умеръ, тотъ борется со смертью, того несутъ на операцію, и всѣ кричатъ, и мучатся, и страдаютъ, какъ въ аду. Уши не могутъ вмѣстить въ себѣ всѣ плачи и стоны. Идите, Ита, домой, идите, здѣсь вамъ не мѣсто. Идите, и пусть судьба никогда больше не приведетъ васъ сюда.

Гайне постепенно дала себя уговорить и предложила Эстеръ 50 копеекъ.

— Я вѣдѣю, какъ мать, — сказала та, взявъ деньги, — и безъ меня онъ лѣкарство ни за что не приметъ бы.

— Вѣрьте, Эстеръ, я въ жизни не забуду вашего добра, вѣрьте мнѣ.

Она опять подошла къ окну и постояла подлѣ него, глядя со слезами на глазахъ, какъ онъ двигалъ руками и переворачивался. Потомъ повернулась къ Эстеръ и дала ей еще 50 копеекъ.

— Пошлите эти деньги домой, — сказала она, — пусть мужъ вашъ купитъ что-нибудь дѣтямъ.

— Уходите уже, — повторила Эстеръ, — мнѣ пора къ мальчику.

Она показала ей рукой дорогу и ушла. Ита снова попала въ больничный дворъ, попрежнему запуталась и съ недоумѣніемъ стала искать дорогу къ воротамъ. Но, проходя мимо одного изъ адапій, она замѣтила женщину, которая показалась ей знакомой. Она подошла къ ней ближе, всмотрѣлась и, къ удивленію своему, узнала Цирель.



— Какъ, это вы?— произнесла та своимъ сплннымъ голосомъ.— Какъ вы попали въ больницу, развѣ вашъ мужъ заболѣлъ?

Гайне почти обрадовалась, увидѣвъ ее. Она живо напомнила то время, когда мальчикъ былъ еще ея собственнымъ и возбуждалъ во всѣхъ удивленіе.

— Нѣтъ не мужъ, а ребенокъ,—отвѣтила она.— У него крупъ, и онъ лежитъ здѣсь въ палатѣ.

— Нужно вамъ горевать! Посмотрите, какъ Цирель хорошо устроилась безъ ребенка. А парализованный мой вовсе не можетъ парадоваться, чтобы его черти задушили.

Она весело разсмѣялась, а Ита, вспомнивъ ея исторію, почувствовала къ ней отвращеніе. Между тѣмъ, Цирель, обрадовавшись встрѣчѣ, начала рассказывать, что отложила уже себѣ немпожко денегъ, что мужъ, подавиться бы ему, курить теперь ежедневно табакъ, но мѣсто свое она не скоро оставитъ, такъ ей пока еще выгодно за семь рублей въ мѣсяцъ быть кормилицей и служанкой. Когда же она соберетъ 70 рублей, то перестанетъ служить, возьметъ себѣ мѣсто на базарѣ и будетъ торговать рыбой.

— Ну, а вашъ ребенокъ?—спросила Ита.

— Уродъ мой, хотите вы спросить? Я уже забыла о немъ, такъ давно это было. Миндель знаетъ, гдѣ онъ. Навѣрно на томъ свѣтѣ. Что я хотѣла вамъ сказать? Да, о Миндель. Знаете, ее арестовали.

— Какъ арестовали?—удивилась Ита.— Вы, вѣроятно, о другой говорите. Кто вамъ рассказалъ объ этомъ?

— Рассказали. За такія дѣла не глядятъ по головкѣ. Я рада, что мое дѣло давнее. Вѣдь Этель отъ ея проклятой руки умерла. Много людей пропало изъ-за нея, это я уже знаю. Но когда объ этомъ не знали, то не знали... А теперь все открылось. У нея скверное дѣло.

— Какое дѣло? Какъ странно, что мнѣ ничего не извѣстно.

— А вотъ какос: помните Маню? Подождите, она вѣдь у васъ бывала. Мы однажды даже вышли вмѣстѣ отъ Розы. Помните.

— Боже мой, что случилось съ Маней? — прошептала Ита.

— Маня при смерти. Она лежитъ въ здѣшной палатѣ. Вы не знали объ этомъ? Какъ же. Старуха Миндель что-то повредила ей. Манинъ Яша не захотѣлъ оставить такъ дѣло и допесъ въ полицію. Миндель, конечно, сейчасъ же арестовали. Теперь идутъ слухи, что въ ея комнатѣ нашли трехъ мертвыхъ мальчиковъ.

Гайне слушала и плохо соображала, такъ поразила ее эта новость.

— Какая ужасная исторія, — прошептала она. — Вы увѣрены, что это не выдумка? Маня умираетъ. И вы сами своими глазами видѣли ее въ палатѣ. Бѣдная, несчастная дѣвушка. Я вѣдь недавно ее встрѣтила и общалась зайти къ ней. Какъ я ее умоляла не рѣшаться на это.

— Въ жизни все такъ, — философски отвѣтила Цирель, — а своей судьбы не избѣжишь. Хотите ее увидѣть? Я могу вамъ показать, гдѣ она лежитъ. Думаю, что успѣете еще попрощаться съ нею.

Гайне съ радостью согласилась, и обѣ направилась къ зданію, стоявшему въ концѣ двора.

— Чего не произошло уже за это время, — проговорила Цирель. — Вотъ и Этель похоронили. Какая была славная женщина. Товкая, умная, а вотъ дала же себя убить. Не лучше ли было родить и отдать ребенка старухѣ Миндель? Нужно, Ита, не только жизнь понимать, пужно быть хитре ея. Что Этель выиграла? Мужъ ея уже женился, хотя и убивался о ней, а она гниетъ въ землѣ.

Гайне слушала и кивала головой. Мужъ Этель же-

нился. Кто бы могъ повѣрить, что онъ способенъ на это? Вотъ подлый человѣкъ!

Онъ уже входили въ корридоръ, и Цирель оборвала разговоръ. Она указала ей палату, койку, гдѣ лежала Маня, попросила служанку позволить Итѣ пройти въ залъ и распростилась. Гайне робкими шагами пошла къ палатѣ. По обѣимъ сторонамъ во всю длину зала стояли кровати, на которыхъ лежали или сидѣли женщины. Поодиночкѣ или въ компаніи, онѣ рассказывали по палатѣ, въ которой, къ удивленію Иты, царило оживленіе. Гайне съ трепетомъ подошла къ Манѣ, которая, узнавъ ее, слабой улыбкой выразила свою радость, такъ какъ двигаться ей было запрещено. Итѣ попала въ полосу свѣта и зажмурила глаза. Среднее окно было залито солнцемъ, и въ него нельзя было глядѣть. Отъ окна же шелъ толстый, свѣтлый столбъ, упиравшійся въ противоположную стѣну золотымъ квадратомъ, а въ столбѣ вихремъ кружились и текли микроскопическія пылинки сѣраго цвѣта. Изъ общаго шума въ палатѣ выдѣлились, какъ острія, два визгливыхъ женскихъ голоса, которые спорили другъ съ другомъ чрезъ весь залъ. Нѣрѣдка забѣгала фельдшерница красная и потная, кричала желчнымъ, возмущеннымъ голосомъ на больныхъ и водворяла порядокъ.

Итѣ сѣла подлѣ Мани и съ порывомъ схватила ее за руку.

— Вотъ гдѣ пришлось намъ свидѣться, — произнесла она печально, — не ждала я этого. Какъ я предостерегала васъ!

Маня поправила мѣшочекъ со льдомъ, лежавшій на ея непоумѣрно большемъ животѣ, и отвернула лицо. Гайне сбоку посмотрѣла на нее и теперь только разглядѣла, какъ она измѣнилась. Носъ, подбородокъ и губы какъ то осыли и были темно-желтаго цвѣта, какъ у мертвецовъ. Глаза похудѣли, запали куда-то назадъ, но сверкали удивительнымъ блескомъ, и эти сверкавші-

глаза, вмѣстѣ съ красными, точно подмалеванными щеками, придавали такое одухотворенное выраженіе всему лицу, что на первый взглядъ она производила впечатлѣніе чего-то сильно живущаго, расцвѣтающаго.

— Помните, — произнесла, наконецъ, Маня, — вы однажды сказали мнѣ про себя, что вамъ не везетъ. Но вы не знали, Ита, что передо мной вы избранница. Также нѣкогда я думала, что у меня есть характеръ, но все-таки проституткой сдѣлалась я, а не вы. Это не изъ зависти говорю, а отвѣчаю на ваши слова. Вы, Ита, мягкая, но если придавить васъ, то вы вся цѣликомъ перетянетесь на другое мѣсто, а меня, твердую, лишь только крѣпко придавили, и я вся сломалась, какъ кукла изъ стекла. Поняли вы уже? Что значили для меня ваши совѣты, вся ваша мольба? Знаете ли вы, что Этель умерла?

— Да, я была на похоронахъ. Теперь ея мужъ женился.

— Вотъ какъ, — произнесла она равнодушно. — А мнѣ рассказывали, что ей никакой нужды обращаться къ старухѣ Миндель не было. Почему же она сдѣлала? Я, Ита, ничего не понимаю. Чѣмъ больше живу, тѣмъ больше перестаю понимать.

Гайне поспѣшила передать ей послѣдній разговоръ съ Этель, и сначала Маня внимательно слушала, а потомъ махнула рукой, точно рассказъ ее раздражалъ.

— Вы меня не поняли, Ита, вѣдь мы тамъ всѣ почти искалѣченныя, и рѣдко кто изъ насъ дѣлается беременной, а счастья все нѣтъ. То, что Этель хотѣла искалѣчить себя, конечно, лѣкарство; но оно не къ той болѣзни, — съ тайной мыслью закончила она.

— Вы давно уже здѣсь находитесь?

— Пятый день, мнѣ же кажется, что пять лѣтъ, такъ я страдала. Вотъ и теперь я едва удерживаюсь, чтобы не кричать, хотя и къ этому привыкла. Ко всему

привыкнешь, Ита, такая уже подлая человѣческая душа.

— А мой ребенокъ лежитъ въ дѣтскомъ отдѣленіи. У него крупъ,—сообщила ей Ита, какъ бы желая дать знать, что не ко всему можно привыкнуть.

Маня поняла и не стала спрашивать.

— Человѣкъ,—произнесла она, все думая о томъ, о чемъ не переставала думать съ момента болѣзни,—человѣкъ—это злая собака, привязанная на короткой веревкѣ. Хорошо еще, что на короткой. Но Яшѣ я никогда не прощу, даже передъ смертью. Вы думаете, мнѣ жизни своей жалко? Если бы я еще вѣрила во что-то, то сказала бы: слава Богу, но уже ни во что не вѣрю, и смотрю на себя, какъ на помойную яму. Есть ли еще какая-нибудь грязь, которая въ меня не была брошена? Вы вѣдь въ лучшую свою минуту не сумѣете себѣ представить, какой я была, когда пріѣхала сюда. Священные книги болѣе грязны отъ пальцевъ людей, чѣмъ я была. И въ два года я вся изгадилась, какъ мѣсто для чечистотъ. Была одна надежда выбраться изъ грязи, и оттого я такъ любила своего будущаго ребенка. Какъ путеводная звѣзда, какъ спаситель онъ былъ для меня. Но и это погибло, какъ раннія мечты мои, какъ женихъ, какъ чистота и невинность моя, и теперь я такъ возненавидѣла себя, что смерть, увѣряю васъ, я встрѣчу съ радостью.

Она лежала и строго смотрѣла передъ собой, и въ глазахъ ея отражалась вся несправедливость человѣка, безпозвотно осудившаго себя. Ита же не понимала ее и старалась вызвать въ ней обычныя чувства покорности судьбѣ.

— Не говорите мнѣ объ этихъ вещахъ, Ита,—произнесла она,—я не дѣвочка, и меня прятникомъ не подкупишь. Когда папьеешься грязи такъ, что она уже въ горло не идетъ, то что сдѣлаетъ здѣсь капля чистой воды? И она загрязнится, и потому лучше меня оста-

вить, какъ я есть. Кричать, звать, тоже вѣдь некого? Кто услышитъ васъ? Кто можетъ помочь? Покричите о своемъ ребенкѣ. Правда, если бы я это раньше знала, то, можетъ быть, здѣсь не лежала бы, но теперь уже поздно горевать. Знаете,—вдругъ сказала она,—вѣдь у Яши новая любовница.

— Не можетъ быть,—возмутилась Гаїне,—вотъ низкій человѣкъ!

— Почему низкій? Скажите человѣкъ, и будетъ достаточно. Вы думаете, что я ревную? Вотъ тутъ-то вы ошибаетесь. Я вѣдь не сразу пошла къ Миндель. Послѣ того, какъ я встрѣтила васъ, я сказала себѣ: не нужно идти къ Миндель. И не пошла. Стыдно и больно мнѣ сдѣлалось, когда я съ вами поговорила. Такъ замечталась я, такъ замечталась. Я потомъ такія хитрости выдумывала, чтобы скрыть свою беременность, что вы бы удивились.

— Зачѣмъ же вы не убѣжали отъ Яши?

— А зачѣмъ вы не убѣжали отъ Михеля? Не бѣжалось какъ-то. Правда, были мысли, но какъ у птицы въ клѣткѣ. Такъ подумаешь и этакъ подумаешь, а наступитъ вечеръ и скорѣе спѣшишь одѣться, чтобы онъ кулаками не погналъ. Но когда очень стало замѣтно, что я беременна, и этого уже никакими хитростями скрыть нельзя было, то въ два дня онъ мнѣ такую жизнь устроилъ, что я не выдержала и пошла къ Миндель. Я бы, пожалуй, повѣсилась,—задумчиво прибавила она,—да, повѣсилась, но надежда помѣшала. Все мысли были, что, можетъ быть, я въ другой разъ, когда забеременѣю, спасу ребенка. Такъ вѣдь я хотѣла матерью сдѣлаться, такъ хотѣла!..

Ита вспомнила и свои чувства во время беременности и одобрительно кивнула головой.

— Какъ-то пьянѣешь отъ этихъ чувствъ,—произнесла она,—и кромѣ ребенка ни о чемъ не думаешь. Я это хорошо знаю.

Маня закрыла глаза отъ боли и тихо застонала. Ита, удрученная, молча сидѣла подлѣ нея и со страданіемъ смотрѣла ей въ глаза. Въ палатѣ уже было меньше шума. Всѣ женщины чинно лежали на своихъ мѣстахъ, и залъ принималъ свой обычный скучный, офиціальныи видъ. У двухъ кроватей стояли фельдшерицы и наливали въ висѣвшія на стѣнѣ кружки воду, которую имъ подавала служанка. Гайне инстинктивно почувствовала, что нужно уйти и начала собираться. Маня уже громко стонала, губы у нея стали еще краснѣе, а глаза глубже ушли подъ лобъ.

— Я еще навѣщу васъ, дорогая, — прошептала Гайне, пугаясь этихъ стоновъ и не зная, что дѣлать.

Маня вмѣсто отвѣта сильно крикнула. Ита отъ страха вскочила. На крикъ прибѣжала фельдшерица, а Гайне, опустивъ голову, быстро пошла къ выходу, чтобы избѣгнуть непріятностей. Она шла съ тяжелой головой, опять потерявшись во дворѣ, и, глядя на мрачныя и непривѣтливыя строенія, не вѣрила теперь, что изъ нихъ человѣкъ можетъ вырваться живымъ. Точно длинныя змѣи, тянулись флигеля во всѣ стороны, и синеватыя отъ косога свѣта стекла оконъ, какъ глаза, злобѣще глядѣли на нее, когда она проходила мимо нихъ.

„Погибла Маня“, пронеслось у нея, и, вспомнивъ, что и ея ребенокъ тоже за этими стѣнами, она со стономъ вздохнула.

Случайно она набрела на ворота и пошла къ выходу. Когда она очутилась на улицѣ, то вдругъ увидѣла Михеля, который, казалось, поджидалъ ее. При видѣ Иты, онъ быстро подошелъ къ ней и безъ предисловія сталъ кричать: что уже часъ, какъ поджидаетъ здѣсь, но еще болѣе разозлился, когда она замѣтила ему, что не знала объ этомъ.

— Ты всегда должна думать, что я тебя поджидаю, если такъ мало приносишь мнѣ, дрянъ этакая.

Ита даже не подумала упрекнуть его въ томъ, что

онъ не спрашиваетъ о ребенкѣ. И только ради того, чтобы отвести его гнѣвъ, который мѣшалъ ей думать, сказала искусственно спокойнымъ голосомъ:

— Помнишь, Михель, Маню. Она лежитъ здѣсь при смерти. Я только что отъ нея.

Михель притихъ и засвисталъ.

— Да, да, я что-то слышалъ объ этомъ,—пробормоталъ онъ,—но Яша совсѣмъ не знаетъ, что ея болѣзнь такъ опасна.

— Вѣроятно, потому онъ и поспѣшилъ сойтись съ другой. Правда, вотъ ужъ подлець. Хорошіе товарищи у тебя, Михель, нечего сказать.

— Ну, ну, это не твое дѣло. А на какой чортъ, скажи, нужна ему больная?

Ита съ ненавистью посмотрѣла на безпечное лицо Михеля и, сдержавъ еще разъ закипѣвшій въ ней гнѣвъ, вынула послѣднія 50 копеекъ, молча отдала ихъ ему, и когда онъ ушелъ отъ нея, облегченно вздохнула и поспѣшила домой.

Мальчикъ Гайне умеръ на слѣдующій день вечеромъ и былъ перенесенъ въ мертвецкую вмѣстѣ съ другими умершими, гдѣ они и должны были оставаться до утра. Въ мертвецкой уже лежала Маня, скончавшаяся нѣсколькими часами раньше. Она умерла, не примирившись съ жизнью, и лицо ея сохранило выраженіе отвращенія, которымъ она была полна въ послѣдніе часы. У смертнаго одра этой несчастной женщины не было ни одного родного человѣка, и лучшія мысли, которыя ей казались важными и хотѣлось высказать, она унесла съ собой въ могилу. Вмѣсто живого человѣка, только что кипѣвшего страстями, образовалась свободная пустота, ждавшая своего заполнения новой жертвой.

Въ тотъ же самый вечеръ Эстеръ, сперва провѣдавъ свою семью, отправилась къ Гайне, чтобы извѣстить ее



о смерти ребенка. Эстеръ была очень оживлена отъ заботъ и предстоящихъ перемѣнъ, такъ какъ всегда эти, хотя и хлопотливыя, перемѣны сулили недурной пзлншекъ заработка. Счетовъ своихъ съ Итой она точно не помнила, но знала, что много перебрала у нея, и это вмѣстѣ со свѣжими деньгами и подарками, которые должны были явиться съ новымъ ребенкомъ, обѣщало вѣчто очень пріятное и желанное. Она весело закусила, поболтала съ сосѣдками, предъ которыми нарочно дѣлала печальное лицо, и это было тоже ей пріятно, ибо свое благополучіе только тогда хорошо сознаешь, когда чувствуешь, что другому скверно,—а зотомъ, приказавъ мальчику не пускать отца ложиться до ея прихода, отправилась къ Гайне. По улицѣ она какъ бы плыла, а не шла, такъ легко у нея было на душѣ, и когда явилась къ Итѣ, то была совершенно вооружена, чтобы не упустить заработка, который могъ ей перепастъ у Гайне. Изъ кухню она вошла не прямо, а постучала въ окно. Цѣли этого новаго пріема она и сама не знала и дѣйствовала, какъ по вдохновенію, и, впущенная кухаркой, словно подъ вліяніемъ ужаснѣйшаго горя, упала, а не сѣла на стулъ, опустивъ голову, согнувшись вдвое и свѣсивъ руки, такъ что чуть не доставала ими до пола. Кухарка, при одномъ взглядѣ на эту странную позу, поняла о случившемся несчастіи и изъ сожалѣнія быстро закрыла дверь, ведущую въ комнату, чтобы не дать Итѣ возможности разслышать голосовъ. Сдѣлавъ это, она подошла къ Эстеръ, тронула ее за плечо и тихо спросила:

— Умеръ? Не тяните долго.

И, впившись въ нее глазами, ловко высвободила свои уши изъ-подъ платка, покрывавшаго ея голову, съ цѣлью не пропустить ни одной буквы изъ отвѣта.

— Только что скончался, — прошептала Эстеръ, исправивъ положеніе своей головы и тѣла. — Но я не въ силахъ передать бѣдной Итѣ эту вѣсть. Возьмите

на себя заботу. Подготовьте ее какъ-нибудь. А я не могу. Я такъ измучена смертью и концомъ этого несчастнаго мальчика, что ея горя уже не вынесу. Ахъ, счастливы вы сто разъ, что не присутствовали, какъ онъ умиралъ. Вѣдь онъ, какъ взрослый, прощался со мной. Я еще какъ будто вижу его. Право, на родную мать такъ не смотреть, какъ онъ глядѣлъ на меня. Пожалуйста, пойдите къ ней, скажите ей.

— Этого, Эстеръ, я не могу на себя взять, не считывайте на меня. Я бы себѣ никогда не простила такой жестокости. Пріятно быть хорошимъ вѣстникомъ. Вы, Эстеръ, уже въ дѣлѣ—кончайте его. Вамъ простиительно. Не вы виновны и сдѣлали для ребенка больше, чѣмъ человѣкъ можетъ.

Эстеръ подняла глаза къ небу, какъ бы призывая его въ свидѣтели своей доброты, и рѣшительно сказала:

— Позовите ее, она по мнѣ сама догадается. Какое несчастье, Боже мой, какое ужасное несчастье.

Онъ еще нѣсколько времени препирались, кому пойти, но Эстеръ, наконецъ, подошла комедія, и она встала съ намѣреніемъ самой отправиться вызвать Гайне.

— Нѣтъ, лучше уже я пойду,—рѣшила кухарка, подумавъ.—Ита можетъ на смерть перепугать ребенка. Ступайте въ подъѣздъ и подождите. Я ее сейчасъ пришлю.

Эстеръ одобрительно махнула головой и вышла. Но не успѣла еще усесться на скамейкѣ, какъ увидѣла бѣжавшую къ ней Гайне.

— Что случилось, Эстеръ?—крикнула та измѣнившимся голосомъ.—Что, что такое? Ахъ, не говорите еще.

Она закрыла уши руками и, не выдержавъ волненія, визгнула нао всѣхъ силъ. Эстеръ степенно поднялась и, обхвативъ ее руками, ласково, но серьезно сказала:

— Ну, что же за бѣда, Ита, не вы первая, не вы

последняя. Будутъ еще у васъ дѣти. Дорогому мальчику теперь лучше, чѣмъ памъ. О, повѣрьте, гораздо лучше. Ита, что же это вы дѣлаете? Ита! Богъ съ вами, несчастная.

Гайне, вырвавшись отъ нея, вцѣпилась обѣими руками въ свои волосы и съ ожесточеніемъ выдирала ихъ. При этомъ она кричала, какъ помѣшанная, издавая ужасные крики, долгіе и густые, и топала ногами. Крики моментально собрали народъ вокругъ нея. Всѣ толпились и съ тревогой спрашивали другъ у друга, что случилось, и не успокоились, пока Эстеръ не сказала ближайшему къ себѣ человѣку, въ чемъ дѣло. А Ита продолжала кричать одними звуками, не находя ни одного слова для выраженія своего горя, и колодила себя уже кулаками по головѣ. Кругомъ нея разносился говоръ, и каждый что-нибудь дѣлалъ, чтобы помочь ей. Кто-то уже держалъ въ рукахъ лимонъ, запахло нашатыремъ, кто-то перехватилъ туго-на-туго руку Иты подлѣ плеча платкомъ, чтобы не дать ей упасть въ обморокъ, а Гайне все кричала, точно то, что управляло ея голосомъ и крикомъ, совершенно испортилось, а воля была безсильна задержать эти звуки. Вдругъ она внезапно замолчала и упала безъ чувствъ. Нѣсколько человѣкъ подхватили ее осторожно понесли наверхъ. Потомъ разошлись и остались выжидать во дворѣ, не понадобится ли еще ихъ помощь. Подлѣ Иты остались Эстеръ и кухарка и хлопотали, чтобы привести ее въ чувство. Барыня, встревоженная шумомъ, зашла въ кухню, посмотрѣла на лежавшую мертвенно блѣдную кормилицу, разузнала, въ чемъ дѣло, и осталась подлѣ на нѣсколько минутъ, выразивъ на лицѣ соболѣзнованіе. Потомъ вышла разстроенная, думая, главнымъ образомъ, о томъ, какъ отзовется на ся ребенкъ горе Гайне.

„Если бы это случилось на двѣ недѣли позже, мальчика можно было бы отнять, а ее отправить“.

Но еще болѣе огорчилась барыня, когда подумала, что сегодняшнюю ночь ей придется самой повозиться съ ребенкомъ.

Ита, между тѣмъ, понемногу приходила въ себя. Дикими, большими глазами она оглядѣла комнату и, замѣтивъ, наконецъ, Эстеръ, сначала не узнала ее, но инстинктивно крикнула отъ страха. Эстеръ быстро начала ее уговаривать, стараясь смягчить свой голосъ, и при содѣйствіи кухарки начала приводить въ примѣръ массу прекрасныхъ и нравственныхъ исторій о томъ, какъ хорошо, если дѣти умираютъ въ раннемъ возрастѣ, не познавъ ужасовъ жизни. Гайне съ тупымъ отчаяніемъ слушала ихъ, заливалась пенадолго слезами, опять слушала и незамѣтно дала усыпить болѣвшее чувство. Когда она заговорила, то заговорила какъ бы простуженнымъ и пропадавшимъ голосомъ и попросила Эстеръ рассказать ей подробно о послѣднихъ минутахъ ребенка.

— Я никакъ не могла вырваться, чтобы навѣстить его еще разъ, — всхлипнула она, вдругъ вспомнивъ, какъ ей хотѣлось сегодня пойти въ больницу, — барыня ни за что не хотѣла меня отпустить. Главное, меня успокоило то, что вы никого не присылали ко мнѣ.

Эстеръ съ апетитомъ начала рассказывать все до мельчайшихъ подробностей, не забывъ попутно прибавить о смерти двоихъ дѣтей, матерей которыхъ Гайне вчера видѣла у окна отдѣленія, а Ита подавляла въ себѣ рвавшееся изъ груди рыданіе, чтобы прослушать и навѣкъ запомнить всѣ эти ужасныя, но дорогія теперь подробности о ребенкѣ.

— Когда его похоронять? — вмѣшалась кухарка.

Гайне, раскачиваясь всѣмъ тѣломъ, глухо заплакала и закрыла лицо руками, а Эстеръ дѣловито отвѣтила:

— Конечно, завтра, — и озабоченно прибавила: — нужно не забыть сходить въ контору и сторговаться за похороны. Вы встанете пораньше, Ита, чтобы вы-

играть время. Если не поспѣшить, то мальчика могутъ разрѣзать въ больницѣ. Ихъ вѣдь тамъ, какъ капусту, рѣжутъ, если не поторопишься убрать.

— Я объ этомъ васъ попрошу, дорогая Эстеръ,— робко произнесла Гайне, отнимая руки отъ лица и вытирая глаза.—Моя голова теперь никуда не годится. Сама я ничего не сдѣлаю. Возьмите это на себя. Вы окажете несчастному мальчику послѣднюю услугу.

— Положимъ, я завтра занята; впрочемъ, я всегда занята. Но для мальчика сдѣлаю все. Есть у васъ деньги?

— Да. Я вамъ дамъ.

— Ну, такъ будьте спокойны. Съ деньгами я все скоро устрою. Вотъ что я хотѣла вамъ сказать, Ита. Хвалить себя я не памѣрена. Пусть другіе меня хвалятъ. Но я по справедливости скажу, что за труды свои многое заслужила. Я потеряла время, трудъ, но не будемъ говорить долго объ этомъ. Наградите меня сами. Я довѣряю вамъ оцѣнить, сколько я заслужила у васъ.

Гайне посмотрѣла ей прямо въ глаза, но первая отвернулась, и пошла къ барынѣ попросить денегъ. И только черезъ четверть часа, послѣ долгихъ объясненій съ барыней, она вернулась съ деньгами. Эстеръ при видѣ ея расцвѣла. Ита немедленно отсчитала ей столько, сколько она просила, еще разъ заставила рассказать себѣ подробности о смерти мальчика и такъ увлеклась, что просидѣла бы всю ночь, слушая. Но Эстеръ уже нечего было ждать здѣсь, и потому она безъ смущенія стала собираться, ссылаясь на то, что уже очень поздно. Кухарка также посовѣтовала не задерживать Эстеръ, чтобы та не проспала, и Гайне со вздохомъ согласилась, условившись утромъ встрѣтиться съ ней въ больницѣ. Потомъ, когда Эстеръ ушла, Ита молча отправилась въ свою комнату, легла лицомъ въ подушку и долго оставалась безъ движенія, тихо оплакивая свое

жизнь. Ребенка не было въ комнатѣ, барыня побоялась довѣрить ей его, и Гайне еще больше чувствовала свое одиночество, всю ненужность въ этомъ мірѣ. Посреди ночи разѣдающая печаль и сиротливость, послѣ стоновъ и слезъ, стали такъ невыносимы, что она рѣшила отправиться къ барынѣ за ребенкомъ, чтобы набраться мужества у своей любви къ нему. Но барыня не согласилась дать ей мальчика, и Гайне, еще болѣе уничиженная, поплелась къ себѣ обратно, гдѣ совсѣмъ уже дала волю тому, что такъ мучило ее. Вцѣпившись зубами въ подушку, она съ какимъ-то сладострастіемъ кричала въ нее изо всѣхъ силъ, какъ бы желая надорвать горло, легкія и сердце такъ, чтобы перестать чувствовать душевную боль. Какъ нарочно передъ ея глазами въ различныхъ видахъ и позахъ стоялъ ея мальчикъ и улыбался, и манилъ ее ручками, такой свѣженькій, розовенькій, гладенькій, и образъ его, заманчивый и ускользающій, вызывалъ въ ней такое отчаяніе, что ей хотѣлось разомъ покончить съ собой, до того жизнь безъ него казалась ей ненужной, скучной и неинтересной. Вспоминала она и Михеля, которому не будетъ никакого дѣла до ея горя, который только выиграетъ отъ смерти мальчика, и ей хотѣлось побѣждать и отыскать его и разозлить такъ, чтобы онъ ее убилъ. А въ душѣ, прорываясь сквозь скорбныя мысли, властно выплывала и тянулась сѣрая, тяжелая дѣйствительность, пагло подсказывавшая, что ничего не измѣнится, и дальнѣйшая ея жизнь будетъ долгимъ и безсмысленнымъ повтореніемъ того, что она пережила въ этотъ годъ. И думалось ей еще, что не долго продержатся въ ней во всей свѣжести настоящія чувства, что они станутъ обычными и неострыми, и привыкнетъ она къ нимъ, какъ привыкла ко всѣмъ своимъ злословіямъ, и воспоминаніе обо всемъ зломъ будетъ затихать и выталкиваться новымъ и новымъ стремленіемъ прожить какъ-нибудь свою жизнь, чтобы меньше только чув-

ствовать ей толчки и незамѣтно добраться до смерти, которая все успокоитъ, сотретъ.

„Зачѣмъ же дальше жить, Господи!“ думалось ей.  
— Развѣ нѣтъ надежды?—отвѣтила она себѣ.

Надежда! И она забылась, шепча это драгоценное, живительное, освѣщающее мракъ жизни слово, съ которымъ слабый и погибающій человекъ борется противъ яснаго пониманія нелѣпости и безцѣльности существованія.

„Надежда, надежда!“

Великая обманщица опять побѣдила, какъ всегда побѣждала, и пошла отъ Гайне дальше къ людямъ, которые съ нетерпѣніемъ поджидали ея вдохновляющаго призыва на великій подвигъ—продолжать жить...

Гайне возвращалась съ кладбища, и двѣ женщины, Гитель и Цирель, поддерживали ее съ обѣихъ сторонъ. Жена парализованнаго уже долго поучала ее философій жизни, но Ита разсѣянно слушала, невольно подаваясь обаянію прекраснаго, свѣжаго, пахучаго дня. Отдѣленная отъ своего ребенка двумя аршинами земли, подъ которыми онъ теперь покоился, она начинала чувствовать, хотя и не полно, что огромная тяжесть, давившая душу, постепенно покидаетъ ее. Могила все закрыла, и страхи, и опасенія, и подозрѣнія, терзавшія ее, когда онъ лежалъ въ больницѣ, и когда еще была возможность спасти его, уже прошли. Теперь она возвращалась къ чужому, на котораго перенесла материнскую любовь,—и съ нимъ она немного отдохнетъ отъ печали. Нестрашнымъ казался ей и Михель, ибо въ такой прекрасный, радостный, ликовавшій день ничто не можетъ газаться страшнымъ, и будущее рисуется въ чудныхъ, радужныхъ краскахъ.

Сзади же шелъ Михель съ Яшей. Яша былъ задумчивъ, и на глазахъ его еще не высохли слезы, которыя онъ пролилъ у могилы Мани.

— Не горюй, дурень,—убѣждалъ его Михель,—

прошлаго не вернешь. Съ другою будешь поступать умнѣе. Видишь ее,—онъ указалъ на Гайне,—даю тебѣ слово, что черезъ недѣлю она будетъ беременна. Такъ-то, мой милый.

Онъ засмѣялся деревяннымъ смѣхомъ совершенно довольнаго человѣка, а Яша, вздохнувъ, рѣшительно стряхнулъ съ себя печаль и сталъ думать о своей новой любовницѣ-модисткѣ, которая на-дняхъ, наконецъ, отдалась ему.

Жизнь продолжалась...

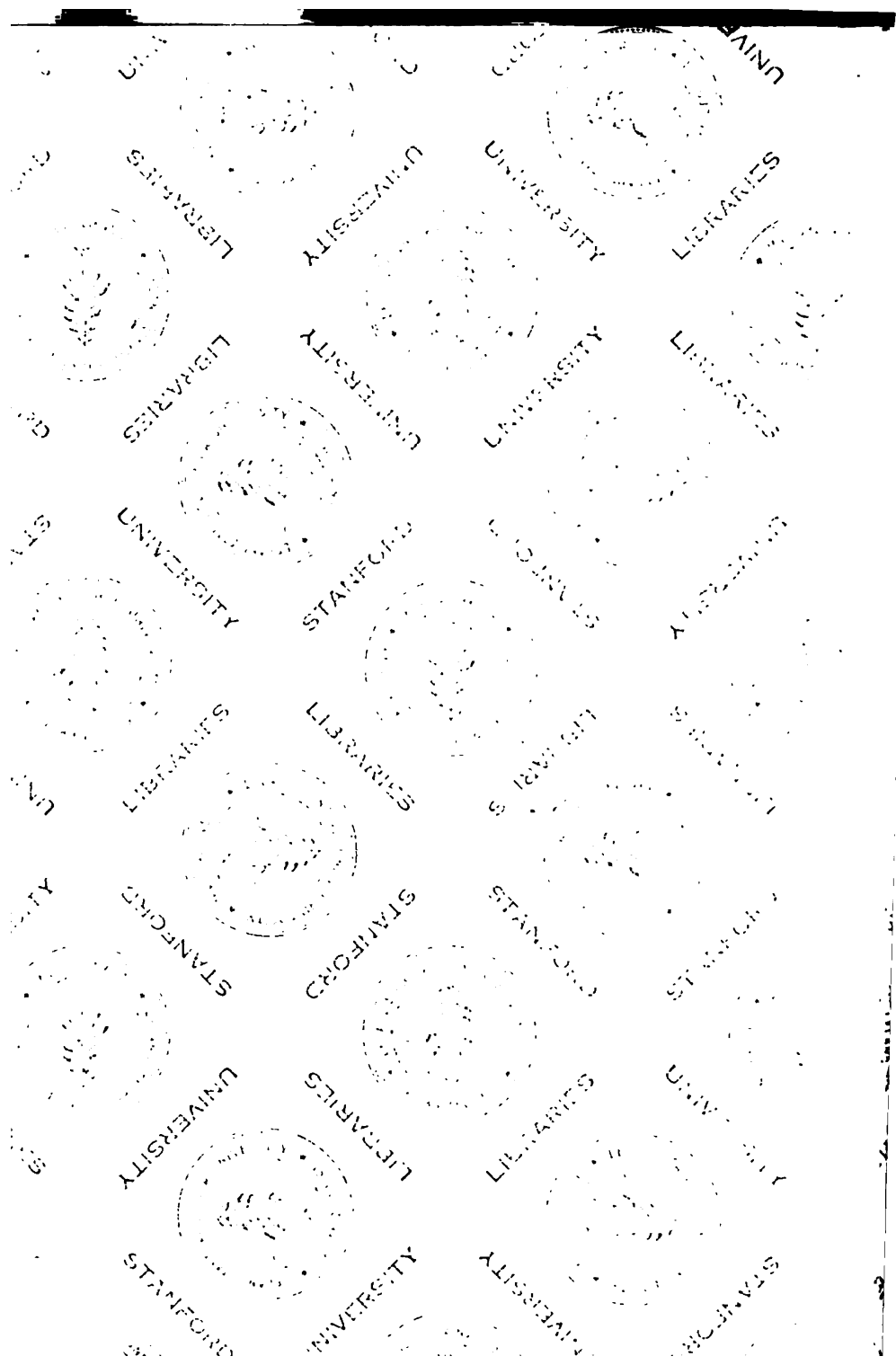
*К о н е ц ъ.*

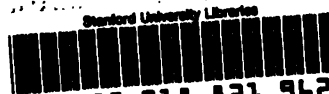






\_\_\_\_\_





3 6105 018 821 962

7707 4

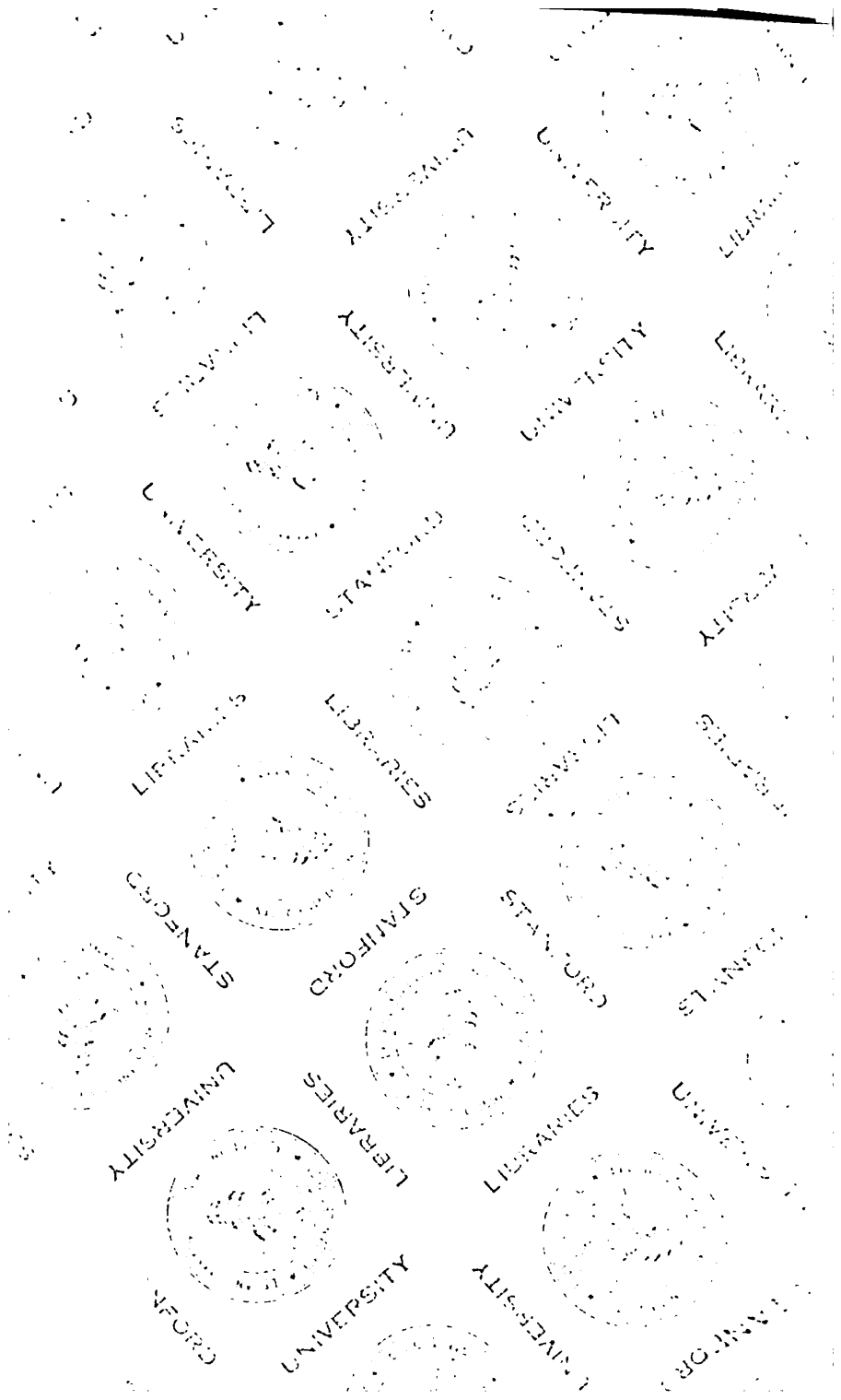
V.1

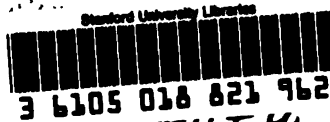
CECIL H. GREEN LIBRARY  
STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES  
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004  
(650) 723-1493  
grncirc@sulmail.stanford.edu  
All books are subject to recall.

DATE DUE

JAN 11 2001  
JAN 08 2001







CECIL H. GREEN LIBRARY  
STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES  
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004  
(650) 723-1493  
grncirc@sulmail.stanford.edu

All books are subject to recall.

DATE DUE

JAN 11 2001  
JAN 09 2001